

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Сага о Форсайтах»](#)

Приятного чтения!

В ПЕТЛЕ (Сага о Форсайтах-3)

*И переходят два старинных рода
Из старой распри в новую вражду.
Шекспир, «Ромео и Джульетта»*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. У ТИМОТИ

Инстинкт собственности не есть нечто неподвижное. В годы процветания и вражды, в жару и в морозы он следовал законам эволюции даже в семье Форсайтов, которые считали его установившимся раз навсегда. Он так же неразрывно связан с окружающей средой, как сорт картофеля с почвой.

Историк, который займётся Англией восьмидесятых и девяностых годов, в своё время опишет этот быстрый переход от самодовольного и сдержанного провинциализма к ещё более самодовольному, но значительно менее сдержанному империализму, — развитие собственнического инстинкта у эволюционирующей нации. И тому же закону, по-видимому, подчинялось и семейство Форсайтов. Они эволюционировали не только внешне, но и внутренне.

Когда в 1895 году Сьюзен Хэймен, замужняя сестра Форсайтов, последовала за своим супругом в неслыханно раннем возрасте, всего семидесяти четырех лет, и была подвергнута кремации, это, как ни странно, произвело весьма слабое впечатление на шестерых оставшихся в живых старых Форсайтов. Равнодушие это объяснялось тремя причинами. Первая — чуть ли не тайные похороны старого Джолиона в Робин-Хилле в 1892 году, первого из Форсайтов, изменившего фамильному склепу в Хайгете. Эти похороны, последовавшие через год после вполне благопристойных похорон Суизина, вызвали немало толков на Форсайтской Бирже — в доме Тимоти Форсайта в Лондоне на Бэйсуотер-Род, являвшемся, как и прежде, средоточием и источником семейных сплетен. Мнения разделились между причитаниями тёти Джули и откровенным заявлением Фрэнси, что отлично сделали, положив конец этой тесноте в Хайгете. Впрочем, дядя Джолион в последние годы своей жизни, после странной и печальной истории с женихом своей внучки Джун, молодым Босини, и женой своего племянника Сомса — Ирэн, весьма явно нарушал семейные традиции; и эта его манера неизменно поступать по-своему начала казаться всем своего рода чудачеством. Философская жилка в нём всегда пробивалась сквозь толщу форсайтизма, и в силу этого истинные Форсайты были до некоторой степени подготовлены к его погребению на стороне. Но в общем во всей этой истории было что-то странное, и когда завещание старого Джолиона стало «ходячей монетой» на Форсайтской Бирже, все племя заволновалось. Из своего капитала, представлявшего сумму в 145 304 фунта минус налог на наследство в размере 35 фунтов 7 шиллингов 4 пенсов, он оставил 15 000 фунтов — «кому бы вы думали; дорогая? — Ирэн!» — сбежавшей жене своего племянника Селса, Ирэн, женщине, можно сказать, опозорившей семью и, что самое удивительное, не состоявшей с ним в кровном родстве! Не капитал, конечно, а только проценты, и в пожизненное пользование! Но всё-таки; и вот тогда-то права старого Джолиона на звание истинного

Форсайта рухнули раз и навсегда. И это была первая причина, почему погребение Сьюзен Хэймен в Уокинге не произвело особенно сильного впечатления.

Вторая причина была уже несколько более наступательного и решительного свойства. Сьюзен Хэймен, кроме дома на Кэмден-Хилл, владела ещё поместьем в соседнем графстве (доставшимся ей после смерти Хэймена), где мальчики Хэймены совершенствовались в искусстве верховой езды и стрельбы, что, конечно, было очень мило и вызывало всеобщее одобрение; и самый факт, что она являлась собственницей земельных угодий, до некоторой степени оправдывал то, что прах её был развеян по ветру, хотя каким образом ей взбрела мысль о кремации, этого они никак не могли себе представить. Традиционные приглашения, однако, были разосланы, и Сомс присутствовал на похоронах вместе с молодым Николасом, и завещание всеми было признано вполне удовлетворительным, поскольку это было возможно в данном случае, так как она была только пожизненной владелицей своего состояния и все оно в равных долях беспрепятственно переходило к детям.

Третья причина, почему похороны Сьюзен не произвели особенно сильного впечатления, отличалась безусловно наиболее наступательным характером, и её весьма смело резюмировала бледная, тощая Юфимия: «Я полагаю, что люди имеют право распоряжаться собственным телом даже и после смерти». Подобное заявление дочери Николаев, либерала старой школы и большого деспота, было крайне удивительно: оно явно показывало, сколько воды утекло со времени смерти тёти Энн в 86-м году, когда право собственности Сомса на тело его жены начало вызывать кое-какие сомнения, что и привело впоследствии к такой катастрофе. Конечно, Юфимия говорила как ребёнок, у неё не было никакого опыта, ибо, хотя ей перевалило далеко за тридцать, она всё ещё носила фамилию Форсайт. Но, даже принимая все это во внимание, её замечание несомненно свидетельствовало о расширении понятия свободы, о децентрализации и о стремлении применить основной принцип собственности прежде всего к самим себе. Когда Николас услышал от тёти Эстер о замечании своей дочери, он пришёл в негодование. «Ах, эти жены и дочери! Нет пределов их теперешней свободе!» Он, конечно, до сих пор не мог вполне примириться с законом о собственности замужних женщин, который ему доставил бы много неприятностей, не женись он, к счастью, до того, как этот закон вошёл в силу. Но поистине трудно было не замечать возмущения молодых Форсайтов тем, что ими кто-то распоряжается, и, подобно стремлению колоний к самоуправлению, этому парадоксальному предвестию империализма, возмущение это неуклонно прогрессировало. Все они теперь обзавелись семьями, за исключением Джорджа, неизменного приверженца ипподрома и «Айсиум-Клуба», Фрэнси, преуспевавшей на музыкальном поприще в студии на Кингс-Род в Челси и по-прежнему появлявшейся на балах со своими поклонниками, Юфимии, живущей с родными и вечно жалующейся на Николаев, и «двух Дромио» — Джайлса и Джесса Хэйменов. Третье поколение было не так уж многочисленно: у молодого Джолиона было трое, у Уинифрид Дарти четверо, у молодого Николаев как-никак шестеро, у молодого Роджера один, у Мэрией Туитимен один, у Сент-Джона Хэймена двое. Но остальные из шестнадцати сочетавшихся браком: Сомс, Рэчел, Сисили — дети Джемса; Юстас и Томас — Роджера; Эрнест, Арчибальд, Флоренс — дети Николаев; Огастос и Эннабел Спендер — дети Хэйменов — жили из года в год, не воспроизводя рода.

От десяти старых Форсайтов произошёл двадцать один молодой Форсайт, но у двадцати одного молодого Форсайта было пока только семнадцать потомков, и сколько-нибудь значительное увеличение этого числа уже казалось маловероятным. Любитель статистики, вероятно, отметил бы, что прирост форсайтского потомства изменялся в соответствии с размерами процентов, которые им приносил их капитал. Дед их, «Гордый Досеет» Форсайт, в начале девятнадцатого столетия получал десять процентов и имел, соответственно, десять детей. Эти десять, за исключением четырех, не вступивших в брак, и Джули, супруг которой, Септимус Смолл, не замедлил скончаться, получали в среднем от четырех до пяти процентов и в соответствии с этим и плодились. Двадцать один Форсайт, которых они произвели на свет, теперь едва получали три процента с консолей, переданных

им отцами по дарственной во избежание высокого налога на наследство, и у шестерых из них, у которых были дети, родилось семнадцать человек, то есть как раз два и пять шестых на каждого родителя.

Были ещё и другие причины этой столь слабой рождаемости. Неуверенность в своей способности зарабатывать деньги, естественная, когда достаток обеспечен, вместе с сознанием, что отцы ещё не собираются умирать, делала их осторожными. Когда есть дети, а доход не особенно велик, требования вкуса и комфорта должны неминуемо снизиться: что достаточно для двоих, недостаточно для четверых и так далее; лучше подождать и посмотреть, как поступит отец. Кроме того, приятно жить в своё удовольствие, без помех. В сущности, им гораздо больше нравилось не иметь детей, а распоряжаться самими собой по собственному усмотрению в соответствии со все растущей тенденцией «fin de siècle»¹, как тогда говорили. Таким образом они избегали всякого риска и приобретали возможность завести автомобиль. Действительно, у Юстаса уже был автомобиль, правда, он на нём здорово расшибся и выбил себе глазной зуб, так что, пожалуй, лучше подождать, пока они не станут немножко безопаснее. А пока что — довольно детей! Даже молодой Николае забастовал и за три года к своим шестерым не прибавил ни одного.

Тем не менее упадок корпоративного чувства у Форсайтов, вернее, их разобщённость, симптомы которой были налицо, не помешали им собраться, когда в 1899 году умер Роджер Форсайт. Лето простояло прекрасное; после поездок за границу или на курорты все они уже вернулись в Лондон, как вдруг Роджер, со свойственной ему оригинальностью, весьма неожиданно скончался у себя дома на Принсез-Гарденс. У Тимоти грустно шушукались, что бедняга Роджер всегда был несколько эксцентричен в еде, — кто, как не он, предпочитал немецкую баранину всякой другой?

Как бы там ни было, его похороны в Хайгете прошли вполне благопристойно, и, возвращаясь с них, Сомс Форсайт почти машинально направился к дяде Тимоти на Бэйеуотер-Род. «Старушкам» — тете Джули и тете Эстер будет интересно послушать про похороны. Джемс, его отец, в восемьдесят восемь лет не в состоянии был присутствовать на столь утомительной церемонии, а Тимоти, конечно, не поехал, так что из братьев присутствовал только Николае. Но все-таки народу собралось достаточно, и тетям Джули и Эстер приятно будет узнать об этом. К этому доброму желанию примешивалась непреодолимая потребность извлечь что-нибудь полезное и для себя из всего, что ни делаешь, наиболее характерная черта всех Форсайтов, как, впрочем, и всех здравомыслящих людей каждой нации. Привычку являться со всякими семейными делами к Тимоти на Бэйсуотер-Род Сомс перенял от отца, имевшего обыкновение по крайней мере раз в неделю навещать своих сестер у Тимоти и изменившего этому правилу, только когда ему стукнуло восемьдесят шесть лет и он утратил силы настолько, что не выезжал один без Эмили. А бывать там с Эмили не имело никакого смысла: ну можно ли толком поговорить в присутствии собственной жены? Как, бывало. Джемс, Сомс теперь почти каждое воскресенье находил время зайти к ним и посидеть в маленькой гостиной, где благодаря его авторитетному вкусу произошли кое-какие перемены: появился фарфор, правда не вполне отвечающий его собственным высоким требованиям, а на рождестве он подарил им две картины сомнительных барбизонцев. Сам он чрезвычайно выгодно разделался со своими барбизонцами и вот уже несколько лет как перешел к Марисам², Израэльсу³, Мауве⁴ и

¹ Конца века (фр.)

² *Мэрис* — Имеется в виду голландский художник Якоб Мэрис (1837—1899), старший из братьев Мэрис, для творчества которого характерны пейзажи и жанровые сцены.

³ *Израэльс (Исраэлс) Йосеф (1824—1911)* — голландский живописец, известный своими пейзажами и жанровыми сценами.

надеялся разделаться с ними еще более выгодно. В его загородном доме на берегу реки близ Мейплдерхема, где он теперь жил, у него была галерея, в которой картины были искусно развешаны и прекрасно освещены; редко кто из лондонских продавцов не побывал в этой галерее. Она служила также приманкой для гостей, которых его сестры Уинифрид и Рэчел привозили к нему время от времени по воскресеньям. И хотя он был весьма неразговорчивым гидом, его спокойный, сдержанный детерминизм обычно производил впечатление на гостей, которые знали, что его репутация коллекционера основана не на пустой эстетической прихоти, а на способности угадывать рыночную будущность картины. Когда он приходил к Тимоти, у него почти всегда был наготове рассказ о победе, которую он одержал над тем или иным скупщиком, и он очень любил воркующие изъявления гордости, с которой его слушали тетушки. Однако сегодня, явившись к ним с похорон Роджера в изящном темном костюме, не совсем черном, потому что дядя в конце концов всего только дядя, а Сомс не терпел чрезмерного проявления чувств, он был настроен несколько необычно. Откинувшись на спинку стула маркетри, закинув голову и уставившись на небесно-голубые стены, увешанные золотыми рамами, он был заметно молчалив. Потому ли, что он только что был на похоронах, или почему-нибудь другому, характерный форсайтский склад его лица сегодня проступал особенно четко — продолговатое худощавое лицо с решительным подбородком, который казался бы непомерно выдающимся, если бы с него убрать мясо, — словом, лицо, в котором преобладал подбородок, но в общем не некрасивое. Сегодня он сильнее, чем когда-либо, чувствовал, что обитатели дома Тимоти — это собрание неисправимых чудаков и что тетушки его, в сущности, унылые викторианские старушки. Единственно, о чем ему сейчас хотелось бы поговорить, было его положение неразведенного мужа, но об этом говорить было невозможно. Однако это занимало его настолько, что он ни о чем больше не мог думать. Началось это у него только с весны, и новое чувство, бродившее в нем, подстрекало его к чему-то такому, что самому ему казалось сущим безумием для Форсайта в сорок пять лет. С недавних пор он все больше и больше отдавал себе отчет в том, что идет в гору. Его капитал, довольно значительный уже в то время, когда он задумал построить дом в Робин-Хилле, дом, разрушивший его супружескую жизнь с Ирэн, за эти двенадцать одиноких лет, в течение которых он мало чем интересовался, вырос необычайно. Сомс стоил теперь свыше ста тысяч фунтов, ему некому было их оставить, и у него не было никакой цели, ради которой стоило бы продолжать следовать тому, что было его религией. И если бы даже рвение его ослабло — деньга деньгу любит, гласит пословица, а он сознавал, что, не успеет он оглянуться; у него будет полтора-два тысяч фунтов. В Сомсе всегда были сильны чувства семейственности и чадолюбия; обманутые, заглушённые, они были глубоко спрятаны, но теперь, когда он был, как говорится, в цвете лет, они стали снова прорываться; и в последнее время, когда его увлечение молодой, бесспорно красивой девушкой конкретизировало их и как бы собрало в фокус, они стали истинным наваждением.

Девушка эта была француженка, по-видимому не склонная поступать опрометчиво или согласиться на незаконное положение. Да и самому Сомсу такая мысль претила. За долгие годы своей вынужденной холостой жизни ему приходилось сталкиваться с низменной стороной любви, тайно и всегда с отвращением, так как он был брезглив и обладал врождённым чувством законности и приличия. Он не хотел тайной связи. Свадьба в посольстве в Париже, несколько месяцев путешествия — и он привезёт обратно Аннет, окончательно порвавшую с прошлым, правду сказать, не весьма импозантным, так как она всего-навсего вела бухгалтерию в ресторане своей матери в Сохо; он привезёт её обратно совершенно обновлённую и шикарную, так как у неё, как у француженки, много вкуса и самообладания, и она будет царить у него в «Шелтере» близ Мейплдерхема. На Форсайтской Бирже и среди его загородных знакомых распространится слух, что он во время путешествия познакомился с очаровательной молодой француженкой и женился на ней. Женильба на

⁴ *Мауве Антон (1838—1888)* — голландский художник-пейзажист.

француженке — в этом есть известный *sachet*⁵, это может даже показаться романтичным. Это его не страшило. Вот только его проклятое положение неразведенного мужа и неизвестность, согласится ли Аннет выйти за него, — этого вопроса он не решался касаться до тех пор, пока не будет в состоянии предложить ей вполне определённое и даже блестящее будущее.

Сидя в гостиной у своих тёток, он рассеянно, краем уха слушал обычные вопросы: как здоровье его дорогого батюшки? Он, разумеется, не выходит из дому, ведь теперь уже становится свежо? Сомс должен непременно передать ему, что от этой боли в боку Эстер очень помог отвар Остролистника: припарки через каждые три часа, потом укутаться в красную фланель. И, может быть, ему понравится — они приготовили для него совсем маленькую баночку их лучшего варенья из чернослива — оно в этом году на редкость удалось и действует замечательно. Ах да, насчёт Дарти, слышал ли Сомс, что у милочки Уинифрид большие неприятности с Монтегью? Тимоти полагает, что кто-нибудь должен вмешаться в это и заступиться за неё. Говорят — но пусть Сомс не считает это за совершенно достоверное, — что он подарил драгоценности Уинифрид какой-то ужасной танцовщице. Какой пример для юного Вэла, да ещё как раз теперь, когда мальчик поступает в университет! И Сомс ничего не слышал об этом? Ах, ну, он непременно должен навестить сестру и узнать, в чём дело. А как он думает, эти буры действительно будут воевать? Тимоти ужасно беспокоится. Консоли стоят так высоко, и у него столько денег вложено в них. Как Сомс думает, они непременно должны упасть, если будет война? Сомс кивнул. Но ведь это, конечно, очень скоро кончится. Для Тимоти было бы ужасно, если бы это затянулось. И милому батюшке Сомса это было бы очень тяжело в его возрасте. К счастью, дорогой Роджер избавлен от этого ужасного испытания. И тётя Джули смахнула носовым платочком большую слезу, пытавшуюся взобраться на неизменную припухлость на её левой, теперь уже совершенно дряблой, щеке: она вспомнила милого Роджера, какой он был выдумщик и как он любил тыкать её булавками, когда они были совсем маленькие. Тут тётя Эстер, инстинктивно избегавшая всего неприятного, быстро переменяла разговор: а как Сомс думает, мистера Чемберлена⁶ скоро сделают премьер-министром? Он бы мигом все это уладил. И она так была бы рада, если бы этого старого Крюгера⁷ сослали на остров св. Елены. Она так хорошо помнит, как пришло известие о смерти Наполеона и как дедушка был доволен. Разумеется, они с Джули — «мы тогда бегали в панталончиках, мой милый» — не много в этом смыслили.

Сомс взял протянутую ему чашку чаю и быстро выпил её, закусив тремя миндальными бисквитиками, которыми славился дом Тимоти. Его бледная презрительная улыбка выступила отчётливее. Нет, правда же, его родственники остались безнадёжными провинциалами, хоть и владеют чуть не целым Лондоном. Подумать только, старый Николае по-прежнему ещё фритредер и член этой допотопной твердыни либерализма — клуба «Смена», хотя, само собой разумеется, почти все члены этого клуба теперь консерваторы, иначе он и сам бы не мог в него вступить, а Тимоти, говорят, все ещё надевает ночной колпак. Тётя Джули опять заговорила. Милый Сомс так хорошо выглядит, ни чуточки не постарел с тех пор, как умерла дорогая тётя Энн; как они все тогда собрались вместе: дорогой Джолион, дорогой Суизин и дорогой Роджер. Она остановилась и смахнула слезу, которая на этот раз всползла на припухлость правой щеки. Слышал ли он... слышал он

⁵ Печать изысканности (фр.)

⁶ *Чемберлен Джозеф (1836—1914)* — английский политический деятель, сыгравший видную роль в ходе англо-бурской войны; в 1895—1903 гг. занимал пост министра колоний.

⁷ *Крюгер Стефан Иоганн Пауль (1825—1904)* — бурский государственный деятель, президент Трансвааля с 1883 по 1898 г.

что-нибудь об Ирэн? Тётя Эстер красноречиво передёрнула плечами. Право же. Джули всегда что-нибудь скажет! Улыбка сбежала с лица Сомса, и он поставил чашку на стол. Ну вот, они сами коснулись того, о чём он думал заговорить, но, как ему ни хотелось открыться, он не в состоянии был воспользоваться предложенной ему возможностью.

Тётя Джули поспешно продолжала:

— Говорят, милый Джолион оставил ей эти пятнадцать тысяч сначала в полную собственность, но потом он, разумеется, решил, что это неудобно, и переписал в пожизненное пользование.

Слышал ли это Сомс? Сомс кивнул.

— Твой кузен Джолион теперь вдовец. Он ведь её попечитель, ты, конечно, знаешь об этом?

Сомс покачал головой. Он знал, но не хотел, чтобы они думали, что это его интересует. Он не виделся с молодым Джолионом со дня смерти Боснии.

— Он, должно быть, теперь уже совсем пожилой, — задумчиво продолжала тётя Джули. — Позвольте-ка, он родился, когда твой дорогой дядюшка жил на Маунтстрит, задолго до того, как они поселились на Стэнхоп-Гейт — в декабре сорок седьмого года, как раз перед этой ужасной революцией. Да, ему уж за пятьдесят! Подумать только! Такой хорошенький мальчик, мы все так гордились им, он ведь первый был.

Тётя Джули вздохнула, и прядь её — правда, не совсем её — волос выбилась из причёски и повисла, так что тётя Эстер даже вздрогнула. Сомс встал; он сделал удивительное открытие. Старая рана, нанесённая его гордости, его самоуважению, не зажила. Он шёл сюда, думая, что сможет заговорить об этом; он даже хотел поговорить о своём затруднительном положении, и — вот! Он бежит от этих напоминаний тёти Джули, — прославившейся тем, что она всегда говорит некстати.

О, разве Сомс уже уходит? Сомс улыбнулся чуть-чуть мстительно и сказал:

— Да. До свидания. Кланяйтесь дяде Тимоти.

И, приложившись холодным поцелуем к обоим лбам с бесчисленными морщинками, которые, казалось, льнули и липли к его губам, словно томясь желанием быть разглаженными его поцелуем, он вышел, провожаемый ласковыми взглядами. Дорогой Сомс, как это мило, что он зашёл сегодня, когда они чувствуют себя не совсем...

С щемящим чувством раскаяния Сомс спустился по лестнице, где всегда стоял приятный запах камфары, портвейна и дома, в котором запрещены сквозняки. Бедные старушки — он не хотел их обидеть! На улице он тотчас же позабыл о них, снова охваченный воспоминаниями об Аннет и мыслью о проклятых путях, связывающих его. Почему он тогда же не покончил с этим, не добился развода, когда этот несчастный Босини попал под колеса, ведь у него было сколько угодно улик! Свернув, он направился к своей сестре Уинифрид Дарти на Грин-стрит, Мейфер.

II. СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК УХОДИТ СО СЦЕНЫ

То, что светский человек, столь подверженный превратностям судьбы, как Монтегью Дарти, все ещё жил в доме, в котором он прожил по крайней мере двадцать лет, было бы много более удивительно, если бы арендная плата, налоги и ремонт этого дома не оплачивались его тестем. Этим простым и в некотором роде коммерческим способом Джеймс Форсайт обеспечил своей дочери и внукам известную устойчивость существования. В конце концов есть нечто действительно неоценимое в надёжной крыше над головой такого стремительного спортсмена, как Дарти. Вплоть до событий, разыгравшихся за эти последние дни, он целый год вёл себя неестественно мирно. Секрет был в том, что он приобрёл на половинных началах кобылу Джорджа Форсайта, который, к ужасу Роджера, ныне успокоившегося в могиле, неуклонно продолжал играть на скачках. Запонка, дочь Страдальца и Огненной Сорочки и внучка Подвязки; была гнедая кобыла трех лет от роду, которая по ряду причин ещё ни разу не обнаружила своей истинной формы. Когда Дарти

почувствовал себя полублагодателем этого подающего высокие надежды животного, весь его идеализм, скрытый где-то глубоко в нём, как и во всяком другом человеке, ожил и в течение долгих месяцев помогал ему держаться с пламенной стойкостью. Когда у человека появляется надежда на что-то хорошее, ради чего стоит жить, удивительно, до чего он может стать трезвым, а то, что было у Дарти, было безусловно хорошо: три к одному на осеннем гандикапе, при котировке двадцать пять к одному. Допотопный рай был просто убожеством по сравнению с этим — все надежды Дарти держались на Запонке от Огненной Сорочки. И не одни надежды — куда больше зависело от этого отпрыска Подвязки! В сорок пять лет, в этом беспокойном возрасте, опасном для Форсайтов — и хотя, может быть, менее отличающемся от какого-либо другого возраста для Дарти, но всё же опасном и для них, — Монтегью избрал объектом своих неугомонных прихотей некую танцовщицу. Это было серьёзное увлечение; но без денег, и при этом без порядочного количества денег, любовь их грозила остаться не менее эфемерной, чем её балетные юбочки, а у Дарти никогда не было денег; он влачил жалкое существование на то, что ему удавалось выпросить или занять у Уинифрида, женщины с характером, которая терпела его, потому что он был отцом её детей и из чувства ещё не совсем угасшего восхищения перед этими ныне исчезающими чарами с Уордер-стрит, пленившими её в юности. Она и всякий, кто способен был дать ему займы, да ещё его проигрыши в карты и на скачках (удивительно, как некоторые люди умеют извлекать выгоду из своих проигрышей) были единственным источником его доходов; Джемс стал слишком стар и раздражителен, чтобы к нему можно было подъехать, а Сомс был чудовищно неприступен. Можно сказать без всякого преувеличения, что Дарти в продолжение нескольких месяцев жил одной надеждой. Он никогда не любил деньги ради денег и презирал Форсайтов с их увлечением инвестициями, хотя и старался извлечь из них пользу, елико возможно. Он ценил в деньгах то, что на них можно купить, — ощущения.

— Истинный спортсмен не интересуется деньгами, — обычно говорил он, занимая двадцать пять фунтов, когда не было смысла пытаться занять пятьсот. Было что-то восхитительное в Монтегью Дарти. Он был, как говорил Джордж Форсайт, истинный «одуванчик».

Утро того дня, в который должны были состояться скачки, возшло ясное, светлое, — утро последнего сентябрьского дня; Дарти, накануне приехавший в Ньюмаркет⁸, облачился в безупречный клетчатый костюм и поднялся на пригорок взглянуть, как его половину кобылы показывают на лёгком галопе. Если она придёт — три тысячи чистоганом у него в кармане, скромная награда за терпение и трезвость всех этих месяцев надежд, пока её готовили к состязанию. Но поставить больше он был не в состоянии. Может, ему переуступить свою ставку, а разницу поставить в восьми к одному, как она котируется сегодня? Только одна эта мысль и занимала его, пока он стоял на пригорке, и жаворонки пели над ним и холмы, поросшие травой, благоухали, а хорошенькая кобылка, вскидывая голову, прохаживалась внизу, лоснящаяся, как атлас. В конце концов, если он проиграет, платить будет не он, а если переуступит и поставит в восьми к одному, выигрыш его сократится до полутора тысяч — сумма едва ли достаточная, чтобы приобрести танцовщицу. Но ещё сильнее подзадоривал его присущий всем Дарти азарт игрока. И, повернувшись к Джорджу, он сказал:

— Лошадка классная. Она возьмёт, можно ручаться. Ставлю в лоб, на первое место.

Джордж, который поставил и в том и в другом заезде и ещё в нескольких других и рассчитывал выиграть, как бы ни повернулось дело, усмехнулся на него с высоты своего внушительного роста и сказал только: "Хо! Хо! Пошёл, голубчик!", — потому что после тяжёлой школы, которую он прошёл на деньги вечно сокрушавшегося Роджера, его форсайтская натура теперь помогала ему входить в роль собственника.

Бывают в жизни людей минуты разочарований, которые чувствительный

⁸ *Ньюмаркет* — центр английского коневодства и скакового спорта, где каждую осень разыгрывается большой приз по гандикапу.

повествователь не решится описывать. Достаточно сказать, что дело провалилось. Запонка не пришла. Надежды Дарти рухнули.

В промежуток времени между этими событиями и днём, когда Сомс направился на Грин-стрит, чего только не произошло!

Когда человек с характером Монтегью Дарти занимается в течение нескольких месяцев самообузданием с благочестивыми целями и не получает награды, он не умирает, проклиная бога, а прокликает бога и остаётся жить на горе своему семейству.

Уинифрид, отважная, хотя и несколько слишком светская женщина, терпеливо выдерживавшая неприятельский натиск своего супруга ровно двадцать один год, никогда не могла себе представить, что он дойдёт до того, до чего он дошёл. Подобно многим жёнам, она считала, что уже испытала самое худшее; но она ещё не знала его сорокапятилетним, когда он, как и другие мужчины в эти годы, почувствовал: «Теперь или никогда». Заглянув второго октября в свою шкатулку с драгоценностями, она пришла в ужас, обнаружив исчезновение венца и гордости своей женской славы — жемчугов, которые Монтегью подарил ей в восемьдесят шестом году, когда родился Бенедикт, и за которые Джемс весной восемьдесят седьмого года принуждён был заплатить во избежание скандала. Она сейчас же заявила об этом своему супругу. Он пренебрежительно фыркнул: «Найдутся!» И только после того, как она резко сказала: «Отлично, Монти, в таком случае я сама пойду в Скотленд-Ярд», — он согласился заняться этим делом. Увы, случается иногда, что серьёзное и стойкое намерение осуществить великое дело неожиданно нарушается выпивкой. Когда Дарти ночью вернулся домой, море ему было по колено и утаить что-либо он был совершенно не в состоянии. В обычных условиях Уинифрид просто заперлась бы на ключ, предоставив ему проспать, но мучительное беспокойство о судьбе жемчугов заставило её дожидаться его. Вынув из кармана маленький револьвер и опершись на обеденный стол, он тут же заявил ей, что ему совершенно наплевать, ж-живёт она или н-не живёт, покуда она не скандалит; но что сам он устал — от жизни. Уинифрид, стоя по другую сторону стола, ответила:

— Перестань паясничать, Монти. Ты был в Скотленд-ярде?

Приставив к груди револьвер, Дарти несколько раз нажал гашетку. Револьвер оказался незаряжённым. С проклятием бросив его на пол, он пробормотал:

— Р-ради детей! — и упал в кресло.

Уинифрид подобрала револьвер и дала Дарти содовой воды. Напиток оказал на него магическое действие. Жизнь его з-загублена. Уинифрид его н-никогда не п-понимала. Если он не имеет права взять ж-жемчуг, который он ей с-сам подарил, то кто же имеет? Он у той девочки, у испанки. Если Уинифрид в-возражает, он ей перережет горло. А что тут такого? (Так, должно быть, и возникло это знаменитое выражение, ибо темны источники даже самых классических изречений.)

Уинифрид, которая прошла суровую школу искусства владеть собой, посмотрела на него и сказала:

— Девочка? Испанка? Ты хочешь сказать, эта девка, которую мы видели в «Пандемониуме»? Ну что же, значит ты — вор и мерзавец.

Это была последняя капля, переполнившая болезненноотягченное сознание; вскочив с кресла, Дарти схватил же" ну за руку и, вспомнив подвиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы. Уинифрид выдержала мучительную боль со слезами на глазах, но не проронив ни звука. Улучив минуту, когда он ослабел, она выдернула руку; потом, встав снова по ту сторону стола, сказала сквозь зубы:

— Ты, Монти, предел всему. (Несомненно, это выражение употреблялось впервые — так-то под влиянием обстоятельств формируется язык.)

Оставив Дарти, у которого на тёмных усах выступила пена, Уинифрид поднялась к себе, заперлась на ключ, подержала руку в горячей воде, потом легла и всю ночь, не смыкая глаз, думала о своих жемчугах, украшающих шею другой, и о том внимании, которым был, по-видимому, награждён за это её супруг.

Светский человек проснулся с чувством, что он погиб для света, смутно вспоминая, что его, кажется, назвали «пределом». Он с полчаса просидел в том самом кресле, где он проспал ночь, — это были, вероятно, самые несчастные полчаса в его жизни, потому что даже для Дарти конец представляет собой нечто трагическое, а он понимал, что дошёл до конца. Никогда больше не будет он спать у себя в столовой и просыпаться с рассветом, пробивающимся сквозь занавеси, купленные Уинифрид у Никкенса и Джарвейса на деньги Джемса. Никогда больше не будет он, приняв горячую ванну, есть крепко наперчённые почки за этим столом палисандрового дерева. Он достал из кармана фрака бумажник. Там было четыреста фунтов в пяти— и десятифунтовых бумажках — остаток суммы за проданную им накануне Джорджу Форсайту половину кобылы, к которой тот, изрядно выиграв в нескольких заездах, не проникся, подобно Дарти, внезапным отвращением. Послезавтра балетная труппа отправляется в Буэнос-Айрес, и он поедет с ними. За жемчуг с ним ещё не расплатились; все ещё кормили закуской.

Он тихонько поднялся наверх. Не осмеливаясь принять ванну и побриться (к тому же вода, конечно, холодная), он переоделся и бесшумно уложил все, что мог. Жалко было оставлять столько сверкающих лаком ботинок, но чем-нибудь всегда приходится жертвовать. Неся в каждой руке по чемодану, он вышел на площадку лестницы. В доме было совсем тихо, в доме, где у него родилось четверо детей. Странное это было ощущение — стоять у дверей спальни жены, в которую он когда-то был влюблён, если и не любил, и которая назвала его «пределом». Он ожесточил себя, повторив её фразу, и на цыпочках прошёл дальше; но пройти мимо следующей двери было тяжелее. Это была спальня его дочерей. Мод в школе, но Имоджин сейчас лежит там, и осовевшие глаза Дарти увлажнились. Из всех четверых она больше всех была похожа на него своими тёмными волосами и томными чёрными глазами. Только ещё распускается, прелестная крошка! Он опустил на пол оба чемодана. Это почти формальное отречение от своих отцовских прав было для него очень мучительно. Утренний свет падал на лицо, искажённое истинным волнением. Не какое-либо ложное чувство раскаяния обуревало его, но естественное отцовское чувство и грустное сознание «никогда больше». Он провёл языком по губам, и полная нерешительность парализовала на мгновение его ноги в клетчатых брюках. Тяжело, так тяжело, когда человек вынужден покинуть свой родной дом!

— Проклятье! — пробормотал он. — Я никогда не думал, что до этого дойдёт.

По шуму наверху он понял, что прислуга встаёт; и, схватив оба чемодана, на цыпочках стал спускаться по лестнице. Щеки его были влажны от слез, и это несколько утешало его, словно подтверждая искренность его жертвы. Он задержался немного внизу, чтобы уложить все свои сигары, кое-какие бумаги, шапокляк, серебряный портсигар, путеводитель Рэффа. Потом, налив стакан виски с содовой водой и закулив папироску, он остановился в нерешительности перед фотографией в серебряной рамке, изображавшей обеих его дочерей. Фотография принадлежала Уинифрид. «Ничего, подумал он, — она может их снять ещё раз, а я не могу!» — и сунул её в чемодан. Потом, надев шляпу, пальто и прихватив ещё два пальто, свою лучшую бамбуковую трость и зонтик, он отпер входную дверь. Бесшумно закрыв её за собой, он вышел на улицу, нагруженный, как никогда в жизни, и свернул за угол подождать, пока покажется ранний утренний кэб.

Так на сорок пятом году жизни Монтегью Дарти покинул дом, который он называл своим.

Когда Уинифрид сошла вниз и обнаружила, что его нет, первым её чувством была глухая злоба, что вот он улизнул от её упреков, которые она в эти долгие бессонные часы тщательно припасала для него. Конечно, он уехал в Ньюмаркет или в Брайтон и, наверно, с этой женщиной. Какая гадость! Вынужденная сдерживаться перед Имоджин и прислужкой и чувствуя, что нервы её отца не выдержат этой истории, она не утерпела и днём отправилась к Тимоти, чтобы под великим секретом рассказать тёткам Джули и Эстер о пропаже жемчуга. Только на следующее утро она заметила исчезновение фотографии. Что это могло значить? Тщательное обследование остатков имущества её супруга убедило её в том, что он уехал без

намерения вернуться. Когда это убеждение окончательно окрепло, она, стоя посреди спальни среди выдвинутых со всех сторон ящиков, попыталась уяснить себе, что она, собственно, чувствует. Это было очень нелегко! Хотя Монти и был «пределом», он всё же был её собственностью, и она при всём желании не могла не чувствовать себя обедневшей. Остаться вдовой и в то же время не совсем вдовой в сорок два года, с четырьмя детьми! Сделаться предметом сплетен, соболезнований! Кинулся в объятия испанской девки! Воспоминания, чувства, которые она считала давно угасшими, ожили в ней, мучительные, цепкие, злые. Машинально задвинула она один ящик за другим, прошла к себе в спальню, легла на кровать и зарылась лицом в подушки. Она не плакала. Что пользы плакать? Когда она встала, чтобы сойти вниз к завтраку, она почувствовала, что утешить её могло бы только одно: присутствие Вэла. Вэл, её старший сын, который через месяц должен был поступить в Оксфорд на средства Джемса, сейчас находился в Литлхэмтоне, где преодолевал последние барьеры со своим репетитором, галопом готовясь к экзаменам, как говорил он, заимствуя выражения у отца. Она распорядилась, чтобы ему дали телеграмму.

— Мне надо заняться его костюмами, — сказала она Имоджин. — Я не могу отправить его в Оксфорд одетым кое-как. Там на это очень обращают внимание.

— У Вэла масса костюмов, — ответила Имоджин.

— Я знаю, но их нужно пересмотреть, привести в порядок. Я надеюсь. Что он приедет.

— Можешь быть уверена, мама, пулей примчится. Но только он, вероятно, провалится на экзамене.

— Тут уж я ничего не могу поделать, — сказала Уинифрид. — Мне нужно, чтобы он был здесь.

Кинув на мать невинно-проницательный взгляд, Имоджин промолчала. Конечно, тут замешан отец. В шесть часов Вэл действительно «примчался пулей».

Представьте себе помесь Форсайта с повесой — это и будет юный Публиус Валериус Дарти. Из юноши с таким именем вряд ли могло получиться что-нибудь иное. Когда он родился, Уинифрид, пылая возвышенными чувствами и жаждой оригинальности, решила, что назовёт своих детей так, как ещё никто не называл. (Какое счастье, — думала она теперь, — что она не назвала Имоджин Фисбой⁹.) Но имя Вэла было изобретением Джорджа Форсайта, который всегда слыл остряком. Случилось так, что Дарти, спустя несколько дней после рождения своего сына и наследника, обедал с Джорджем и рассказал ему о высоких замыслах Уинифрид.

— Назовите его Катон¹⁰, — сказал Джордж, — это будет здорово пикантно.

Он как раз в этот день выиграл десятку на лошадь, которая так называлась.

— Катон! — повторил Дарти. (Они были слегка навеселе, как принято было говорить даже и в то время.) — Это не христианское имя.

— Эй! — крикнул Джордж лакею в коротких штанах и чулках. — Принесите-ка из библиотеки Британскую энциклопедию на букву К.

Лакей принёс.

— Вот оно! — сказал Джордж, тыкая сигарой. — Катон Публиус Валериус, чистокровный, сын Лидии и Виргилия. Вот как раз то, что вам нужно. Публиус Валериус вполне христианское имя.

Дарти, вернувшись домой, сообщил об этом Уинифрид. Она пришла в восторг. Это было так шикарно. И младенца окрестили Публиус Валериус, хотя впоследствии выяснилось, что этот Катон был не самый знаменитый. Однако в 1890 году, когда маленькому Публиусу было около десяти лет, слово «шикарно» вышло из моды, и на

⁹ *Фисба* — красавица в Древнем Вавилоне с трагической судьбой («Метаморфозы» Овидия, четвёртая книга).

¹⁰ *Катон Публий Валерий* (род. ок. 100 г.) — римский поэт.

смену ему пришло благоразумие; Уинифрид начали одолевать сомнения. Эти сомнения превратились в уверенность, когда сам маленький Публиус вернулся из школы после первого полугодия, горько жалуясь, что ему жить не дают, называют его Пубби. Уинифрид, женщина решительная, немедленно поместила его в другую школу и переименовала Вэлом, так что Публиус исчез даже из инициалов.

В девятнадцать лет это был стройный веснушчатый юноша с большим ртом, светлыми глазами с длинными тёмными ресницами, с обаятельной улыбкой, с весьма обширными знаниями того, чего ему не следовало знать, и полным неведением того, что знать полагалось. Редко кто из мальчиков был так близок к исключению из школы — милый бездельник. Поцеловав мать и ущипнув Имоджин, он побежал наверх, прыгая через три ступеньки; затем, уже переодетый к обеду, спустился вниз, прыгая через четыре. Ему ужасно досадно, но его репетитор, который тоже приехал в Лондон, пригласил его обедать в «Оксфорд-и-Кэмбоидж-Клуб»; отказаться неудобно, старик обидится. Уинифрид, огорчённая и в то же время польщённая, отпустила его. Ей хотелось, чтобы он остался дома, но ей было приятно, что наставник так любит его. Уходя, он подмигнул Имоджин.

— Да, мама, — сказал он, — я видел у кухарки куликовые яйца, оставьте мне парочку к вечеру, я с удовольствием поужинаю. Да, кстати, у тебя нет денег? Мне пришлось занять пятёрку у старика Снобби.

Уинифрид, глядя на него с любовной пронизательностью, ответила:

— Но, дорогой мой, нельзя же так сорить деньгами, и во всяком случае ты не должен платить сегодня вечером: ты же его гость. («Какой он очаровательный и стройный в этой белой жилетке, и эти густые тёмные ресницы!»)

— Но мы, может быть, пойдём в театр, мама, и я думаю, что мне придётся заплатить за билеты, у него насчёт монеты слабо.

Уинифрид, протянув ему пятифунтовую бумажку, сказала:

— Ну хорошо, может быть, действительно лучше отдать ему, но в таком случае ты не должен платить за билеты.

Он сунул бумажку в карман.

— Если бы мне и пришлось, я не смог бы. До свидания, мам.

Он вышел, высоко задрвав голову в лихо сдвинутой набок шляпе, жадно вдыхая воздух Пикадилли, как молодой пёс, выпущенный на волю. Чудно повезло! После этой грязной, скучной дыры очутиться здесь!

Он встретился со своим наставником, правда, не в «Оксфорд-и-Кэмбридж-Клубе», а в «Клубе Козла». Наставник оказался всего на год старше его — красивый юноша: прекрасные карие глаза, гладко причёсанные тёмные волосы, маленький рот, овальное лицо, томный, безукоризненный, хладнокровный до последней степени, один из тех молодых людей, которые без труда приобретают моральное влияние на своих сверстников. Он чуть не вылетел из школы за год до Вала, провёл последний год в Оксфорде и Валу казался окружённым ореолом. Его звали Крум, и не было человека, который бы умел тратить деньги быстрее. Казалось, это было его единственной целью в жизни, что совершенно ослепляло юного Вала, в котором Форсайт, однако, держался иного мнения, удивляясь время от времени, где же, собственно, то, за что они платили деньги.

Они мирно пообедали, стильно и со вкусом, выпили каждый по бутылке вина и, выйдя из клуба, попыхивая сигарами, отправились в «Либерти» в кресла первого ряда. Звуки весёлых куплетов, зрелище очаровательных ножек затуманивались и пропадали для Вала за неотвязными мыслями о том, что ему никогда не сравняться с Крумом в его спокойном дендизме. Мечты о недостижимом идеале смущали его душу, а когда это происходит, всегда бывает как-то не по себе. Конечно, у него слишком большой рот, не безукоризненный покрой жилета, брюки не обшиты тесьмой, а на его перчатках цвета, лаванды нет чёрных простроченных стрелок. Кроме того, он слишком много смеётся; Крум никогда не смеётся, он только улыбается, так что его прямые тёмные брови слегка приподнимаются, образуя треугольник над опущенными веками. Нет, ему никогда не сравняться с Крумом! А всё-таки

это замечательно весёлый спектакль, и Цинги я Дарк прямо великолепна! В антрактах Крум посвящал его в подробности частной жизни Цинтии, и Вал сделал мучительное открытие, что Крум, если захочет, может пройти за кулисы. Ему так хотелось сказать: «Послушай, возьми меня с собой», но он не смел из-за своих несовершенств, и от этого последние два акта чувствовал себя просто несчастным. При выходе Крум сказал:

— Ещё полчаса до закрытия театров, поедem в «Панде — мониум».

Они взяли кабриолет, чтобы проехать сто ярдов, и места по семь шиллингов шесть пенсов, хотя намеревались стоять, и прошли в зал. Вот в таких именно мелочах, в этом полном пренебрежении к деньгам, проявлялась эта столь восхитительная утончённость Крума. Балет подходил к концу и шёл в последний раз, поэтому в зале была невыразимая давка. Мужчины и женщины в три ряда столпились у барьера. Вихрь и блеск на сцене, полумрак, смешанный запах табака и женских духов, вся эта увлекательная прелесть толчеи, свойственная увеселительным местам, разогнали идеалистические грёзы Вэла. Он восхищённо заглянул в лицо какой-то молодой женщине, обнаружил, что она не так уж молода, и быстро отвёл глаза. Бедная Цинтия Дарк! Рука молодой женщины нечаянно задела его руку; на него пахло запахом мускуса и резеды. Опустив ресницы, Вэл украдкой покосился на неё. Может быть, она всетаки молодая. Она наступила ему на ногу и попросила извинения. Он сказал:

— Пожалуйста; не правда ли, какой чудный балет?

— О, он мне уже надоел, а вам неужели нет?

Юный Вэл улыбнулся своей открытой очаровательной улыбкой. Дальше он не пошёл — всё это было для него ещё мало убедительно. Форсайт в нём требовал большей определённости. А на сцене вихрем кружился балет, точно в калейдоскопе, белый, ярко-розовый, изумрудно-зелёный, фиолетовый, и вдруг все сразу застыло неподвижной сверкающей пирамидой. Взрыв аплодисментов — всё кончилось. Коричневый занавес закрыл сцену. Тесный полукруг мужчин и женщин у барьера разорвался, рука молодой женщины прижалась к руке Вэла. Чуть-чуть поодаль вокруг какого-то господина с розовой гвоздичкой в петлице царило необычайное оживление. Вэл снова украдкой покосился на молодую женщину, глядевшую в ту сторону. Трое мужчин, взявшись под руки, нетвёрдой походкой вышли из круга. У того, который шёл посередине, были тёмные усы, розовая гвоздичка в петлице и белый жилет; он слегка пошатывался на ходу. Голос Крума, ровный и спокойный, произнёс:

— Взгляни-ка на этого пшюта, здорово он навинтился!

Вэл обернулся; «пшют», высвободив руку, показывал пальцем прямо на них. Голос Крума, как всегда ровный, сказал:

— Он, по-видимому, знает тебя!

«Пшют» крикнул:

— Алло, полюбуйтесь-ка, друзья! Этот юный шалопаи — мой сын!

Вэл увидел: это был его отец. Он готов был провалиться сквозь малиновый ковёр. Не из-за того, что они встретились с ним в таком месте, не из-за того даже, что отец «навинтился»; а из-за этого слова «пшют», которое в эту минуту, словно откровение, показалось ему неопровержимой истиной. Да, отец его действительно имел вид пшюта — красивое смуглое лицо, эта розовая гвоздичка в петлице и развязная, самоуверенная походка! Не говоря ни слова, Вэл нырнул за спину молодой женщины и бросился вон из зала. Он услышал позади себя оклик: "Вэл!", быстро сбежал по покрытой толстым ковром лестнице мимо капельдинеров — и прямо в сквер.

Стыдиться родного отца — это, пожалуй, самое тяжёлое, что может пережить юноша. Бежавшему без оглядки Вэлу казалось, что карьера его кончилась, не успев и начаться. Ну как же он после этого будет жить в Оксфорде среди этих молодых людей, среди этих блестящих приятелей Крума, которые теперь все узнают, что его отец пшют? И внезапно он возненавидел Крума. А кто такой этот Крум, скажите пожалуйста? Если бы в эту минуту Крум очутился около него, он несомненно сшиб бы его с тротуара. Родной отец, его родной

отец! Рыдание сдавило ему горло, и он глубже засунул руки в карманы пальто. К чёрту Крума! Его охватило безрассудное желание побежать назад, разыскать отца и пройти с ним под руку перед Крумом. Но он тотчас подавил это желание и зашагал дальше по Пикадилли. Молодая женщина преградила ему дорогу.

— Ты, цыпка, кажется, сердишься на что-то?

Он отскочил от неё, увернулся и сразу остыл. Если Крум посмеет только заикнуться об этом, он его так вздует, что отошьёт у него охоту болтать. Он прошёл шагов сто, успокоившись на этой мысли, но потом его снова охватило полное отчаяние. Это совсем не так просто! Он вспомнил, как в школе, когда чьи-нибудь родители не подходили под установленную мерку, как это всегда клеймило мальчика. Это то, чего никогда с себя не смоешь. Почему его мать вышла замуж за отца, если он пшют? Это так несправедливо, прямо-таки бесчестно: дать ему в отцы пшюта. Но самое худшее во всём этом было то, что, когда Крум произнёс это слово, он почувствовал, что и сам уже давно безотчётно сознавал, что отец его не настоящий джентльмен. Это самое ужасное, что он когда-либо испытал за всю свою жизнь, ужаснее всего, что кому-либо случалось переживать. Удручённый как никогда, он дошёл до Грин-стрит и открыл дверь похищенным когда-то ключом. В столовой на столе были аппетитно приготовлены куликовые яйца, нарезанный ломтиками хлеб и масло, а на дне графина немножко виски — как раз столько, как думала Уинифрид, чтобы он мог почувствовать себя мужчиной. Ему стало тошно, когда он увидел все это, и он поднялся вверх.

Уинифрид услышала его шаги и подумала: «Милый мальчик уже вернулся. Слава богу! Если он пойдёт по стопам отца, я просто не знаю, что я буду делать. Но нет, этого не будет, он весь в меня. Дорогой мой Вэл!»

III. СОМС СОБИРАЕТСЯ ЧТО-ТО ПРЕДПРИНЯТЬ

Когда Сомс вошёл в маленькую гостиную своей сестры, отделанную в стиле Людовика XV, с крошечным балкончиком, всегда украшенным летом цветущей геранью, а теперь заставленным горшками с *lilium auratum*, его поразила неподвижность человеческого бытия. Все здесь выглядело совершенно так же, как в первый его визит к молодожёнам Дарти двадцать один год назад. Он сам выбирал обстановку для этой комнаты и сделал это так основательно, что никакие приобретения в дальнейшем не могли изменить её атмосферу. Да, он хорошо устроил свою сестру, и это для неё было очень существенно. В самом деле, для Уинифрид было очень важно, что после стольких лет жизни с Дарти она ещё сохранила хорошую обстановку. С самого начала Сомс угадал истинную натуру Дарти под этой напускной добропорядочностью, *savoir faire*¹¹ и привлекательной внешностью, которые так пленили Уинифрид, её мать и даже Джемса, что те совершили роковую ошибку — позволили этому молодцу жениться на их дочери, хотя он не принёс в дом решительно ничего.

Уинифрид, которую Сомс заметил уже после обстановки, сидела за своим бюро-буль¹² с письмом в руке. Она встала и пошла ему навстречу. Высокая, с него ростом, с выдающимися скулами, прекрасно одетая, но что-то в её лице встревожило Сомса. Она скомкала письмо в руке, потом, по-видимому передумав, протянула его Сомсу. Он был не только её братом, но и поверенным в делах. На листе почтовой бумаги «Айсиум-Клуба» Сомс прочёл следующее:

«Вам больше не удастся оскорблять меня в моём собственном. Завтра я

¹¹ Деловитость (фр.)

¹² *Бюро-буль* — бюро с инкрустацией в стиле «буль», по имени французского резчика по дереву Андре Буля (1642—1732).

покидаю Англию. Карта бита. Мне надоело терпеть Ваши оскорбления. Вы сами меня довели. Ни один уважающий себя человек не сможет этого вынести. Я больше ничем не буду Вас беспокоить — Прощайте. Я взял фотографию девочек. Скажите им, что я их целую. Мне совершенно безразлично, что будут говорить Ваши родственники. Это дело их рук. Я собираюсь начинать новую жизнь.

М. Д.»

На этом письме, написанном, по-видимому, после хорошего обеда, красовалось ещё не совсем высохшее пятно. Сомс взглянул на Уинифрид — пятно от слез, ясно, — и он подавил готовые было вырваться слова: «Скатертью дорожка!» Потом у него мелькнула мысль, что это письмо ставит её в то самое положение, из которого он так хочет выпутаться: положение неразведенного Форсайта.

Уинифрид, отвернувшись, нюхала маленький флакончик с золотой пробкой. Глухая жалость, смутное ощущение обиды шевельнулось в сердце Сомса. Он пришёл к ней поговорить о своём положении, рассчитывая встретить сочувствие, и вот, оказывается, она сама в таком же положении, и, конечно, ей хочется поговорить об этом, и она ждёт сочувствия от него. И всегда так! Никому, по-видимому, даже в голову не приходит, что у него могут быть свои неприятности и интересы. Он сложил письмо пятном внутрь и сказал:

— Что все это значит?

Уинифрид спокойным голосом рассказала ему историю с жемчугом.

— Как ты думаешь. Сомс, он действительно уехал? Ты видишь, в каком состоянии он писал это письмо.

Сомс, когда ему чего-нибудь очень сильно хотелось, заискивал перед судьбой, делая вид, что не верит в счастливый исход; поэтому он ответил:

— Не думаю, вряд ли. Я могу попытаться навести справки в его клубе.

— Если Джордж там, он, конечно, знает, — сказала Уинифрид.

— Джордж? — сказал Сомс. — Я видел его сегодня на похоронах.

— Тогда, значит, он сейчас, наверное, в клубе.

Сомс, здравый смысл которого невольно приветствовал догадливость сестры, нехотя сказал:

— Хорошо, я могу заехать туда. Ты что-нибудь сообщала на Парк-Лейн?

— Я рассказала Эмили, — ответила Уинифрид, сохранившая «шикарную» привычку называть мать по имени. — С папой мог случиться припадок.

Действительно, все мало-мальски неблагополучное от Джемса теперь скрывали... Окинув последний раз взглядом обстановку, словно оценивая действительное положение сестры, Сомс вышел и направился к Пикадилли. Спускались сумерки, тянуло холодком октябрьского тумана. Он шёл быстро, с замкнутым и сосредоточенным видом. Нужно поскорей разделаться с этим, он сегодня собирался пообедать в Сохо. Узнав от швейцара «Айсиум-Клуба», что мистера Дарти не было сегодня. Сомс, бегло взглянув на него, решил спросить, здесь ли мистер Джордж Форсайт. Оказалось, что здесь. Сомс, недолюбливавший своего кузена Джорджа, ибо ему всегда казалось, что тот непрочь поиздеваться над ним, последовал за лакеем, несколько утешая себя мыслью, что Джордж только что схоронил отца. Он, вероятно, получит тысяч тридцать, не считая того, что у Роджера вложено в дело и с чего не взимается налог на наследство. Он нашёл Джорджа за столиком; сидя в глубине оконной ниши, Джордж поглядывал на улицу поверх стоящего перед ним наполовину опустевшего блюда с пончиками. Его высокая, массивная, одетая в чёрное фигура возвышалась почти зловеще, сохраняя в то же время сверхъестественную подтянутость спортсмена. Со слабой усмешкой на мясистом лице он сказал:

— Алло, Сомс! Хочешь пончик?

— Нет, благодарю, — пробормотал Сомс, вертя шляпу в руках и придумывая, что бы ему сказать такое подходящее и сочувственное. — Как здоровье твоей матушки?

— Благодарю, — сказал Джордж, — так себе. Тысячу лет тебя не видел. На скачки ты не ходишь. Как дела в Сити?

Сомс, чувствуя, что сейчас посыпятся остроты, уклонился от ответа и сказал:

— Я пришёл тебя спросить относительно Дарти. Я слышал, что он...

— Упорхнул! Укатил в Буэнос-Айрес с красоткой Лолой. Счастье для Уинифрид и малюток Дарти. Вот уж сокровище!

Сомс кивнул. Несмотря на взаимную неприязнь, двоюродные братья проникались друг к другу родственными чувствами, когда дело доходило до Дарти.

— Дядя Джемс может теперь спать спокойно, — сказал Джордж. — А тебя он, верно, тоже здорово пощипал.

Сомс улыбнулся.

— Да, ты его правильно угадал, — дружелюбно продолжал Джордж. — Это сущий лоботряс. За малышом Валом нужно хорошенько присматривать. Мне всегда было жаль Уинифрид. Мужественная женщина.

Сомс снова кивнул.

— Мне надо вернуться к ней, — сказал он. — Она хотела знать наверно. Теперь можно будет предпринять что-нибудь. Я думаю, здесь не может быть ошибки?

— Верно, как алфавит, — сказал Джордж (он изобрёл немало таких странных выражений, которые потом приписывались другим). — Вчера вечером он был пьян как сапожник; но всё-таки уехал сегодня утром, отплыл на «Тускароре», — и, вытащив карточку, Джордж насмешливо прочёл: — «Мистер Монтегю Дарти, Буэнос-Айрес, до востребования». Я бы поторопился действовать, будь я на твоём месте. И надоел же он мне вчера!

— Да, — сказал Сомс, — но это не так-то просто. — И, уловив в глазах Джорджа, что он напомнил ему о своей собственной истории, он встал и протянул ему руку. Джордж тоже встал.

— Кланяйся Уинифрид и, если хочешь знать моё мнение, не медли, выпускай её в ближайшем гандикапе на развод.

На пороге Сомс обернулся и искоса посмотрел на него. Джордж снова уселся, глядя прямо перед собой. Он казался таким огромным и одиноким в своём чёрном костюме. Сомс никогда не видел его таким смирным. «По-видимому, он всё-таки огорчён, — подумал он. — Они, верно, получили, если подсчитать все, тысяч по пятьдесят каждый. Им следовало бы сообща сохранить дело. Если будет война, недвижимость обесценится. Впрочем, дядя Роджер был предусмотрительный человек». И образ Аннет возник перед ним в сгущающейся уличной мгле: её каштановые волосы, голубые глаза с тёмными ресницами, свежие губы и щеки, полные, цветущие, несмотря на лондонские туманы, её изящная фигура француженки. «Пора что-то предпринять!» — подумал он. У подъезда дома Уинифрид он встретил Вэла, и они пошли вместе. Внезапно у Сомса мелькнула идея. Его кузен Джолион — попечитель Ирэн; первый шаг, который необходимо сделать, это поехать в Робин-Хилл и повидаться с ним. Робин-Хилл! Странное, удивительно странное чувство пробудили в нём — эти слова! Робин-Хилл, дом, который Босини выстроил для него и для Ирэн, дом, в котором они никогда не жили, — роковой дом! И теперь в нём живёт Джолион. Гм! И внезапно он вспомнил: говорят, у него сын в Оксфорде! Почему бы не захватить с собой Вэла и не познакомить их? Вот и предлог! Это будет не так явно, вот именно не так явно! И, поднимаясь с Вэлом по лестнице, он сказал ему:

— У тебя есть кузен в Оксфорде, ты его никогда не видел. Я хочу захватить тебя с собой — я завтра поеду к ним, вы познакомитесь. Для тебя это может оказаться полезным.

И так как Вэл не изъявил по этому поводу никакой радости, Сомс, не давая ему возразить, прибавил:

— Я заеду за тобой после завтрака. Это недалеко — за городом, тебе это доставит удовольствие.

На пороге гостиной он с усилием вспомнил, что шаги, которые ему в данный момент надлежит предпринять, касаются не его, а Уинифрид.

Уинифрид по-прежнему сидела за своим бюро-буль.

— Действительно, это так, — сказал он, — он отправился в Буэнос-Айрес, уехал сегодня утром, нужно устроить за ним слежку, как только он сойдёт на берег. Я сейчас же дам каблограмму. Иначе нам это будет стоить уйму денег. В таких случаях чем раньше начать действовать, тем лучше. Я до сих пор жалею, что я не... — он остановился и искоса взглянул на безмолвствующую Уинифрид. — Кстати, могла бы ты доказать его жестокое обращение с тобой?

Уинифрид безжизненным голосом ответила:

— Не знаю. Что значит жестокое обращение?

— Ну, может, он тебя ударил или что-нибудь в этом роде?

Уинифрид передёрнулась и стиснула зубы.

— Он выворачивал мне руку. Или, может быть, достаточно того, что он целился в меня из револьвера? Напивался так, что не в состоянии был сам раздеться, или... но нет, я не могу впутывать в это дело детей.

— Не можешь, — сказал Сомс, — нет. Ну, не знаю... Конечно, существует узаконенный разъезд — этого легко можно добиться, но разъезд, гм!

— Что это такое? — безнадёжным голосом спросила Уинифрид.

— Это значит, что он лишается на тебя всяких прав и ты на него; вы остаётесь в браке и в то же время как бы не в браке... — он опять неодобрительно фыркнул. Что это, в сущности, как не его собственное дурацкое положение, только узаконенное? Нет, до этого он её не допустит. Нужно добиться развода, — сказал он решительно. — Если ты считаешь, что тебе жаловаться на жестокое обращение, остаётся факт, что он тебя бросил. Теперь не обязательно ждать два года. Попробуем сейчас подать в суд о восстановлении тебя в супружеских правах. Если он не подчинится судебному решению, можно по истечении шести месяцев провести развод. Разумеется, ты не хочешь, чтобы он вернулся, но они не должны этого знать. Конечно, здесь есть риск — он и впрямь может вернуться. Я бы всё-таки выставил мотивом жестокое обращение.

Уинифрид покачала головой.

— Это так гнусно.

— Ну что же, — пробормотал Сомс, — возможно, что риск сейчас невелик, пока он влюблён без памяти и у него есть деньги. Ты только никому ничего не рассказывай и не плати его долгов.

Уинифрид вздохнула. Несмотря на все, что ей приходилось терпеть, это ощущение утраты было мучительно горько. А сознание, что ей не нужно больше платить долгов Монти, усиливало это ощущение до невыносимой явственности. Что-то ценное ушло из жизни. Без Монти, без своих жемчугов, без внутреннего сознания того, что она мужественно переносит свои семейные невзгоды, ей придётся теперь стать лицом к лицу с жизнью. Она действительно чувствовала себя обездоленной.

И Сомс, приложившись холодным поцелуем к её лбу, вложил в этот поцелуй не свойственное ему тёплое чувство.

— Я завтра собираюсь в Робин-Хилл, мне нужно повидать по делу молодого Джолиона. У него сын в Оксфорде. Я хочу захватить с собой Вэла и познакомить их. Приезжай ко мне в Шелтер на воскресенье и привози детей. Ах, нет, нет, это не удастся, ко мне кое-кто собирался.

И с этими словами Сомс вышел от Уинифрид и направился в Сохо.

IV. СОХО

Из всех кварталов странной, причудливой амальгамы, именуемой Лондоном, Сохо, подеалуи, менее всего соответствует духу Форсайтов. «Сохо! Хо-хо! Голубчик!», — сказал бы Джордж, увидя своего кузена направляющимся туда. Грязный, изобилующий греками, изгоями, кошками, итальянцами, томатами, кабаками, шарманками, пёстрыми лохмотьями, странными названиями, зеваками, выглядывающими из верхних окон, он живёт своей

жизнью, чуждой государственному устройству Великобритании. Но и здесь понемножку процветают свои инстинкты собственности и собственничество в некотором роде благоденствует, ибо арендная плата в Сохо растёт, в то время как в других кварталах она падает. В продолжение многих лет знакомство Сомса с Сохо ограничивалось только западным бастионом, Уордер-стрит. Немало удачных покупок сделал он там. Даже в течение тех семи лет, что он жил в Брайтоне после смерти Боснии, и исчезновение Ирэн, он иногда приобретал там сокровища, хотя ему, в сущности, негде было держать их, ибо, когда он убедился наконец, что жена ушла от него совсем, он велел прибить на Монпелье-сквер дощечку:

ПРОДАЁТСЯ

Об условиях продажи этого удобного особняка справляться у гг. Лессона и Тьюка.
Корт-стрит. Белгрэвия¹³.

Не прошло и недели, как его продали — этот удобный особняк, под безмятежной сенью которого так долго страдали два сердца — мужчины и женщины.

Однажды в туманный январский вечер, незадолго до того, как дощечка была снята. Сомс пришёл туда ещё раз и стал, прислонившись к ограде сквера, глядя на неосвещённые окна и снова жуя жвачку все тех же собственнических воспоминаний, жвачку, от которой становилось так горько во рту. Почему она его не любила? Почему? Она получала все, чего могла желать, и взамен давала ему в течение трех долгих лет все, что он желал, — кроме своего сердца, правда. У него невольно вырвался глухой стон, и проходивший мимо полисмен подозрительно взглянул на него — ведь у него больше не было права войти в эту зелёную дверь с медным резным молоточком под доской с объявлением: «Продаётся»! Он почувствовал, как у него сдавило горло, и поспешно скрылся в тумане. В тот же вечер он переехал жить в Брайтон...

Подходя к Мальта-стрит и ресторану «Бретань», где красивые плечи Аннет склонялись над кассовой книгой, Сомс с удивлением вспоминал эти семь лет жизни в Брайтоне. Как только он мог прожить так долго в этом городе, где никогда не слышно запаха цветущего горошка, где ему негде было даже развесить свои сокровища? Правда, это были годы, когда у него не было даже времени любоваться ими, — годы какой-то иступлённой погони за деньгами, когда «Форсайт, Бастард и Форсайт» вели дела стольких акционерных обществ, что едва в состоянии были с ними справиться. Утром в пульмановском вагоне в Сити, вечером в пульмановском вагоне из Сити. После обеда просмотр деловых бумаг, потом сон утомившегося человека, и наутро опять все сначала. Конец недели с субботы до понедельника он проводил у себя в клубе в Лондоне — забавное нарушение привычного уклада, основанное на инстинктивном, но глубоко предусмотрительном убеждении, что во время столь утомительной работы ему необходимо дышать морским воздухом дважды в день, когда он отправляется на станцию и обратно, а во время отдыха можно отдать дань и своим семейным привязанностям. Воскресные визиты к родным на Парк-Лейн, к Тимоти и на Грин-стрит и время от времени визиты в кое-какие другие места казались ему столь же необходимыми, как морской воздух в будни. Даже когда он переселился в Мейплдерхем, он сохранял эти привычки, пока не познакомился с Аннет. Аннет ли произвела революцию в его взглядах на жизнь, или эти взгляды были причиной появления Аннет — он знал об этом не больше, чем мы знаем о том, где начинается круг. Все это глубоко и сложно переплеталось с растущим в нём сознанием, что собственность, если её некому оставить, есть отрицание истинного форсайтизма. Иметь наследника, некое продолжение самого себя, который начнёт там, где он кончит, послужит гарантией, так сказать, что все нажитое не пойдёт прахом, —

¹³ *Белгрэвия* — один из наиболее дорогих, фешенебельных жилых районов Лондона, южнее Хайд-парка.

мысль эта за последний год преследовала его все больше и больше. Как-то апрельским вечером, удачно купив чашку веджвудского¹⁴ фарфора, он завернул на Мальта-стрит взглянуть на дом, принадлежавший отцу и превращённый теперь в ресторан — предприятие рискованное и не предусмотренное в условиях найма. Он некоторое время рассматривал дом снаружи: выкрашен в красивый молочный цвет, две ярко-голубые кадки с лавровыми деревцами в глубине у входа, над которым золотыми буквами красовалось: «Ресторан Бретань», — впечатление довольно приятное. Войдя, он увидел изрядное количество народу за круглыми зелёными столиками, на которых стояли вазочки с живыми цветами и бретонская посуда. Он обратился к опрятно одетой служанке, сказав, что ему нужно видеть хозяина. Его провели в заднюю комнату, где за простым письменным столом, заваленным бумагами, сидела молоденькая девушка, а на маленьком круглом столике было приготовлено два прибора. Впечатление чистоты, порядка, хорошего вкуса усилилось у Сомса, когда девушка, встав, спросила с акцентом:

— Вы хотите видеть тапан, мсье?

— Да, — ответил Сомс. — Я представитель вашего домовладельца, вернее — я его сын.

— Будьте добры, присядьте, сэр. Скажите тапан, чтобы она вышла к этому господину.

Ему понравилось, что его приход, по-видимому, произвёл впечатление на молодую девушку: это обнаруживало в ней присутствие деловых инстинктов. И вдруг он заметил, что она необыкновенно хорошенькая, такая хорошенькая, что его глаза с трудом могли оторваться от её лица. Когда она встала, чтобы подать ему стул, движения её были полны такого неизъяснимого изящества, словно её смастерил кто-то, обладавший особым неуловимым искусством; а её лицо и чуть-чуть открытая шея казались такими свежими, словно их только что sprisнули росой. Вероятно, в эту минуту Сомс и решил, что условия найма вовсе не были нарушены, хотя самому себе и отцу он обосновал своё решение прибыльностью этого не совсем законного использования дома, явными признаками процветания и несомненными деловыми способностями мадам Ламот. Он, впрочем, не преминул отложить на будущее выяснение некоторых вопросов, что вызвало необходимость повторных посещений, так что маленькая комнатка вскоре привыкла к его худощавой, не лишённой солидности, но отнюдь не навязчивой фигуре, к его бледному лицу с выступающим подбородком, коротко подстриженными усами и тёмными волосами, ещё не поседевшими на — висках.

«Un monsieur tres distingue»¹⁵, — отозвалась о нём мадам Ламот, а теперь, заметив взгляды, которые он бросал на её дочку, стала добавлять: «Tres amical, tres gentil»¹⁶.

Она была одной из тех красивых, пышнотелых, темноволосых француженок, каждый поступок и самый тон голоса которых внушает полное доверие к их осведомлённости в домашнем хозяйстве, к их кулинарному искусству и заботливому возвращению текущего счета в банке.

После того как начались эти визиты в ресторан «Бретань», посещения других мест прекратились, без всякого, впрочем, определённого решения со стороны Сомса, ибо он, как и все Форсайты и как большинство его соотечественников, был прирождённым эмпириком. И эта-то перемена в его образе жизни постепенно заставила его ясно осознать, что он стремится изменить своё положение неженатого мужа на положение женатого и молодожёна.

¹⁴ *Веджвудский фарфор* — назван по имени основателя фабрики фарфоровых изделий Веджвуда (1730—1795).

¹⁵ Очень достойный господин (фр.)

¹⁶ Очень приветливый, очень симпатичный (фр.)

Свернув на Мальта-стрит в этот вечер, в начале октября 1899 года, он купил газету, чтобы посмотреть, нет ли в ней каких-нибудь новых сообщений о деле Дрейфуса¹⁷ — вопрос, которым он считал полезным интересоваться для установления более дружеских отношений с мадам Ламот и её дочерью католичками и антидрейфусистками.

Просматривая столбцы газеты. Сомс не обнаружил ничего, имеющего отношение к Франции, но заметил общее падение курса на бирже и зловещую передовицу о Трансваале. Он вошёл в ресторан с мыслью: «Войны не миновать; надо будет продать консоли». Не то чтобы их было у него так много — доход они давали ничтожный, — но надо посоветовать клиентам; консоли упадут наверняка. Бросив беглый взгляд внутрь через дверь ресторана, он убедился, что дела идут как нельзя лучше, но это открытие, которое обрадовало бы его в апреле, теперь вызвало в нём некоторое беспокойство. Если шаги, которые он собирается предпринять, окончатся его браком с Аннет, было бы весьма желательно, чтобы её мамаша благополучно отправилась к себе во Францию — путешествие, которому процветание ресторана «Бретань» может стать препятствием. Разумеется, ему придётся откупиться, потому что французы только за тем и приезжают в Англию, чтобы наживать деньги, но чем лучше идут дела ресторана, тем дороже ему это обойдётся. Но тут томительно-сладостное жжение в горле и усиленное биение сердца ощущения, которые он всегда испытывал перед дверью в маленькую комнатку, — помешали ему думать о том, во что это ему обойдётся.

Входя, он заметил сначала широкую чёрную юбку, тут же исчезнувшую в глубине ресторана, а затем Аннет, которая, подняв руки, поправляла причёску. Это была поза, в которой она особенно восхищала его — вся такая округлая, гибкая и стройная. И он сказал:

— Я пришёл переговорить с вашей матушкой, чтобы снять ту перегородку в зале. Нет, нет, не зовите её.

— Вы поужинаете с нами, мсье? Через десять, минут всё будет готово.

Сомс, не выпуская её руки из своей, поддался неудержимому порыву, удивившему его самого.

— Вы такая хорошенькая сегодня, — сказал он, — удивительно хорошенькая. Вы знаете, какая вы хорошенькая, Аннет?

Аннет вспыхнула и выдернула руку.

— Вы очень добры, мсье.

— Ничуть я не добр, — сказал Сомс и мрачно опустил на стул.

Аннет сделала лёгкий протестующий жест рукой, и её красные губы, не тронутые помадой, дрогнули улыбкой.

И, глядя на эти губы. Сомс сказал:

— Вам нравится здесь или вам хотелось бы вернуться к себе?

— Ах, я люблю Лондон. Париж, конечно, тоже. Но Лондон лучше Орлеана, и здесь чудесные загородные места. В прошлое воскресенье я была в Ричмонде.

Сомс секунду колебался, взвешивая: Мейплдерхем? Можно ли решиться на это? Но в конце концов почему бы ему не решиться показать ей, на что она может рассчитывать? Однако... Там можно было бы и объясниться. Здесь, в этой комнате, это невозможно.

— Я бы хотел, чтобы вы с вашей матушкой приехали ко мне в следующее воскресенье, — внезапно сказал он. — Мой дом стоит на самом берегу реки; пока ещё не поздно и погода держится тёплая; кроме того, я могу показать вам кое-какие хорошие картины. Что вы скажете?

Аннет всплеснула руками.

— О, как это чудесно! Река такая красивая!

— Тогда решено. Я попрошу мадам.

Ему больше ничего не следует говорить ей сегодня, чтобы не выдать себя. Но разве он

¹⁷ *Дело Дрейфуса (1894—1899)* — судебное дело по обвинению в шпионаже офицера французского генерального штаба, еврея по национальности, инспирированное реакционной военщиной, превратившееся в предмет ожесточённой политической борьбы во Франции и получившее широкий отклик во всём мире.

уже и так не сказал слишком много? Разве без умысла придёт кому-нибудь в голову пригласить к себе за город хозяйку ресторана с хорошенькой дочкой? Если Аннет не понимает, то мадам Ламот отлично поймёт. И пусть. Много ли есть на свете такого, чего бы не поняла мадам? К тому же он второй раз остаётся у них ужинать, должен же он отплатить за гостеприимство...

Возвращаясь домой на Парк-Лейн (он гостил у отца), он вспоминал нежную подвижную ручку Аннет в своей руке и предавался приятным, немножко чувственным и довольно сбивчивым размышлениям. Предпринять шаги! Какие шаги? Каким образом? Перебивать на людях своё грязное бельё? Фу! С его репутацией предусмотрительного, дальновидного человека, так умело выручавшего других, ему, стоявшему на страже интересов собственности, сделаться игрушкой того самого Закона, оплотом которого он был! В этом есть что-то отталкивающее! Достаточно истории Уинифрид! Двойная огласка в семье! Не лучше ли ограничиться связью — любовная связь и сын, которого потом можно усыновить? Но путь к этим мечтам преграждала грозная, твёрдая, бдительная мадам Ламот, Нет! Это не выйдет. Ведь, разумеется, Аннет не пылает к нему страстной любовью; в его годы нечего на это и надеяться! Но если бы её мать захотела, если бы это сулило им несомненные и существенные выгоды, тогда — возможно. Если же это не так, то наверняка последует отказ. Но, кроме этого, Сомс думал: «Я не подлец, я не хочу её обижать, и я не хочу ничего тайного. Но я хочу её и хочу сына! А для этого нужен развод — так или иначе, во что бы то ни стало развод».

В тени платанов, освещённых уличными фонарями, он медленно шагал вдоль ограды Грин-парка. Меж синеватыми очертаниями деревьев висел туман, непроницаемый для уличного света. Сотни раз проходил он мимо этих деревьев по пути из дома отца на Парк-Лейн, когда ещё был совсем молодым человеком, или из своего собственного дома на Монпелье-сквер в продолжение четырех лет супружеской жизни! И сегодня, когда у него созрело решение освободиться от этих бессмысленных давних супружеских уз, ему вдруг пришла фантазия пройти до угла Хайд-парка и выйти к Найтсбридж-Гейт, как, бывало, он ходил в прежние время, возвращаясь домой к Ирэн. Какова-то она теперь? Как она жила эти годы с тех пор, как он видел её последний раз, двенадцать лет назад — ведь уже семь лет прошло, как дядя Джозеф оставил ей эти деньги! Все так же ли она хороша? Узнает ли он её, если увидит? «Я не очень изменился, — подумал он, — а вот она, надо полагать, изменилась. Сколько страданий она мне причинила!» Ему вдруг вспомнился один вечер. Это было в первый год после их свадьбы. Он в первый раз отправился без неё на обед — это была встреча школьных товарищей. Как он торопился домой; он вошёл крадучись, бесшумно, как кот, и услышал, что она играет. Беззвучно отворив дверь гостиной, он остановился, следя за выражением её лица; оно было так не похоже на то, что он знал, такое открытое,

доверчивое, как будто она отдавала музыке своё сердце, которое для него было закрыто. И он вспомнил, как она вдруг перестала играть и обернулась, и как лицо её сразу стало таким, какое он знал, и как ледяная дрожь прошла по его телу, хотя в следующую минуту он уже обнимал её плечи. Да, сколько он из-за неё выстрадал! Развод! Это смешно после стольких лет полного разрыва! Но это необходимо. Другого выхода нет. «Вопрос в том, — подумал он с неожиданной деловитостью, кому из нас придётся взять на себя вину. Ей или мне? Она меня бросила. Она должна поплатиться за это. У неё, наверно, есть кто-нибудь». И у него невольно вырвался глухой, сдавленный стон; повернув обратно, он направился на Парк-Лейн.

V. ВИДЕНИЯ ДЖЕМСА

Дворецкий сам открыл дверь и, бесшумно прикрыв её, остановил Сомса в вестибюле.
— Мистер Форсайт плохо себя чувствует, сэр, — прошептал он. — Он сказал, что не

ляжет, пока вы не вернётесь. Он сейчас в столовой.

Сомс спросил, понизив голос, как теперь все говорили в доме:

— Что с ним, Уормсон?

— Он, кажется, нервничает, сэр. Может быть, эти похороны, или вот ещё миссис Дарти заходила сегодня. Должно быть, он слышал что-нибудь. Я сварил ему глинтвейн. Миссис Джемс только что поднялась наверх.

Сомс повесил шляпу на вешалку из красного дерева с оленьим рогом.

— Хорошо, Уормсон, можете идти спать. Я сам отведу его наверх.

И Сомс направился в столовую...

Джемс сидел в большом кресле перед камином; поверх сюртука на плечах у него был накинут плед из верблюжьей шерсти, очень легкий и теплый, и на него свисали его длинные седые бакенбарды. Седые волосы, все еще густые, блестели в свете лампы; мелкие слезинки, выкатившиеся из неподвижно вперившихся в одну точку светло-серых глаз, оставили следы на его все еще румяных щеках и в глубоких впадинах морщин, тянувшихся до самых углов гладко выбритых губ, которыми он шевелил, словно пережевывая свои мысли. Его длинные ноги в клетчатых брюках, тощие, как у петуха, были согнуты почти под прямым углом, и худая рука, лежавшая на колене, безостановочно перебирала широко раздвинутыми пальцами с блестящими заостренными ногтями. Около него на низеньком столике стоял наполовину опорожненный стакан глинтвейна, запотевший и покрытый капельками влаги. Джемс просидел здесь целый день с перерывами только для еды. В восемьдесят восемь лет он все еще был физически здоров, но очень страдал от мысли, что ему никогда ничего не рассказывают. Было даже непонятно, каким образом он узнал, что сегодня схоронили Роджера, — Эмили от него это скрывает. Она вечно от него все скрывает. Эмили ведь всего только семьдесят лет! Джемс досадовал на молодость жены. Он иногда думал, что ни за что бы не женился на ней, если бы знал, что у нее будет так много лет впереди, когда у него уже останется так мало. Это неестественно. Она проживет еще пятнадцать — двадцать лет после него, истратит массу денег; у нее всегда были такие экстравагантные вкусы. Она, чего доброго, еще вздумает завести автомобиль. Сисили, Рэчел, Имоджин, вся эта молодежь разъезжает на велосипедах, носится бог весть где. А теперь вот и Роджер умер. Он ничего не знает, не может сказать! Семья разваливается. Сомс, наверно, знает, сколько оставил его дядя. Странно, что он думал о Роджере как о дяде Сомса, а не как о своем родном брате. Сомс! Все больше и больше он становится его единственной опорой в этом уходящем от него мире; Сомс бережлив; Сомс богатый человек, но ему некому оставить свои деньги. Вот и опять! Ведь он ничего не знает! А теперь еще этот Чемберлен¹⁸! Политические взгляды Джемса сложились между семидесятым и восемьдесят пятым годами, когда «этот грязный радикал» был занозой в глазу для каждого собственника, и Джемс не доверял ему и по сие время, несмотря на его перерождение; он еще втянет страну в какую-нибудь историю и добьется что курс фунта упадет. Прямо какой-то буревестник! А где же Сомс? Конечно, отправился на похороны, про которые от него все скрывают. Но он отлично знает, он видел, в каких брюках ушел Сомс. Роджер! Роджер в гробу! Он вспомнил, как они вместе возвращались из школы, примостившись на козлах дилижанса «Черепеха», — это было в 1824 году. А Роджер залез в ящик под козлы и уснул. У Джемса вырвалось какое-то кудахтанье. Смешной малый был Роджер, чужак! Разве когда знаешь! Моложе его — и в гробу! Семья разваливается. Вот и Вэл отправляется в университет; он теперь и глаз сюда не

¹⁸ В начале своей государственной деятельности Джозеф Чемберлен (см. прим. к с. 12) был признанным лидером левого крыла либеральной партии и казался даже сторонником идей республиканизма; он выступал против репрессий в Ирландии и агрессивной политики в Африке. В 1886 г. при ослаблении позиций либералов в Англии в момент раскола либеральной партии Чемберлен стал во главе оппозиционного меньшинства либералов («либералов-унионистов»), возражавших против предоставления автономии Ирландии; в дальнейшем Чемберлен становился все в большей мере консерватором, а в 1895 г. вошёл в состав консервативного правительства.

кажет. А каких денег будет стоить это учение! Расточительный век! И все те деньги, которых будут стоить ему его четыре внука, заплясали перед глазами Джемса. Ему не жаль было для них этих денег, но страшен был риск, которому он подвергал своих наследников, тратя эти деньги; страшно было уменьшение капитала. А теперь вот Сисили вышла замуж, и у нее тоже могут быть дети. И он ничего не знает, ничего не может сказать! У всех теперь только одно на уме: сорить деньгами, развезжать туда-сюда и, как они теперь говорят, «пожить». За окном проехал автомобиль. Уродливая громоздкая — штука, и какой шум, треск! Вот так-то и все теперь. Шумят, кричат, а страна катится в пропасть. Куда-то все торопятся, и ни у кого и времени нет подумать о хорошем тоне. Приличный выезд — вот как его коляска с гнедыми — разве сравнятся с ним все эти новомодные фокусы? И консоли уже дошли до 116! По-видимому, масса свободных денег в стране, а теперь еще этот старикашка Крюгер! Они хотели скрыть от него Крюгера, да не сумели; как же, тут такая каша заварится! Он отлично предвидел, чем это кончится, когда этот Гладстон¹⁹, который, слава богу, отправился на тот свет, поднял такой шум после той ужасной истории при Маджубе²⁰. Он ничуть не удивится, если вся империя развалится и все пойдет прахом. И это видение империи, обратившейся в прах, вызвало у него на целые четверть часа ощущение мучительной дурноты. Из-за этого он почти ничего не ел за завтраком. Но самое ужасное потрясение ему пришлось пережить после завтрака. Он дремал и вдруг услышал голоса, тихие голоса, Ах, ему никогда, никогда ничего не говорят! Голоса Уинифрид и её матери. «Монти!» Опять Дарти, вечно этот Дарти! Голоса удалились, и Джемс остался один, с насторожёнными, как у зайца, ушами, объятый пронизывающим до костей страхом. Почему они оставили его одного? Почему они не придут, не расскажут ему? И страшная мысль, преследовавшая его уже давно, с внезапной отчётливостью сверкнула в его сознании. Дарти обанкротился, злостно обанкротился, и, чтобы спасти Уинифрид и детей, ему, Джемсу, придётся платить! Сможет ли он... Сможет ли Сомс обезопасить его, превратить его, так сказать, в компанию с ограниченной ответственностью? Нет, не может! Вот, вот оно! С каждой секундой, пока не вернулась Эмили, призрак становился все более грозным. Что если Дарти подделал векселя? Вперив остановившийся взгляд в сомнительного Тернера, висевшего на стене. Джемс переживал адские муки. Он видел Дарти на скамье подсудимых, внуков в нищете и себя самого прикованного к постели. Он видел, как сомнительного Тернера продают у Джобсона, как все величественное здание собственности обращается в прах. В его воображении вставала Уинифрид, одетая коекак, не по моде, а голос Эмили говорил: «Ну полно. Джемс, не волнуйся». Она всегда говорит: «Не волнуйся». У неё нет нервов. Ему не следовало жениться на женщине на восемнадцать лет моложе его. Тут явственный голос живой Эмили произнёс:

— Хорошо ли ты вздремнул. Джемс?

Вздремнул! Он мучается, а она спрашивает, хорошо ли он вздремнул!

— Что такое с Дарти? — спросил он, глядя на неё пронизывающим взглядом.

Эмили никогда не теряла самообладания.

— А что ты слышал? — мягко спросила она.

— Что с Дарти? — повторил Джемс. — Он обанкротился?

— Какая ерунда!

Джемс сделал громадное усилие и поднялся во всю длину своей аистоподобной

¹⁹ *Гладстон Уильям (1809—1898)* — английский государственный деятель, лидер либеральной партии, с 1880 по 1886 г. был главою правительства Великобритании, которому уже тогда в области внешней политики в ряде обстоятельств пришлось идти на известные уступки; так, например, в результате успешного восстания буров в начале 1881 г. англичане были вынуждены отказаться от осуществлённой консервативным правительством Дизраэли в 1877 г. аннексии Трансвааля, вывести оттуда свои войска и довольствоваться частичным контролем над внешней политикой бурского государства.

²⁰ *Маджуба* — высота в Трансваале, где буры полностью уничтожили отряд британских войск в феврале 1881 г. Поражение англичан при Маджубе решило спор относительно Трансвааля в пользу буров.

фигуры.

— Ты никогда ничего мне не говоришь. Он обанкротился.

Избавить его от этой навязчивой идеи казалось сейчас Эмили самым главным.

— Нет, — решительно ответила она, — он уехал в Буэнос-Айрес.

Если бы она сказала — на Марс, это не произвело бы на Джемса более ошеломляющего впечатления; его воображению, всецело поглощённому британскими акциями, Марс и Буэнос-Айрес представлялись одинаково смутно.

— Зачем он туда поехал? — спросил он. — У него нет денег. С чем он поехал?

Взволнованная услышанными от Уинифрида новостями и раздосадованная этими непрерывно повторяющимися жалобами, Эмили спокойно ответила:

— С жемчугами Уинифрида и с танцовщицей.

— Что? — сказал Джемс и упал в кресло.

Эта внезапная реакция испугала Эмили; поглаживая его по лбу, она сказала:

— Ну полно, не волнуйся, Джемс!

Багровые пятна выступили на лбу и на щеках Джемса.

— Я заплатил за них, — сказал он дрожащим голосом. — Он вор, я... я знал, чем это кончится. Он меня в могилу сведёт; он...

Язык отказался служить ему, и он затих.

Эмили, считавшая, что она его так хорошо знает, испугалась и пошла к шкафчику, где у неё стоял бром. Но она не видела, как в этой хилой, дрожащей оболочке стойкий дух Форсайтов вступил в борьбу с непозволительным волнением, вызванным таким надруганием над форсайтскими принципами; дух Форсайтов, прочно внедрённый в Джемсе, говорил: «Не сходи с ума, не горячись, этим не поможешь. Только испортишь себе пищеварение, с тобой случится припадок». И этот невидимый ею дух оказался сильнее брома.

— Выпей-ка это, — сказала она.

Джемс отмахнулся.

— О чём только Уинифрида думала, что она позволила ему взять свои жемчуга?

Эмили поняла, что кризис миновал.

— Она может носить мои жемчуга, — спокойно сказала она. — Я их никогда не надеваю. А ей нужно хлопотать о разводе.

— Вот до чего дошло! — сказал Джемс. — Развод! Никогда в нашей семье не было разводов. Где Сомс?

— Он сейчас придёт.

— Неправда, — сказал Джемс почти злобно. — Он на похоронах. Ты думаешь, я ничего не знаю.

— Ну хорошо, — спокойно сказала Эмили, — но ты не должен так волноваться, когда мы тебе что-нибудь рассказываем.

И, взбив ему подушку и поставив бром на столик возле него, она вышла из комнаты.

А Джемс остался со своими видениями — Уинифрида в суде на бракоразводном процессе, имя Форсайтов в газетах, комья земли, падающие на гроб Роджера; Вэл идёт по стопам отца; жемчуга, за которые он заплатил и которых он больше не увидит; доход с капитала, понизившийся до четырех процентов; страна, разорившаяся в прах; и по мере того как день переходил в сумерки и прошло время чая и обеда, видения становились все более путанными и зловещими — и ему ничего не скажут, пока ничего не останется от всех его денег, ему никто ничего не говорит. Где же Сомс? Почему он не идёт?.. Рука его протянулась к стакану с глинтвейном, он поднёс его ко рту и увидел сына, который стоял рядом и смотрел на него. Вздых облегчения разомкнул его губы, и, опустив стакан, он сказал:

— Наконец-то! Дарти уехал в Буэнос-Айрес! Сомс кивнул.

— Лучшего и желать нельзя, — сказал он, — слава богу, избавились.

Словно волна умиротворения разлилась в сознании Джемса. Сомс знает, Сомс — у них единственный, у кого есть здравый смысл — Почему бы ему не переехать сюда и не поселиться с ними? Ведь у него же нет своего сына? И он сказал жалобным голосом:

— В мои годы трудно совладать с нервами. Я бы хотел, чтобы ты побольше бывал дома, мой мальчик.

Сомс опять кивнул. Бесстрастное, словно маска, лицо ничем не выразило согласия, но он подошёл и словно случайно коснулся плеча отца.

— Вам все просили кланяться у Тимоти, — сказал он. — Все сошло очень хорошо. Я заходил к Уинифрид. Я думаю предпринять кое-какие шаги.

И подумал: «Да, но ты не должен о них знать».

Джемс поднял глаза, его длинные седые бакенбарды вздрагивали, между концами воротничка виднелась тонкая шея, хрящеватая и голая.

— Мне так было плохо весь день, — сказал он, — они никогда ничего мне не рассказывают.

Сердце Сомса сжалось.

— Да что же, все идёт своим порядком. И волноваться не из-за чего. Пойдёмте, я провожу вас наверх, — и он тихонько взял отца под руку.

Джемс послушно поднялся, вздрагивая, и они вдвоём медленно прошли по комнате, казавшейся такой роскошной при свете камина, и вышли на лестницу. Очень медленно они поднялись наверх.

— Спокойной ночи, мой мальчик, — сказал Джемс у двери в спальню.

— Спокойной ночи, отец, — ответил Сомс.

Его рука скользнула под шалью по рукаву Джемса. Казалось, рукав был почти пустой — так худа была рука. И, отвернув лицо от света, падавшего через открытую дверь. Сомс поднялся ещё на один пролёт в свою спальню.

«Хочу сына, — сказал он про себя, сидя на краю постели, — хочу сына!»

VI. УЖЕ НЕ МОЛОДОЙ ДЖОЛИОН У СЕБЯ ДОМА

Деревья мало поддаются влиянию времени, и старый дуб на верхней лужайке в Робин-Хилле, казалось, не постарел ни на один день с тех пор, как Босини, растянувшись под ним, говорил Сомсу: «Форсайт, я нашёл самое подходящее место для вашего дома». После того там дремал Суизин, и старый Джолион уснул вечным сном под его ветвями. А теперь, располагаясь обычно около качелей, уже не молодой Джолион часто рисовал здесь. Во всём мире это было для него, пожалуй, самое священное место, потому что он любил своего отца.

Глядя на этот громадный ствол, корявый и кое-где поросший мхом, но ещё не дуплистый, он размышлял о том, как течёт время. Это дерево, быть может, видело всю историю Англии. Оно росло здесь, он почти не сомневался в этом, по крайней мере со времён Елизаветы. Его собственные пятьдесят лет казались пустяком в сравнении с возрастом дерева. Когда этому дому позади него, которым он теперь владеет, будет не двенадцать, а триста лет, дерево по-прежнему будет стоять здесь, громадное, дуплистое... Ну кто же решится на такое святотатство — спилить его? Может быть, какой-нибудь Форсайт будет ещё жить в этом доме и ревниво охранять его. И Джолион старался представить себе, на что будет похож этот дом, достигнув такого глубокого возраста. Стены его уже теперь заросли глицинией, он уже не кажется новым. Сохранит ли он своё лицо и то благородное величие, которым облёк его Босини, или гигант Лондон поглотит его и обратит в жалкое убежище среди теснящего хаоса наскоро сбитых домов? И внутренний, и внешний облик дома не раз убеждал Джолиона, что Босини подчинился вдохновению, строя его. И правда, архитектор вложил в него свою душу. Он мог бы, пожалуй, стать одним из достопримечательных домов Англии — редкий образец искусства в эти дни упадка архитектуры. И Джолион, в котором чувство прекрасного уживалось с форсайтским инстинктом продолжения рода, проникался радостью и гордостью от сознания, что дом этот принадлежит ему. В его желании, чтобы этот дом перешёл к его сыну и к сыну его сына, был какой-то оттенок поклонения и благоговейной любви к предкам ("по крайней мере к одному из них). Его отец любил этот дом, любил этот вид, эту землю, это дерево; его последние годы

счастливого протекли здесь, и никто здесь не жил до него. Эти последние одиннадцать лет, проведённые Джолионом в Робин-Хилле, были важным периодом в его жизни художника — периодом успеха. Он был теперь в самом авангарде художников-акварелистов и пользовался всеобщим Признанием. Картины его продавались за большие деньги. Специализировавшись в одной этой области с упорством человека его склада, он завоевал себе «имя», немножко поздно, правда, но не слишком поздно для отпрыска рода, который поставил себе целью существовать вечно. Его искусство действительно стало более глубоким и более Совершенным. В соответствии с достигнутым положением он отрастил короткую светлую бородку, начинавшую чуть-чуть седеть и скрывавшую его форсайтский подбородок; его смуглое лицо потеряло напряжённое выражение временного остракизма, и он выглядел положительно моложе. Смерть жены в 1894 году была одной из тех семейных трагедий, которые в конце концов приносят благо всем. Он действительно любил её до самого конца, будучи глубоко привязчивым по натуре, но она становилась день ото дня труднее: ревновала его к своей падчерице Джун, даже к своей дочурке Холли и вечно причитала, что он не может её любить, такую больную и никому не нужную, и лучше бы ей умереть. Он искренне горевал по ней, но стал выглядеть моложе с тех пор, как она умерла. Если бы она только была способна поверить в то, что он с ней счастлив, насколько счастливее были бы эти двадцать лет их совместной жизни!

Джун, в сущности, никогда не могла как следует ужиться с этой женщиной, незаконно занявшей место её матери, и после смерти старого Джолиона она поселилась в Лондоне, устроив себе нечто вроде ателье; но когда мачеха умерла, она вернулась в Робин-Хилл и забрала бразды правления в свои маленькие решительные ручки. Джолли в то время был в Хэрроу, а Холли все ещё училась с мадемуазель Бос. Ничто не удерживало Джолиона дома, и он повёз своё горе и свой ящик с красками за границу. Он долго бродил по Бретани и в конце концов очутился в Париже. Он прожил там несколько месяцев и вернулся помолодевший, с короткой русой бородкой. Так как он, в сущности, был одним из тех людей, которым дом нужен только как кров и приют, ему, было очень удобно, что Джун вернулась хозяйничать в Робин-Хилл и он мог свободно отлучаться со своим мольбертом когда и куда угодно. Она, правда, обнаруживала сильную склонность рассматривать этот дом главным образом как убежище для своих протеже, но годы изгнания преисполнили Джолиона участием ко всем отверженным, и «несчастненькие» Джун, населявшие дом, не раздражали его. Пусть себе подбирает и кормит их. И хотя он со своим слегка циничным юмором подмечал, что они не только трогают её доброе сердце, но в не меньшей мере удовлетворяют и её потребность властвовать, его все же умиляло, что у неё столько «несчастненьких». С каждым годом его отношения с дочерьми и сыном становились все более непринуждёнными и братскими, приобретая характер какого-то своеобразного равенства. Когда он приезжал к Джолли в школу, ему всегда было как-то неясно, кто из них старше; сидя рядом с сыном, он ел с ним вишни из бумажного пакета, ласково улыбаясь и чуть-чуть иронически приподымая бровь. Отправляясь в Хэрроу, Джолион всегда заботился о том, чтобы у него были деньги в кармане, и одевался особенно тщательно, чтобы сыну не приходилось краснеть за него. Они были по-настоящему друзьями, но у них, казалось, не было потребности в словесных излишествах, потому что оба отличались одинаковой форсайтской склонностью замыкаться в себе. Они знали, что поддержат друг друга в несчастье, но говорить об этом не было надобности. Джолиону, отчасти по свойствам его природы, отчасти в результате его юношеского грехопадения, ходячая мораль внушала панический ужас. Самое большее, что он мог бы сказать своему сыну, было бы приблизительно следующее: «Послушай, старина, не забывай, что ты порядочный человек, джентльмен», — и потом он ещё долго, удивляясь самому себе, раздумывал бы, не снобизм ли это. Большой крокетный матч, на котором они ежегодно присутствовали вместе, был для них, пожалуй, самым опасным испытанием, так как Джолион был итонцем. Они были особенно предупредительны друг к другу во время этого матча и, восклицая "Урра!", приговаривали: «Эх, не повезло, старина!» или: "Урра! Не везёт вашим, папа! — в то время, как сердце у них замирало от радости при каждом промахе

в команде противника. И Джолион в этот день, вместо своей обычной мягкой шляпы, надевал серый цилиндр, чтобы пощадить чувства сына; чёрный цилиндр он все-таки никак не мог решиться надеть. Когда Джолли отправился в Оксфорд, Джолион поехал вместе с ним, радостный, смущённый и даже немножко побаиваясь, как бы ему не дискредитировать своего сына в глазах всех этих юнцов, которые ему казались гораздо самоувереннее и старше его самого. Он часто думал: «Хорошо, что я художник. (Он уже давно бросил службу у Ллойда.) Это так безобидно. Никто не смотрит сверху вниз на художника, не принимает его слишком всерьёз». Джолли, в котором был какой-то врождённый аристократизм, сразу вошёл в очень тесный замкнутый кружок, что втайне немножко забавляло его Отца. У мальчика были светлые, слегка вьющиеся волосы и глубоко сидящие серо-стальные глаза деда. Он был хорошо сложен, очень строен и восхищал эстетическое чувство Джолиона так, что тот даже чуть-чуть побаивался его, как это всегда бывает с художниками, когда они восхищаются физическим совершенством людей одного с ними гола. И на этот раз он собрал все своё мужество и заставил себя дать сыну следующий совет:

— Вот что, старина, ты, конечно, залезешь в долги; смотри же, немедленно обратись ко мне; разумеется, я заплачу за тебя. Но помни, что человек всегда уважает себя больше, когда сам платит свои долги. И ни у кого не занимай, кроме меня, хорошо?

И Джолли ответил:

— Хорошо, папа, не буду, — и никогда ни у кого не занимал.

— И потом ещё одна вещь. Я не очень-то разбираюсь в вопросах морали и во всём этом, но мне кажется так: прежде чем совершить какой-нибудь поступок, всегда стоит подумать, не обидишь ли ты этим другого человека больше, чем это необходимо.

Джолли на секунду задумался, потом кивнул и крепко пожал отцу руку. А Джолион подумал: «Имел ли я право говорить ему это?» У него всегда был панический страх лишиться того молчаливого доверия, которое они питали друг к другу; он не забыл, как сам он на долгие годы лишился доверия своего отца и как потом уже ничто не связывало их, кроме большой любви на расстоянии. Джолион, разумеется, недооценивал, насколько изменился дух времени с 1865 года, когда он юношей поступал в Кэмбридж, а также недооценивал, пожалуй; и способность своего сына почувствовать и понять безграничную терпимость отца. Эта-то терпимость, а возможно, и некоторый скептицизм и заставляли его придерживаться такой странной оборонительной позиции в отношении Джун, Она была такая решительная особа, так поразительно хорошо знала, чего хочет, так неуклонно добивалась всего, что бы ни задумывала, хотя потом, правда, нередко отказывалась от этого внезапно, словно обжегшись. Мать её была совершенно такая же, откуда и произошли все несчастья. Не то чтобы его расхождения с дочерью хоть сколько-нибудь напоминали его разногласия с первой миссис Джолион: что может казаться забавным в дочери, совсем не забавно в жене. Видеть, как Джун, сжав челюсти, упорно и решительно добивается чего-нибудь, казалось в порядке вещей, потому что это «что-нибудь» никогда не задевало всерьёз свободы Джолиона — единственное, против чего он восстал бы, с не меньшей решительностью сжав челюсти, и довольно-таки внушительные челюсти, под этой короткой седеющей бородкой. А кроме того, к серьёзным столкновениям между ними не было никакого повода. Всегда можно было отделаться шуткой, как он обычно и делал. Гораздо огорчительнее для него было то, что Джун никогда не радовала его эстетическое чувство, хотя, казалось, у неё были все данные для этого; золотисто-рыжие волосы, светлые, как у викингов, глаза, что-то воинственное во всём её облике. Совсем иначе обстояло дело с Холли, спокойной, кроткой, застенчивой, ласковой, хоть в ней и прятался шаловливый бесёнок. Он с необыкновенным интересом следил за своей младшей дочкой, когда она ещё была несформировавшимся утёнком. Станет ли она лебедем? Её смуглое с правильным овалом лицо, задумчивые серые глаза с длинными тёмными ресницами как будто и обещали, и нет. Только в этот последний год Джолиону стало казаться, что он может сказать безошибочно: да, она будет лебедем, тёмным, стыдливо застенчивым, но истинным лебедем. Ей минуло восемнадцать лет, мадемуазель Бос ретировалась — эта особа после одиннадцати

лет, насыщенных непрерывными воспоминаниями, хорошо воспитанных маленьких Тэйлорах", переселилась в другое семейство, чьё лоно отныне будет постоянно потрясаться её воспоминаниями о «хорошо воспитанных маленьких Форсайтах». Она научила Холли говорить по-французски так же, как говорила сама.

Хотя Джолион не был особенно силён в портрете, тем не менее он уже три раза писал портрет своей младшей дочери и теперь, 4 октября 1899 года, писал в четвёртый раз, когда ему подали визитную карточку, заставившую его брови изумлённо поползти вверх:

*М-р Сомс Форсайт.
Шелтер, «Клуб знатоков»,
Мейплдерхем. Сент-Джемс.*

Но здесь мы позволим себе новое отступление в саге о Форсайтах...

Вернуться из долгого путешествия по Испании в дом, где опущены шторы, к маленькой перепуганной дочке и увидеть любимого отца, мирно спящего последним сном, — такое воспоминание не могло изгладиться из памяти столь впечатлительного и доброго человека, как Джолион. Ощущение какой-то тайны было связано с этим печальным днём и смертью того, чья жизнь текла так плавно, размеренно и открыто для всех. Казалось невероятным, чтобы отец мог так внезапно исчезнуть, не сообщив о своём намерении, не сказав последнего слова сыну, не простившись с ним; а бессвязные рассказы крошки Холли о «даме в сером» и мадемуазель Бос о какой-то мадам Эронт (как ему слышалось) заволакивали все каким-то туманом, который несколько рассеялся, когда он прочёл завещание отца и приписку, сделанную позже. Его обязанностью как душеприказчика было уведомить Ирэн, жену его двоюродного брата Сомса, о том, что ей оставлены в пожизненное пользование проценты с пятнадцати тысяч фунтов. Он отправился к ней, чтобы сообщить, что капитал, с которого ей будут идти проценты, помещён в Индийских акциях и что доход её будет равняться примерно 130 фунтам в год, свободным от подоходного налога. Это была его третья встреча с женой его двоюродного брата Сомса, если только она всё ещё оставалась его женой, в чём он был не совсем уверен. Он вспомнил, как увидел её в первый раз, когда она сидела в Ботаническом саду, дожидаясь Босини, — прекрасная безвольная фигура, напомнившая ему Тицианову «Любовь небесную», и потом, когда, по поручению отца, он явился на Монпелье-сквер вечером, в тот день, когда они узнали о смерти Босини. Он до сих пор отчётливо помнил её появление в дверях гостиной — её прекрасное лицо, вдруг вспыхнувшее безумной надеждой и снова окаменевшее в отчаянии; он помнил чувство жалости, охватившее его, злобную улыбку Сомса и его слова: «Мы не принимаем» — и стук захлопнувшейся двери.

И теперь, в третий раз, он увидел лицо ещё более прекрасное — не искажённое безумной надеждой или отчаянием. Глядя на неё, он думал: «Да, не мудрено, что отец восхищался ею». И тут в памяти его возник и постепенно стал ясным странный рассказ о золотом закате его отца. Она говорила о старом Джолионе с благоговением и со слезами на глазах.

— Он был так удивительно добр ко мне, не знаю почему. Он казался таким умиротворённым и прекрасным в своём кресле под деревом — вы знаете, я его первая увидела. Такой чудесный был день. Мне кажется, что счастливей смерти нельзя себе представить. Всякий был бы рад так умереть.

«Это правда, — подумал он. — Всякий был бы рад умереть, когда сияет лето и сама красота идёт к тебе по зелёной лужайке».

И, окинув взглядом маленькую, почти пустую гостиную, он спросил её, что она теперь намерена делать.

— Я начну снова жить понемножку, кузен Джолион. Так чудесно иметь собственные деньги. У меня их никогда не было. Я, наверно, останусь в этой квартире, я привыкла к ней, но я смогу теперь поехать в Италию!

— Конечно, — пробормотал Джолион, глядя на её робко улыбающиеся губы.

Возвращаясь от неё, он думал: «Какая обаятельная женщина! Жалость какая! Я рад, что папа оставил ей эти деньги».

Он больше не виделся с ней, но каждые три месяца выписывал чек на её банк и посылал ей об этом записку в Челси; и каждый раз получал от неё письмо с подтверждением, обычно из её квартиры в Челси, а иногда из Италии; и теперь её образ был неразрывно связан для него с серой, слегка надушённой бумагой, изящным прямым почерком и словами: «Дорогой кузен Джолион». Он был теперь богатым человеком и, подписывая скромный чек, часто думал: «Ведь этого ей, наверное, еле-еле хватает», — и чувство смутного удивления шевелилось в нём — как она вообще существует в этом мире, населённом мужчинами, которые не терпят, чтобы красота не была чьей-нибудь собственностью. Вначале Холли иногда заговаривала о ней, но «дамы в сером» быстро исчезают из детской памяти, а плотно сжимавшиеся губы Джун, когда в первые недели после смерти дедушки кто-нибудь упоминал имя её бывшей подруги, отбивали охоту говорить о ней. Но один раз, правда, Джун высказалась вполне определённо:

— Я простила ей, я очень рада, что она теперь независима...

Получив карточку Сомса, Джолион сказал горничной, ибо он не терпел лакеев:

— Попросите его, пожалуйста, в кабинет и скажите, что я сейчас приду, — и, взглянув на Холли, спросил: — Помнишь ты «даму в сером», которая давала тебе уроки музыки?

— Помню, конечно, а что? Это она приехала?

Джолион покачал головой и, надевая пиджак вместо своей холщовой блузы, вспомнил внезапно, что эта история не для юных ушей, и промолчал. Но его лицо, пока он шёл в кабинет, весьма красноречиво изображало полное недоумение.

У стеклянной двери, глядя через террасу на дуб, стояли два человека один средних лет, другой совсем юноша, и Джолион подумал: «Кто этот мальчик? Ведь у них же никогда не было детей».

Старший обернулся. Встреча этих двух Форсайтов второго поколения, значительно менее непосредственного, чем первое, в этом доме, который был выстроен для одного и в котором поселился хозяином другой, отличалась какойто скрытой насторожёностью при всём их старании быть приветливыми. «Уж не пришёл ли он по поводу своей жены?» — думал Джолион. «С чего бы мне начать?» — думал Сомс, а Вэл, которого взяли с собой для того, чтобы разбить лёд, равнодушно стоял, окидывая этого бородача ироническим взглядом из-под тёмных пушистых ресниц.

— Это Вэл Дарти, — сказал Сомс, — сын моей сестры. Он на днях отправляется в Оксфорд; я бы хотел познакомить его с вашим сыном.

— Ах, как жаль, Джолли уже уехал. Вы в какой колледж?

— Брэйсноз, — ответил Вэл.

— А Джолли в Крайст-Чёрч-колледже; но он, конечно, будет рад познакомиться с вами.

— Очень признателен вам.

— Холли дома. Если вы удовольствуетесь кухней вместо кузена, она покажет вам сад. Вы найдёте её в гостиной, если пройдёте за эту портьеру, я как раз писал её портрет.

Повторив ещё раз «Очень признателен», Вэл исчез, предоставив обоим кузенам самим разбивать лёд.

— Я видел ваши акварели на выставках, — сказал Сомс.

Джолиона передёрнуло. Он уже около двадцати шести лет не поддерживал никакой связи со своей форсайтской роднёй, но в его представлении они тесно связывались с «Дерби» Фриса²¹ и гравюрами Лэндсира²². Он слышал от Джун, что Сомс слышит знатоком,

²¹ «Дерби» Фриса. — Имеется в виду известная в Англии огромная картина «Скачки в Эпсоме» художника Уильяма Фриса (1819—1909).

²² Гравюры Лендсира. — Имеется в виду художник-анималист Эдвин Лендсир (1802—1873).

но это только ухудшало дело. Он почувствовал, как в нём просыпается чувство необъяснимого отвращения.

— Давно я вас не видел, — сказал он.

— Да, — ответил Сомс, не разжимая губ, — с тех пор как... ну, да я, собственно, об этом и приехал поговорить. Вы, кажется, её попечитель.

Джолион кивнул.

— Двенадцать лет немалый срок, — отрывисто сказал Сомс. — Мне... мне надоело это.

Джолион не нашёлся ничего ответить и спросил:

— Вы курите?

— Нет, благодарю.

Джолион закурил.

— Я хочу покончить с этим, — коротко сказал Сомс.

— Мне не приходится встречаться с ней, — пробормотал Джолион сквозь клуб дыма.

— Но, я полагаю, вы знаете, где она живёт.

Джолион кивнул. Он не намеревался давать её адрес без разрешения. Сомс, казалось, угадал его мысли.

— Мне не нужно её адреса, — сказал он, — я его знаю.

— Что же вы, собственно, хотите?

— Она меня бросила. Я хочу развестись.

— Немножко поздно, пожалуй?

— Да, — сказал Сомс, и наступило молчание.

— Я плохо разбираюсь в этих вещах, если и знал что, так перезабыл, промолвил Джолион, криво улыбувшись. Ему самому пришлось ждать смерти, которая и развела его с первой миссис Джолион. — Вы что, хотите, чтобы я поговорил с ней?

Сомс поднял глаза и посмотрел в лицо своему кузену.

— Я полагаю, там есть кто-нибудь, — сказал он.

Джолион пожал плечами.

— Я ничего не знаю. Мне кажется, вы могли оба жить так, как если бы один из вас давно умер. Так обычно и делается.

Сомс повернулся к окну. Рано опавшие дубовые листья уже устлали террасу, кружились по ветру. Джолион увидел две фигуры, Холли и Вала Дарти, направлявшихся через лужайку к конюшням. «Не могу же я служить и нашим и вашим, — подумал он. — Я должен стать на её сторону. Я думаю, и отец был бы того же мнения». И на короткое мгновение ему показалось, что он видит фигуру отца, сидящего в старом кресле, как раз позади Сомса, положив ногу на ногу, с «Таймсом» в руках. Видение исчезло.

— Мой отец любил её, — тихо сказал он.

— Не понимаю, за что, — не оборачиваясь, ответил Сомс. — Сколько горя она причинила вашей дочери Джун; она всем причиняла только горе. Я давал ей все, что она хотела. Я даже готов был простить её, но она предпочла бросить меня.

Звук этого глухого голоса подавлял всякое сочувствие в Джолионе. Что такое есть в этом человеке, что не позволяет проникнуться к нему участием?

— Я могу съездить к ней, если вам угодно, — сказал он. — Я думаю, что она будет рада разводу, впрочем, не знаю.

Сомс кивнул.

— Да, пожалуйста. Я знаю, где она живёт, но я не желаю её видеть.

Он несколько раз провёл языком по губам, словно они у него пересохли.

— Может быть, вы выпьете чаю, — предложил Джолион и чуть не добавил: «и посмотрите дом». И он повёл его в холл.

Позвонив и приказав подать чай, он подошёл к своему мольберту и повернул картину к стене. Ему почему-то не хотелось, чтобы на неё смотрел Сомс, который стоял здесь, посреди

этой большой комнаты с широкими простенками, предназначавшимися для его собственных картин. В лице своего кузена, с этим неуловимым семейным сходством с ним самим, в этом упрямом, замкнутом, сосредоточенном выражении Джолион увидел что-то, что невольно заставило его подумать: «Этот никогда ничего не забудет, никогда своих чувств не выдаст. Несчастный человек!»

VII. СТРИГУНОК НАХОДИТ ПОДРУЖКУ

Юный Вэл, покинув старшее поколение Форсайтов, подумал: «Вот скучища! Уж дядя Сомс выдумает! Интересно, что собой представляет эта девчонка!» Он не предвкушал никакого удовольствия от её общества, и вдруг он увидел, что она стоит тут и смотрит на него. Да какая хорошенькая! Вот повезло!

— Боюсь, что вы меня не знаете, — сказал он. — Меня зовут Вэл Дарти. Я ваш дальний родственник, троюродный брат или что-то в этом роде. Моя мать урождённая Форсайт.

Холли, от застенчивости не решаясь отнять у него свою смуглую тонкую ручку, сказала:

— Я не знаю никого из моих родственников. Их много?

— Куча. И по большей части ужасный народ. Конечно, я не... ну, во всяком случае те, кого я знаю. Родственники всегда ужасны, ведь правда?

— Должно быть, они тоже находят нас ужасными, — сказала Холли.

— Не знаю почему бы. Уж во всяком случае вас-то никто не найдёт ужасной.

Холли подняла на него глаза, и задумчивая чистота этих серых глаз внезапно внушила Вэлу чувство, что он должен быть её защитником.

— Конечно, разные бывают люди, — глубокомысленно заметил он. — Ваш папа, например, выглядит очень порядочным человеком.

— Ещё бы, — сказала Холли с жаром, — он такой и есть.

Краска бросилась в лицо Вэлу: зал в «Пандемониуме», смуглый господин с розовой гвоздикой в петлице, оказавшийся его собственным отцом!

— Но вы же знаете, что такое Форсайты, — почти злобно добавил он. Ах, простите, я забыл, вы не знаете.

— А что же они такое?

— Ужасные скопидомы, ничего спортсменского. Посмотрите, например, на дядю Сомса.

— Что ж, с удовольствием, — сказала Холли.

Вэл подавил желание взять её под руку.

— Ах, нет, — сказал он, — пойдёмте лучше погуляем. Вы ещё успеете на него насмотреться. Расскажите мне, какой у вас брат.

Холли повела его на террасу и оттуда на лужайку, не отвечая на его вопрос. Как описать Джоли, который, с тех пор как она себя помнит, всегда был её господином, повелителем и идеалом?

— Он, верно, командует вами? — коварно спросил Вал. — Я с ним познакомлюсь в Оксфорде. Скажите, у вас есть лошади?

Холли кивнула.

— Хотите посмотреть конюшни?

— Очень!

Они прошли мимо дуба и сквозь редкий кустарник вышли во двор. Во дворе под башней с часами лежала мохнатая коричнево-белая собака, такая старая, что она даже не поднялась, увидя их, а только слегка помахала закрученным вверх хвостом.

— Это Балтазар, — сказала Холли. — Он такой старый, ужасно старый, почти такой же, как я. Бедненький! и так любит папу!

— Балтазар! Странное имя! Но он, знаете, не породистый.

— Нет! Но он милочка. — И она нагнулась погладить собаку.

Мягкая, гибкая, с тёмной непокрытой головой, с тонкими загорелыми руками и шеей, она казалась Вэлу странной и пленительной, словно что-то, скользнувшее между ним и всем тем, что он знал прежде.

— Когда умер дедушка, — сказала она, — он два дня ничего не ел. Вы знаете, он видел, как дедушка умирал.

— Это старый Джолион? Мама всегда говорит, что это был замечательный человек.

— Это правда, — просто ответила Холли и открыла дверь в конюшню.

В широком стойле стояла серебристо-кауряя лошадка ростом около пяти футов, с длинным тёмным хвостом и такой же гривой.

— Это моя Красотка.

— Ах, — сказал Вэл, — чудная кобылка. Только хорошо бы ей подрезать хвост. Она будет куда шикарнее, — но, встретив удивлённый взгляд Холли, он внезапно подумал: «А в общем не знаю, пусть будет, как ей нравится!» Он потянул носом воздух конюшни. — Лошади хорошая штука, правда? Мой отец... — он запнулся.

— Да? — сказала Холли.

Неудержимое желание открыться ей чуть не завладело им, но нет, не совсем.

— Да нет, просто он массу денег тратил на них. Я тоже, знаете, страшно увлекаюсь и верховой ездой и охотой. Ужасно люблю скачки. Я бы хотел сам участвовать в скачках. — И, забыв, что ему осталось пробыть в городе только один день и что у него уже два приглашения, он с воодушевлением предложил: — А что, если я завтра возьму напрокат лошадку, вы поедете со мной в Ричмонд-парк?

Холли захлопала в ладоши.

— О, конечно! Я просто обожаю ездить верхом. Но вот же лошадь Джолли. Вы можете поехать на ней. И мы могли бы поехать после чая.

Вэл с сомнением посмотрел на свои ноги в брюках. Он мысленно видел себя перед ней безукоризненным, в высоких коричневых сапогах и в бедсфордских бриджах.

— Мне не хочется брать его лошадь, — сказал он. — Может быть, ему это будет неприятно. Кроме того, дядя Сомс, наверно, скоро поедет домой. Конечно, я у него не на привязи, вы не думайте. А у вас есть дядя? Лошадка недурная, — заключил он, окидывая критическим взглядом лошадь Джолли темно-гнедой масти, сверкающую белками глаз. — У вас здесь, наверно, нет охоты?

— Нет; мне, пожалуй, и не хотелось бы охотиться. Это, конечно, ужасно интересно, но это жестоко, ведь правда? И Джун тоже так говорит.

— Жестоко? — воскликнул Вэл. — Какая чепуха! А кто это такая Джун?

— Моя сестра, знаете, сводная сестра, она гораздо старше меня.

Она обхватила обеими руками морду лошади Джолли и потёрлась носом об её нос, тихонько посапывая, что, казалось, производило на животное гипнотизирующее действие. Вэл смотрел на её щеку, прижимавшуюся к носу лошади, и на её сияющие глаза, устремлённые на него. «Она просто душечка», — подумал он.

Они пошли обратно к дому, настроенные уже не так разговорчиво; за ними поплёлся теперь пёс Балтазар, медлительность которого нельзя было сравнить ни с чем на свете, причём он явно выражал желание, чтобы они не превышали его скорости.

— Чудесное здесь место, — сказал Вал, когда они остановились под дубом, поджидая отставшего Балтазара.

— Да, — сказала Холли и вздохнула. — Но, конечно, мне бы хотелось побывать всюду. Мне бы хотелось быть цыганкой.

— Да, цыганки — это чудно, — подхватил Вэл с убеждением, которое, по-видимому, только что снизошло на него. — А вы знаете, вы похожи на цыганку.

Лицо Холли внезапно озарилось, засияло, точно тёмные листья, позолоченные солнцем.

— Бродить по всему свету, все видеть, жить под открытым небом — разве это не чудесно?

— А правда, давайте! — сказал Вэл.

— Да, да. Давайте!

— Вот будет здорово, и только вы да я, мы вдвоём.

Холли вдруг заметила, что это получается как-то не совсем удобно, и вспыхнула.

— Нет, мы непременно должны устроить это, — настойчиво повторил Вэл, но тоже покраснел. — Я считаю, что нужно уметь делать то, что хочешь. Что у вас там за домом?

— Огород, потом пруд, потом роща и ферма.

— Идёмте туда.

Холли взглянула в сторону дома.

— Кажется, пора идти чай пить, вон папа нам машет.

Вэл, проворчав что-то, направился за ней к дому.

Когда они вошли в гостиную, вид двух пожилых Форсайтов, пьющих чай, оказал на них магическое действие, и они моментально притихли. Это было поистине внушительное зрелище. Оба кузена сидели на диванчике маркетри, имевшем вид трех соединённых стульев, обтянутых серебристо-розовой материей, перед ними стоял низенький чайный столик. Они сидели, отодвинувшись друг от друга, насколько позволял диван, словно заняли эту позицию, чтобы избежать необходимости смотреть друг на друга, и оба больше пили и ели, чем разговаривали, — Сомс с видом полного пренебрежения к кексу, который тем не менее быстро исчезал, Джолион — словно слегка подсмеиваясь над самим собой. Постороннему наблюдателю, конечно, не пришло бы в голову назвать их невоздержанными, но тот и другой уничтожали изрядное количество пищи. После того как младших оделили едой, прерванная церемония продолжалась своим чередом, молчаливо и сосредоточенно, до тех пор пока Джолион, затянувшись папиромой, не спросил Сомса:

— А как поживает дядя Джемс?

— Благодарю вас, очень слаб.

— Удивительная у нас семья, не правда ли? Я как-то на днях вычислял по фамильной библии моего отца среднее долголетие десяти старших Форсайтов. Вышло восемьдесят четыре года, а ведь пятеро из них ещё живы. Они, по-видимому, побьют рекорд, — и, лукаво взглянув на Сомса, он прибавил: — Мы с вами уже не то, что они были.

Сомс улыбнулся. «Неужели вы и в самом деле думаете, будто я могу согласиться, что я не такой, как они, — казалось, говорил он, — или что я склонен уступить что-нибудь добровольно, особенно жизнь?»

— Мы, может быть, и доживём до их возраста, — продолжал Джолион, — но самосознание, знаете ли, большая помеха, а в этом-то и заключается разница между ними и нами. Нам не хватает уверенности. Когда как родилось его самосознание, мне не удалось установить. У отца оно уже было в небольшой дозе, но я не думаю, чтобы у когонибудь ещё из старых Форсайтов его было хоть на йоту. Никогда не видеть себя таким, каким видят тебя другие, — прекрасное средство самозащиты. Вся история последнего века сводится к этому различию между нами. А между нами и вами, — прибавил он, глядя сквозь кольцо дыма на Вэла и Холли, чувствовавших себя неловко под его внимательным и слегка насмешливым взглядом, — разница будет в чём-то другом. Любопытно, в чём именно.

Сомс вынул часы.

— Нам пора отправляться, — сказал он, — чтобы не опоздать к поезду.

— Дядя Сомс никогда не опаздывает на поезд, — с полным ртом пробормотал Вэл.

— А зачем мне опаздывать? — просто спросил Сомс.

— Ну, я не знаю, — протянул Вэл, — другие же опаздывают.

В дверях, у выхода, прощаясь с Холли, он незаметно задержал её тонкую смуглую руку.

— Ждите меня завтра, — шепнул он, — в три часа я буду встречать вас на дороге, чтобы сэкономить время. Мы чудно покатаемся.

У ворот он оглянулся на неё, и если бы не его принципы благовоспитанного молодого человека, он, конечно, помахал бы ей рукой. Он был совсем не в настроении поддерживать беседу с дядей. Но с этой стороны ему не грозило опасности. Сомс, погруженный в какие-то

далёкие мысли, хранил полное молчание.

Жёлтые листья, падая, кружились над двумя пешеходами, пока они шли эти полторы мили по просеке, которой так часто хаживал Сомс в те давно минувшие дни, когда он с тайной гордостью приходил посмотреть на постройку этого дома, дома, где он должен был жить с той, от которой теперь стремился освободиться. Он оглянулся и посмотрел на теряющуюся вдаль бесконечную осеннюю просеку между желтеющими изгородями. Как давно это было! «Я не желаю её видеть», — сказал он Джолиону. Правда ли это? «А может быть, и придётся», — подумал он и вздрогнул, охваченный той внезапной дрожью, про которую говорят, что это бывает, когда ступишь на свою могилу. Унылая жизнь! Странная жизнь! И, искоса взглянув на своего племянника, он подумал: «Хотел бы я быть в его возрасте! Интересно, какова-то она теперь!»

VIII. ДЖОЛИОН ИСПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

Когда те двое ушли, Джолион не вернулся к работе, потому что уже спускались сумерки, но прошёл в кабинет со смутным и безотчётным желанием воскресить то краткое видение — отца, сидящего в старом кожаном кресле, положив ногу на ногу, и глядящего спокойным взглядом из-под купола своего огромного лба. Часто в этой маленькой комнате, самой уютной в доме, Джолион переживал минуты общения с отцом. Не то чтобы он твёрдо верил в существование неумирающей человеческой души — чувство его далеко не было столь логическим, — скорее это было какое-то воздушное прикосновение, подобное запаху, или одно из тех сильных анимистических впечатлений от форм или игры света, к которым особенно восприимчивы люди, обладающие глазом художника. Только здесь, в этой маленькой, ничуть не изменившейся комнате, где отец проводил большую часть своего времени, можно было ещё почувствовать, что он ушёл не совсем, что мудрый совет этого старого ума, теплота его властного обаяния ещё живы.

Что посоветовал бы отец теперь, когда старая трагедия вспыхнула вновь, что сказал бы он на эту угрозу той, к которой он так привязался в последние недели своей жизни? «Я должен сделать для неё все, что могу, думал Джолион. — Он поручил её мне в завещании. Но что нужно сделать?»

И, словно надеясь обрести мудрость, душевное равновесие и тонкий здравый смысл старого Форсайта, он сел в его кресло и положил ногу на ногу. Но у него было такое чувство, словно пустая тень села в это кресло; ничто не осенило его, только ветер постукивал пальцами в потемневшую стеклянную дверь.

«Поехать к ней, — думал он, — или попросить её приехать сюда? Какова была её жизнь? Как-то она живёт теперь? Ужасно раскапывать все это после стольких лет». И снова фигура его кузена, стоящего, упёршись рукой в парадную дверь красивого зеленовато-оливкового цвета, вынырнула, отчётливая, как кукла, выскакивающая на старинных часах, когда они бьют, и его слова раздались в ушах Джолиона звучнее всяких курантов: «Я не позволю никому вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам, и я повторяю ещё раз: мы не принимаем». Отвращение, которое он почувствовал тогда к Сомсу, к его плоской бритой физиономии, выражением напоминавшей бульдога, к его сухой, крепкой, вылощенной фигуре, слегка пригнувшейся, как будто над костью, которую он не может проглотить, ожило снова с прежней силой и стало даже как-то острее. «Я не выношу его, — подумал он, — всем своим существом не выношу. И хорошо, что это так, мне легче будет стать на сторону его жены». Наполовину художник, наполовину Форсайт, Джолион по своему темпераменту ненавидел всякие, как он называл, «стычки»; пока его не выводили из себя, он мог служить прекрасным примером мудрого классического изречения о собаке: «Скорее удерёт, чем полезет в драку». Лёгкая усмешка прочно осела в его бороде. Какая ирония, что Сомсу понадобилось явиться сюда, в этот дом, для него же выстроенный! Как он смотрел, как он озирался на эту могилу своих прежних чаяний; украдкой оглядывал стены, лестницу, оценивал все. И, словно угадывая мысли Сомса каким-то чутьём, Джолион

подумал: «Я уверен, что ой и сейчас непрочь был бы жить здесь. Он никогда не перестанет желать того, что когда-то было его собственностью. Ну что же, я должен что-то предпринять так или иначе, но как это неприятно, ужасно неприятно!»

Поздно вечером он написал в Челси, прося у Ирэн разрешения увидаться с ней.

Старый век, который видел такой пышный расцвет индивидуализма, закатываясь, угасал в небе, оранжевом от надвигающихся бурь. Слухи о войне усиливали лондонскую сутолоку, обычную в конце лета. И Джолиону, не часто приезжавшему в город, улицы казались лихорадочно беспокойными от всех этих недавно вошедших в моду автомобилей, которых он не одобрял с эстетической точки зрения. Он считал их, пока ехал в своём экипаже, и выяснил, что их приходится один на двадцать кэбов. «Год назад их было один на тридцать, — подумал он, — по-видимому, они привьются. Только шуму больше и вдобавок вонь». Он был одним из тех весьма редких либералов, которые не терпят ничего нового, едва только оно воплощается в жизнь. Он велел кучеру свернуть поскорее от всей этой сутолоки к реке — ему хотелось посмотреть на воду сквозь мягкую завесу платанов. У небольшого дома, ярдах в пятидесяти от набережной, он сказал кучеру остановиться и подождать и поднялся в бельэтаж.

— Да, миссис Эрон дома.

Джолион, помнивший убогое изящество этой крошечной квартирki восемь лет назад, когда он приехал сообщить Ирэн об оставленном ей наследстве, сразу заметил влияние прочного, хотя и весьма скромного дохода. Все кругом было новое, изысканное, всюду пахло цветами. Общий тон был серебристый, с чёрными, золотыми и голубовато-белыми пятнами. «С большим вкусом женщина», — подумал он. Время милостиво обошлось с Джолионрм, ибо он был Форсайт. Но Ирэн время словно совсем не коснулось, таково было по крайней мере его впечатление. Когда она вышла к нему в сером бархатном платье, протянув руку и слегка улыбаясь, она показалась ему ничуть не постаревшей: те же мягкие тёмные глаза, темно-золотистые волосы.

— Садитесь, пожалуйста.

Ему, кажется, никогда не приходилось садиться с чувством большей неловкости.

— Вы совсем не изменились, — сказал он.

— А вы помолодели, кузен Джолион.

Джолион провёл рукой по волосам, обилие которых его всегда утешало.

— Я старик, но я этого не чувствую. Это одна из добрых сторон живописи: она сохраняет вам молодость. Тициан жил до девяноста девяти лет, и понадобилась чума, чтобы свести его в могилу. Вы знаете, когда я увидел вас в первый раз, я вспомнил об одной его картине.

— А когда вы меня видели в первый раз?

— В Ботаническом саду.

— Как же вы меня узнали, если никогда до тех пор не видели?

— По одному человеку, который подошёл к вам.

Он пристально смотрел на неё, но она не изменилась в лице и спокойно сказала:

— Да, несколько жизней тому назад.

— Откройте ваш секрет молодости, Ирэн.

— Люди, которые не живут, прекрасно сохраняются.

Гм! Звучит горько! Люди, которые не живут. Но с этою можно начать разговор, и он так и сделал.

— Вы помните моего кузена Сомса? — он заметил, что она чуть улыбнулась на этот нелепый вопрос, и продолжал: — Он два дня назад был у меня. Он хочет получить развод. А вы хотели бы этого?

— Я? — вырвалось у неё изумлённо. — После двенадцати лет немножко поздно, пожалуй. Не трудно ли это будет?

Джолион твёрдо посмотрел ей в лицо.

— Если... — начал он.

— Если у меня нет любовника? Но у меня с тех пор никого не было.

Что почувствовал он при этих простых чистосердечных словах? Облегчение, удивление, жалость? Венера, у которой двенадцать лет нет возлюбленного!

— Но всё-таки, — сказал он. — Я думаю, вы много дали бы, чтобы быть совсем свободной.

— Не знаю. Какой в этом смысл теперь?

— Ну, а если бы вы кого-нибудь полюбили?

— Ну и любила бы.

В этих простых, словах она, казалось, выразила всю философию женщины, от которой отвернулся свет.

— Так! Что же, ему передать что-нибудь от вас?

— Только то, что я сожалею, что он не свободен. У него ведь была возможность. Не знаю, почему он ею не воспользовался.

— Потому что он Форсайт. Мы, знаете, никогда не расстаёмся с нашим добром, пока нам не захочется получить вместо него что-нибудь другое; да и тогда неохотно.

Ирэн улыбнулась.

— И вы тоже, кузен Джолион? А мне кажется, вы не такой.

— Я, конечно, немножко выродок — не совсем чистый Форсайт. Я никогда не пишу полупенни на моих чеках, я всегда округляю, — смущённо сказал Джолион.

— Ну, а что же теперь хочет Сомс вместо меня?

— Не знаю, детей, может быть.

Она секунду сидела молча, опустив глаза.

— Да, — прошептала она наконец. — Это тяжело. Я бы рада была ему помочь, если бы могла.

Джолион разглядывал свою шляпу. Чувство неловкости овладевало им все больше и вместе с тем чувство восхищения, удивления и жалости. Какая она милая, и так одинока; и как все это сложно!

— Так вот, — сказал он. — Я, конечно, увижу Сомса. Если я чем-нибудь могу вам помочь, знайте, я всегда к вашим услугам. Вы должны видеть во мне заместителя отца, правда, довольно жалкого. Во всяком случае, я сообщу вам о результатах моего разговора с Сомсом. Он ведь может и сам представить материал.

Она покачала головой.

— Ему это многого будет стоить; а мне терять нечего; я бы рада была помочь ему освободиться; но я не представляю себе, что я могу сделать.

— Я пока что тоже, — сказал Джолион.

Вскоре после этого он простился и вышел.

Он уселся в кэб. Половина третьего! Сомс сейчас у себя в конторе.

— В Полтей! — крикнул он в окошечко.

Перед зданием парламента и на Уайтхолл газетчики выкрикивали: «Серьёзное положение в Трансваале!» — но он почти не замечал этих криков, занятый своими мыслями об этом поистине прекрасном лице, об её мягких тёмных глазах и об этой фразе: «У меня никого не было с тех пор». Что делать, как жить такой женщине, когда жизнь её вот так остановилась? Одна, без защиты, ведь рука любого мужчины угрожает ей, или, вернее, протягивается к ней, чтобы схватить её при первой возможности. И вот так она живёт год за годом!

Слово «Полтей» вверху над пешеходами вернуло его к действительности.

«Форсайт, Бастард и Форсайт» — чёрными буквами на гороховом фоне исполнили его некоторой решимости, и он поднялся по каменной лестнице, бормоча:

— Вот они, ревнители собственности! Но ведь без них не обойдёшься!

— Мне нужно видеть мистера Сомса Форсайта, — сказал он мальчику, открывшему дверь.

— Как доложить?

— Мистер Джолион Форсайт.

Мальчик посмотрел на него с любопытством — ему ещё никогда не доводилось видеть Форсайта с бородой — и исчез.

Контора «Форсайт, Бастард и Форсайт» постепенно поглотила контору «Тутинг и Бауле» и занимала теперь весь второй этаж. Фирма сейчас состояла, собственно, из одного Сомса и изрядного количества старших и младших клерков. Уход Джемса около шести лет назад положил начало быстрому росту этой монополии, но она с особенной скоростью пошла в гору с уходом Бастарда, которого, как утверждали многие, доконала тяжба Фрайера против Форсайта, запутывавшаяся все больше и больше и сулившая все меньше выгод тяжущимся сторонам. Сомс, с его более трезвым отношением к делу, не позволял себе беспокоиться зря; напротив, он давно предугадал, что судьба наградит его на этом деле двумястами фунтов годового дохода чистогадом, и почему бы и нет?

Когда Джолион вошёл, его двоюродный брат составлял список тех процентных бумаг, которые, ввиду слухов о войне, он решил посоветовать своим клиентам продать, раньше чем это сделают другие. Он искоса взглянул на Джолиона и сказал:

— Здравствуйте. Одну минуту. Присядьте, пожалуйста.

И, дописав последние три цифры, положил линейку, чтобы отметить строчку, и повернулся к Джолиону, покусывая плоский указательный палец.

— Да? — сказал он.

— Я виделся с ней.

Сомс нахмурился.

— Ну и что же?

— Она осталась верна прошлому.

Сказав это, Джолион тотчас же упрекнул себя. Лицо его кузена вспыхнуло густым багрово-жёлтым румянцем. И что его дёрнуло дразнить это несчастное животное!

— Мне поручено передать, что она очень жалеет, что вы не свободны. Двенадцать лет — это большой срок. Вы лучше меня знаете закон и те возможности, которые он даёт вам.

Сомс издал какой-то неясный хриплый звук, и затем оба на целую минуту замолчали. «Точно кукла восковая, — думал Джолион, следя за бесстрастным лицом, с которого быстро сбегал румянец. — Он никогда и вида не подаст, что он думает и что он собирается сделать. Точно кукла!» И он перевёл взгляд на карту цветущего приморского городка Бай-стрит, будущий вид которого красовался на стене для поощрения собственнических инстинктов клиентов. У Джолиона мелькнула странная мысль: «Не предложит ли он мне сейчас получить по счёту: Мистеру Джолиону Форсайту — за совет по делу о моём разводе, за его отчёт о визите к моей жене, за поручение отправиться к ней вторично, итого причитается шестнадцать шиллингов восемь пенсов».

Вдруг Сомс сказал:

— Я больше не могу так жить, говорю вам, я больше не могу.

Глаза его метались по сторонам, как у затравленного зверя, который ищет, куда бы скрыться. «А ведь он действительно страдает, — подумал Джолион, — мне не следует этого забывать только потому, что он неприятен мне».

— Конечно, — мягко сказал он, — но это в ваших руках. Мужчина всегда может добиться этого, если возьмёт дело на себя.

Сомс круто повернулся к нему с глухим стоном, который, казалось, вырвался откуда-то из глубины:

— Почему я должен ещё страдать после всего того, что я вытерпел? Почему?

Джолион только пожал плечами. Рассудок его соглашался, инстинкт восставал; почему — он не мог объяснить.

— Ваш отец, — продолжал Сомс, — почему-то симпатизировал ей. И вы, вероятно, тоже? — он бросил на Джолиона подозрительный взгляд. — По-видимому, стоит только человеку причинить зло другому, он завоёвывает всеобщее участие. Не знаю, в чём меня можно упрекнуть, и никогда не знал и раньше. Я всегда относился к ней хорошо. Я давал ей

все, что она могла желать. Она мне была нужна.

Снова рассудок Джолиона поддакнул, но инстинкт снова воспротивился. «Что это? — подумал он. — Должно быть, я какой-то урод, ну, а если так, пусть уж и буду такой, как есть, лучше уж быть уродом».

— Ведь как-никак, — с какой-то угрюмой свирепостью заключил Сомс, она была моей женой.

И тотчас слушателя его словно осенило: «Вот оно! Собственность! Ну что же, в конце концов мы все владеем своим добром, но живыми людьми... брр!»

— Приходится считаться с фактами, — холодно возразил он, — или, вернее, с отсутствием таковых.

Сомс снова кинул на него быстрый подозрительный взгляд.

— С отсутствием таковых? — повторил он. — Да, но я не очень этому верю.

— Простите, — сказал Джолион. — Я передаю вам то, что она сказала. И это было сказано вполне определённо.

— Мой личный опыт не позволяет мне слепо доверяться её словам. Мы ещё посмотрим.

Джолион поднялся.

— До свидания, — сухо сказал он.

— До свидания, — ответил Сомс, и Джолион вышел, стараясь разгадать полуизумленное, полуугрожающее выражение лица своего двоюродного брата.

Он ехал на вокзал Ватерлоо в полном расстройстве чувств, как будто все существо его вывернули наизнанку; всю дорогу в поезде он думал об Ирэн в её одинокой квартирке, и о Сомсе в его одинокой конторе, и о том, как странно парализована жизнь у обоих. «В петле, — подумал он, — и тот и другой, и её красивая шейка — в петле!»

IX. ВЭЛ УЗНАЕТ НОВОСТИ

Держать свои обещания отнюдь не было отличительной чертой молодого Вэла, поэтому, когда он, нарушив два, сдержал одно, последнее выросло в его глазах в событие. достойное удивления, пока он медленной рысью возвращался из Робин-Хилла в город после своей прогулки верхом с Холли. На своей серебристо-каурой длиннохвостой лошадке она сегодня была ещё красивее, чем вчера; и в этих туманных октябрьских сумерках в предместье Лондона ему, настроенному по отношению к себе весьма критически, казалось, что сам он во время этой прогулки блистал только своими сапогами. Он вынул новые золотые часы (подарок Джемса) и посмотрел не на циферблат, а на свою физиономию, отражавшуюся по кусочкам в блестящей верхней крышке. Над бровью у него было какое-то пятно, что ему очень не понравилось, потому что ей, конечно, это не могло понравиться. У Крума никогда не бывает никаких пятен. Следом за образом Крума тотчас же выплыла сцена в «Пандемониуме». Сегодня у него не было ни малейшего желания открыться Холли и говорить об отце. Отцу недоставало поэзии, дыхание которой Вэл впервые ощутил за все свои девятнадцать лет. «Либерти» и Цинтия Дарк, это почти мифическое воплощение всяческих наслаждений, «Пандемониум» и женщина неопределённого возраста — все куда-то провалилось для Вэла, который сейчас только что расстался со своей новой застенчивой темноволосой кузиной. И она так «здорово» ездила верхом и, что ему особенно было лестно, ехала за ним, куда он хочет, по всем аллеям Ричмонд-парка, хотя она, конечно, знает их куда лучше его. Вспоминая все это, он удивлялся тому, как бессмысленно он с ней разговаривал; он чувствовал, что мог бы сказать ей массу совершенно замечательных вещей, если бы только представился ещё такой случай, и мысль, что завтра ему придётся отправиться в Литтлхэмтон, а двенадцатого в Оксфорд, на этот дурацкий экзамен, так и не повидавшись с ней, нагоняла на него мрак быстрее, чем мгла окутывала землю. Во всяком случае, он ей напишет, и она обещала ответить. Может быть, она даже приедет в Оксфорд навестить брата. Эта мысль блеснула, как первая звёздочка, появившаяся на небе, когда он

подъезжал к манежу Пэдуика близ Слоунсквер. Он сошёл с лошади и с наслаждением потянулся: ведь он проехал добрых двадцать пять миль. Проснувшийся в нём Дарти заставил его минут пять поболтать с младшим Пэдуиком о кэмбриджширском фаворите. Затем со словами «Запишите лошадку на мой счёт» он вышел, неуверенно ступая негнушимися ногами, похлопывая по сапогам своим маленьким плетёным стэком, «Мне сегодня никуда не хочется идти, — подумал он. Хорошо бы мама угостила меня на прощание шампанским!» С шампанским и с приятными воспоминаниями можно было отлично провести вечер дома.

Когда Вэл сошёл вниз, приняв ванну и переодевшись, он застал мать в декольтированном вечернем туалете и, к своему крайнему неудовольствию, дядю Сомса. Они замолчали, когда он вошёл, затем дядя сказал:

— Я думаю, лучше сказать ему.

При этих словах, которые, несомненно, имели какое-то отношение к его отцу, Вэл прежде всего подумал о Холли. Неужели какая-нибудь гадость?

Мать заговорила.

— Твой отец, — начала она своим отчётливым светским голосом, в то время как пальцы её беспомощно теребили зелёную вышивку на платье, твой отец, мой милый мальчик, он не в Ньюмаркете; он отправился в Южную Америку, он... он уехал от нас.

Вэл перевёл взгляд с неё на Сомса. Уехал! Но огорчён ли он этим? Есть ли у него чувство привязанности к отцу? Ему казалось, что он не знает. И вдруг словно пахнуло на него запахом гардений и сигар, и сердце его сжалось; да, он огорчён. Его отец — это его отец; не может быть, чтобы он так просто взял и уехал, так не бывает. Эй ведь не всегда же он был таким «пшютом», как тогда в «Пандемониуме». С ним были связаны чудесные воспоминания о поездках к портному, о лошадях, о карманных деньгах, которые приходились так кстати в школе, о том, какой он всегда был щедрый и добрый, когда ему в чем-нибудь везло.

— Но почему? — спросил он. И сейчас же мужчина в нём устыдился заданного вопроса. Бесстрастное лицо матери вдруг все передёрнулось. — Хорошо, мама, не говори мне. Но только что все это значит?

— Боюсь, Вал, что это означает развод.

У Вэла вырвался какой-то хриплый звук, и он быстро взглянул на дядю, на которого его приучили смотреть как на своего рода гарантию против всех последствий того печального факта, что у него, Вэла, есть отец, и даже больше: против самой крови Дарти, текущей в его жилах. Худощавое лицо Сомса как будто дрогнуло, и это уж совсем расстроило Вэла.

— Но ведь это будет не публично? И перед ним так живо встало воспоминание о том, с каким жадным любопытством он сам смаковал отвратительные газетные подробности бракоразводных процессов.

— Разве это нельзя устроить как-нибудь так, чтобы не было шуму? Это так отвратительно для... мамы и для всех.

— Разумеется, мы постараемся, по возможности, избежать шума, в этом ты можешь быть уверен.

— Да, но разве это вообще так необходимо? Мама ведь не собирается выходить замуж.

Он сам, сестры, их имя, запятнанное в глазах школьных товарищей и Крума, и всех этих оксфордцев, и в глазах Холли! Невыносимо! И чего ради?

— Разве ты хочешь выйти замуж, мама? — резко спросил он.

Уинифрид, очутившись лицом к лицу со своими собственными переживаниями, к которым вернул её тот, кого она любила больше всех на свете, поднялась с кресла ампир, на котором она до сих пор сидела неподвижно. Она поняла, что сын будет против неё, если не сказать ему всего, но как сказать ему? И, не переставая теребить зелёную вышивку, она нерешительно посмотрела на Сомса. Вал тоже смотрел на Сомса. Ну, конечно, это воплощение респектабельности и права собственности не допустит, чтобы его родная сестра была публично опозорена!

Сомс медленно провёл маленьким разрезным ножом с инкрустациями по гладкой поверхности столика маркетри, затем, не глядя на племянника, заговорил:

— Ты не можешь понять того, что приходилось терпеть твоей матери все эти двадцать лет. Это последняя капля, Вэл, — и, покосившись на Уинифрида, он добавил: — Сказать ему?

Уинифрида промолчала. Не сказать ему — он будет против неё! Но как это ужасно — выслушивать такие вещи о родном отце! Сжав губы, она кивнула.

Сомс быстро, ровным голосом продолжал:

— Он всегда был у твоей матери камнем на шее. Ей постоянно приходилось платить его долги; он часто напивался пьяным, оскорблял её и всячески угрожал ей, и вот теперь он уехал в Буэнос-Айрес с танцовщицей, и, словно опасаясь, что его слова не произвели на юношу достаточного впечатления, поспешил добавить: — Он взял жемчуг твоей матери, чтобы подарить этой женщине.

Вёл невольно поднял руку. Увидев этот сигнал бедствия, Уинифрида крикнула:

— Довольно, Сомс, замолчи!

В мальчишке боролись Дарти и Форсайт. Долги, пьянство, танцовщицы это, в конце концов, не так ещё плохо, но жемчуг — нет! Это уж слишком! И внезапно он почувствовал, как рука матери сжимает его руку.

— И ты понимаешь, — слышал он голос Сомса, — мы не можем допустить, чтобы все это началось теперь снова. Есть предел всему, и нужно ковать железо, пока горячо.

Вэл высвободил руку.

— Но вы... вы никогда не огласите эту историю с жемчугами! Я этого не перенесу, просто не перенесу!

Уинифрида воскликнула:

— Нет, нет, Вэл, конечно нет! Тебе сказали это, только чтобы показать, до чего дошёл твой отец. — И дядя его утвердительно кивнул. Несколько успокоенный, он вытащил папироску. Этот тоненький изогнутый портсигар подарил ему отец. Ах, это невыносимо — и как раз теперь, когда он поступает в Оксфорд!

— Разве маме нельзя помочь как-нибудь иначе? — сказал он. — Я сам могу защитить её. И ведь это всегда можно будет сделать и позже, если в этом действительно будет необходимость.

Улыбка появилась на губах Сомса, в ней была какая-то горечь.

— Ты не понимаешь, о чём говоришь; нет ничего хуже, как откладывать в таких делах.

— Почему?

— Я тебе говорю, ничего не может быть хуже. Я знаю это по собственному опыту.

В голосе его слышалось раздражение. Вэл смотрел на него, вытаращив глаза: он никогда не видел, чтобы дядя обнаруживал хоть какие-нибудь признаки чувства. А где, он вспомнил теперь: была какая-то тётя Ирэн и что-то случилось такое, о чём они не говорят; он слышал один раз, как отец выразился о ней так, что и повторить трудно.

— Я не хочу говорить дурно о твоём отце, но я его достаточно хорошо знаю и утверждаю, что не пройдёт и года, как он опять сядет на шею твоей матери. А ты представляешь себе, что это будет значить для неё и для всех вас? Единственный выход — это разрубить узел раз навсегда.

Вэл невольно присмирел; взглянув на лицо матери, он, вероятно, первый раз в жизни действительно понял, что его собственные чувства не всегда самое главное.

— Ничего, мама, — сказал он, — мы тебя поддержим. Только я бы хотел знать, когда это будет. Ведь у нас первый семестр, знаешь. Я бы не хотел быть в Оксфорде, когда это случится.

— Мой дорогой мальчик, — прошептала Уинифрида — ну конечно, это неприятно для тебя, — так, по привычке к пустым фразам, она резюмировала то, что, судя на выражению её лица, было для неё живой мукой. — Когда "это будет. Сомс?

— Трудно сказать. Не раньше, чем через несколько месяцев. Сначала нужно ещё добиться решения о восстановлении тебя в супружеских правах.

«Что это за штука? — подумал Вэл. — Вот тупые животные все эти юристы! Не раньше, чем через несколько месяцев! Ну, сейчас я, во всяком случае, знаю одно: обедать сегодня дома я не буду». И он сказал:

— Мне ужасно неприятно, мама, но мне нужно идти, меня сегодня пригласили обедать.

Хотя это был его последний вечер дома, Уинифрид почти с благодарностью кивнула ему — обоим казалось, что сегодня проявлений всяких чувств было более чем достаточно.

Вэл вырвался из дому в туманный простор Грин-стрит подавленный, не замечая ничего кругом. И только очутившись на Пикадилли, он обнаружил, что у него всего восемнадцать пенсов. Нельзя же пообедать на восемнадцать пенсов, а он очень проголодался. Он с тоской посмотрел на окна «Айсиум Клуба», где они часто так шикарно обедали с отцом! Проклятый жемчуг! С этим никак нельзя примириться! Но чем больше он думал об этом, чем дальше он шёл, тем его всё сильнее, естественно, мучил голод. Исключая возможность вернуться домой, было только два места, куда он мог бы пойти: на Парк-Лейн к дедушке или к Тимоти на Бэйсуотер-Род. Какое из этих двух мест менее ужасно? Пожалуй, если так внезапно нагряться, у дедушки можно лучше пообедать. У Тимоти превосходно кормят, но только если они заранее знают, что ты придёшь, не иначе. Он остановил свой выбор на Парк-Лейн, чему до некоторой степени способствовало соображение, что лишить деда возможности сделать внуку маленький подарок накануне его отъезда в Оксфорд было бы крайне нечестно как по отношению к дедушке, так и по отношению к самому себе.

Конечно, мать узнает, что он был там, и ей это покажется странным; но уж тут ничего не поделаешь. Он позвонил.

— Алло, Уормсон, дадут мне у вас пообедать, вы как думаете?

— Сейчас только идут к столу, мистер Вэл. Мистер

Форсайт будет очень рад видеть вас. Он сегодня за завтра, как говорил, что-то вас совсем не видно.

Вэл засмеялся.

— Ну вот я и пришёл. Заколите-ка жирного тельца²³, да вот — что, Уормсон, давайте шампанского.

Уормсон улыбнулся: он считал Вэла порядочным лоботрясом.

— Я спрошу миссис Форсайт, мистер Вэл.

— Ну, знаете, — пробурчал Вэл, стаскивая пальто, — я уже не школьник.

Уормсон, не лишённый чувства юмора, распахнул дверь позади вешалки из оленьих рогов и провозгласил:

— Мистер Валерус, мэ!м!

«Черт бы его взял!» — подумал Вал входя. Радужные объятия и «а, Вал!» — Эмили и дрожащее «наконец-то ты пожаловал!» — Джемса вернули ему чувство собственного достоинства.

— Почему же ты не предупредил? У нас сегодня на обед только седло барашка. Шампанского, Уормсон, — сказала Эмили.

И они направились в столовую.

За большим обеденным столом, под которым когда-то вытягивалось столько великолепно обутых ног и который теперь был насколько возможно сдвинут. Джемс сел и" одном конце, Эмили на другом, а Вал посередине между ними; и на него вдруг дохнуло одиночеством, в котором жили старики, его дед и бабушка, теперь, когда все их четверо детей разлетелись из гнезда. «Надеюсь, что я отправлюсь на тот свет прежде, чем стану таким стариком, как дедушка, — подумал он. — Бедный старикан, и какой худой, прямо как жердь». И, понизив голос, в то время как дедушка обсуждал с Уормсоном, сколько сахару нужно положить в суп, он сказал Эмили:

— Дома что-то ужасное, бабушка. Я думаю, вам уже известно все.

²³ *Заколите-ка жирного тельца...* — Намёк на евангельскую притчу о возвращении блудного сына.

— Да, мой милый.

— Дядя Сомс был у нас, когда я уходил. А мне кажется, неужели нельзя чего-нибудь придумать, чтобы избежать развода? Почему он так настаивает на атом?

— Шш, голубчик, — зашикала Эмили, — мы скрываем ато от бабушки.

С другого конца стола раздался голос Джемса:

— Что такое? О чём вы там разговариваете?

— О колледже Вала, — ответила Эмили. — Там ведь учился молодой Паризер, ты помнишь. Джемс, он потом чуть не сорвал банк в Монте-Карло.

Джемс пробормотал, что он не знает, что Вал должен следить за собой, а то попадёт в дурную компанию. И он посмотрел на внука с суровостью, в которой недоверчиво сквозила нежность.

— Я боюсь одного, — сказал Вал, глядя в тарелку, — что мне там придётся туго.

Он инстинктом угадывал слабую струнку старика — его постоянное опасение, что внуки не вполне обеспечены.

— Ты будешь получать достаточно, — сказал Джемс и расплескал суп из ложки, — но ты должен держаться в пределах этой суммы.

— Ну, конечно, — тихо сказал Вал, — если она будет достаточная. А сколько это будет, бабушка?

— Триста пятьдесят фунтов; это очень много. У меня никогда не было таких денег в твоём возрасте.

Вал вздохнул. Он надеялся на четыреста, боялся, как бы не оказалось только триста.

— Я не знаю, какой пенсион назначен твоему кузену, — сказал Джемс, он ведь тоже там. Его отец богатый человек.

— А вы разве нет? — дерзко спросил Вэл.

— Я? — забормотал Джемс, опешив. — У меня так много расходов. Твой отец... — и он замолчал.

— Какой шикарный дом у дяди Джолиона! Я был там с дядей Сомсом — замечательные конюшни.

— Ах, — Джемс глубоко вздохнул, — этот дом! Я знал, чем это кончится!.. — И он мрачно задумался, глядя в тарелку.

Трагедия его сына, которая произвела такой раскол в семье Форсайтов, до сих пор бередила его, внезапно одолевая сомнениями и предчувствиями. Валу, которому не терпелось поговорить о Робин-Хилле, потому что РобинХилл — это была Холли, повернувшись к Эмили, сказал:

— Это тот дом, который был выстроен для дяди Сомса? — и на её утвердительный кивок: — Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне рассказали о нём, бабушка. Что случилось с тётей Ирэн? Она жива? У дяди Сомса сегодня такой вид, будто он чем-то расстроен.

Эмили приложила палец к губам, но слово «Ирэн» долетело до слуха Джемса.

— Что такое? — сказал он, переставая есть и не донеся до рта вилку с кусочком баранины. — Кто её видел? Я знал, что эта история ещё не кончилась.

— Да полно. Джемс, — сказала Эмили, — ешь, пожалуйста, никто никого не видел.

Джемс положил вилку.

— Ты опять за своё, — сказал он. — Верно, я умру прежде, чем ты мне что-нибудь расскажешь. Сомс собирается разводиться?

— Глупости! — ответила Эмили с неподражаемым апломбом. — Сомс слишком умён для этого.

Джемс, захватив рукой свои длинные седые бакенбарды и оттянув кожу на шее, пощупал себе горло.

— Она... она всегда была... — сказал он, и на этой загадочной фразе разговор оборвался, так как вошёл Уормсон.

Но позже, после того как жаркое сменилось фруктами, сыром и десертом, Вэл, получив чек на двадцать фунтов и поцелуй от деда, не похожий ни на какой другой поцелуй в мире

(губы старика прильнули к нему с какой-то робкой стремительностью, словно уступив слабости), попытался в холле вернуться к прерванному разговору.

— Расскажите про дядю Сомса, бабушка. Почему он так настаивает, чтобы мама развелась?

— Дядя Сомс, — сказала Эмили, и голос её звучал преувеличенно твёрдо, — он юрист, мой мальчик. И ему, конечно, лучше знать.

— Вот как? — пробормотал Вэл. — А что случилось с тётей Ирэн? Я помню, она была такая красивая.

— Она... гм... — сказала Эмили, — вела себя очень дурно. Мы никогда не говорим об этом.

— Ну, и я не хочу, чтобы все в Оксфорде знали о наших семейных делах; это просто ужасно. Разве нельзя какнибудь воздействовать на папу так, чтобы все прошло без огласки?

Эмили вздохнула. Ей, благодаря её светским наклонностям, не чужда была атмосфера развода: многие из тех, чьи ноги вытягивались под её обеденным столом, приобрели своими процессами некоторого рода известность. Однако когда дело касалось её собственной семьи, ей нравилось это не больше, чем другим. Но она была на редкость практичной и мужественной женщиной и никогда не гонялась за призраком в ущерб действительности.

— Твоей маме будет лучше, если она совсем освободится, Вэл. До свидания, мой дорогой мальчик, и не носи, пожалуйста, ярких жилетов в Оксфорде, они теперь совсем не в моде. Вот тебе от меня маленький подарок.

С пятифунтовой бумажкой в руке и с тёплым чувством в сердце — Вэл любил свою бабушку — он вышел на Парк-Лейн. Ветер разогнал туман, осенние листья шуршали под ногами, сияли звезды. С такой уймой денег в кармане он внезапно почувствовал желание «кутнуть»; но не прошёл и сорока шагов по направлению к Пикадилли, как перед ним встало застенчивое лицо Холли, её глаза с шаловливым бесёнком, прячущимся в их задумчивой глубине, — и он снова почувствовал, как рука его сладко заныла от прикосновения её тёплой, затянутой в перчатку руки. «А ну их! — подумал он. — Пойду-ка я домой».

X. СОМС ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ БУДУЩЕЕ

Для прогулок по реке, в сущности, было поздновато, но погода стояла чудесная и под желтеющей листвой ещё дышало лето. Сомс в это воскресное утро не раз поглядывал на небо из своего сада на берегу реки близ Мейплдерхема. Он собственноручно поставил вазы с цветами в своём плавучем домике и спустил на воду маленькую лодку, в которой намеревался покатасть Аннет с матерью после завтрака. Раскладывая подушки с китайским рисунком, он думал: хотелось бы ему покатасть вдвоём с Аннет? Она такая хорошенькая — может ли он поручиться, что не скажет ничего лишнего, не выйдет за пределы благоразумия? Розы на веранде ещё цвели, живая изгородь зеленела, и почти ничто не говорило о поздней осени и не расхолаживало настроения; но тем не менее он нервничал, беспокоился, и его одолевали сомнения, сумеет ли он найти нужный тон.

Он пригласил их с целью дать Аннет и её матери должное представление о своих средствах, с тем чтобы они впоследствии отнеслись достаточно серьёзно к любому предложению, которое он вознамерится сделать. Он оделся тщательно, позаботившись о том, чтобы не выглядеть ни слишком модным, ни слишком старым, радуясь тому, что волосы у него все ещё густые и мягкие, без малейшей седины. Три раза он подымался в свою картинную галерею. Если они хоть что-нибудь понимают, они сразу увидят, что одна его коллекция стоит по крайней мере тридцать тысяч фунтов. Он заботливо оглядел изящную спальню, выходящую окнами на реку. Он проведёт их сюда, чтобы они сняли здесь шляпы. Это будет её спальня, если... если все обернётся удачно и она станет его женой. Подойдя к туалету, он провёл рукой по сиреневой подушечке, в которую были воткнуты всевозможные булавки; ваза с засохшими лепестками роз издавала аромат, от которого у него на секунду закружилась голова. Его жена! Если бы только можно было уладить все поскорее и над ним

не висел бы кошмар развода, через который ещё надо пройти! Угрюмая складка залегла у него на лбу, и он перевёл взгляд на реку, сверкавшую сквозь розовые кусты за лужайкой. Мадам Ламот, конечно, не устоит перед такими перспективами для своей дочки; а Аннет не устоит перед своей мамашей. Если бы он только был свободен! Он поехал встречать их на станцию. Сколько вкуса у француженок! Мадам Ламот была в чёрном платье с сиреневой отделкой, Аннет — в сероватолиловом полотняном костюме, в палевых перчатках и такой же шляпе. Она казалась немножко бледной — настоящая жительница Лондона; а её голубые глазки были скромно опущены. Дожидаясь, когда они сойдут к завтраку, Сомс стоял в столовой у открытой стеклянной двери, с чувством блаженной неги наслаждаясь солнцем, цветами, деревьями — чувство, только тогда доступное во всей своей полноте, когда молодость и красота разделяют его с вами. Меню завтрака было обдуманно с величайшей тщательностью: вино — замечательный сотерн, закуски редкой изысканности, кофе, поданный на веранду, более чем превосходный. Мадам Ламот соблаговолила выпить рюмочку мятного ликёра. Аннет отказалась. Она держала себя очень мило, но в её манерах чуть-чуть проскальзывало, что она знает, как она хороша. «Да, — думал Сомс, — ещё год в Лондоне, при такой жизни, и она совсем испортится».

Мадам выражала сдержанный, истинно французский восторг:

— Adorable! Le soleil est si bon!²⁴ И все кругом si chic, не правда ли, Аннет? Мсье настоящий Монте-Кристо.

Аннет, чуть слышно выразив своё одобрение, бросила на Сомса взгляд, понять которого он не мог. Он предложил покататься по реке. Но катать обеих, когда одна из них казалась такой очаровательной среди этих китайских подушек, вызывало какое-то обидное чувство упущенной возможности, поэтому они только немножко проехали к Пэнгборну и медленно поплыли обратно по течению; порою осенний лист падал на Аннет или на чёрное величие её мамы. И Сомс чувствовал себя несчастным и терзался мыслью: «Как, когда, где, решусь ли я сказать, и что сказать?» Они ведь ещё даже не знают, что он женат. Сказать им об этом — значит поставить на карту все свои надежды; с другой стороны, если он не даст им определённо понять, что претендует на руку Аннет, она может попасть в лапы кому-нибудь другому прежде, чем он будет свободен и сможет предложить себя.

За чаем, который обе пили с лимоном. Сомс заговорил о Трансваале.

— Будет война, — сказал он.

Мадам Ламот заохала:

— Ces pauvres gens bergers!²⁵ Неужели их нельзя оставить в покое?

Сомс улыбнулся — такая постановка вопроса казалась ему совершенно нелепой.

Она женщина деловая и, разумеется, должна понимать, что англичане не могут пожертвовать своими законными коммерческими интересами.

— Ах вот что!

Но мадам Ламот считала, что англичане всё-таки немножко лицемерны. Они толкуют о справедливости и о поселенцах, а совсем не о коммерческих интересах. Мсье первый человек, который говорит об этом.

— Буры полувцивилизованный народ, — заметил Сомс. — Они тормозят прогресс. Нам нельзя отказаться от нашего суверенитета.

— Что это значит? Суверенитет! Какое странное слово!

Сомс проявил большое красноречие, вдохновлённый этой угрозой принципу собственности и подстрекаемый устремлёнными на него глазками Аннет. Он был в восторге, когда она сказала:

— Я думаю, мсье прав. Их следует проучить.

²⁴ Восхитительно! Какое приятное солнце! (фр.)

²⁵ Эти бедные пастухи (фр.)

Умная девушка!

— Разумеется, — сказал он, — мы должны проявлять известную умеренность. Я не джингоист. Мы должны держать себя твёрдо, но не запугивать их. Не хотите ли пройти наверх, посмотреть мои картины?

Переходя с ними от одного шедевра к другому, он быстро обнаружил, что они не понимают ничего. Они прошли мимо его последней находки, Мауве, замечательной картины «Возвращение с жатвы», словно это была литография. Он чуть ли не с замиранием сердца ждал, как они отнесутся к жемчужине его коллекции — Израэльсу, за ценой которого он тщательно следил до последнего времени и теперь пришёл к заключению, что она достигла своего апогея и что картину пора продать. Они прошли, не заметив её. Какой удар! Впрочем, лучше иметь дело с нетронутым вкусом Анкет, который можно развить постепенно, чем с тупым невежественным верхоглядством английских буржуа. В конце галереи висел Мессонье²⁶, которого он почти стыдился. Мессонье так упорно падал в цене. Мадам Ламот остановилась перед ним.

— Мессонье! Ах, какая прелесть! — она где-то слышала это имя.

Сомс воспользовался моментом. Мягко коснувшись руки Аннет, он спросил:

— Как вам у меня нравится, Аннет?

Она не отдернула руки, не ответила на его прикосновение, она прямо посмотрела ему в лицо, потом, опустив глаза, прошептала:

— Разве может кому-нибудь не понравиться! Здесь так чудесно!

— Когда-нибудь, может... — сказал Сомс и оборвал.

Она была так хороша, так прекрасно владела собой, она пугала его. Эти васильковые глазки, изгиб этой белой шейки, изящные линии тела — она была живым соблазном, его так и тянуло признаться ей. Нет, нет! Нужно иметь твёрдую почву под ногами, значительно более твёрдую! «Если я воздержусь» — подумал он, — это только раздражит её, пусть немного помучается". И он отошёл к мадам Ламот, которая все ещё стояла перед Мессонье.

— Да, это недурной образец его последних работ. Вы должны приехать как-нибудь ещё, мадам, и посмотреть мои картины при вечернем освещении. Вы должны приехать обе и остаться здесь переночевать.

— Я в восторге, это будет очаровательно — посмотреть их при вечернем освещении, и река при лунном свете, должно быть восхитительно!

Аннет прошептала:

— Ты сентиментальна, *taman!*

Сентиментальна! Эта благообразная, плотная, затянутая в чёрное платье, деловитая француженка! И внезапно он совершенно ясно понял, что ни у той, ни у другой нет никаких чувств. Тем лучше! К чему эти чувства? А все же...

Он отвёз их на станцию и усадил в поезд. Ему показалось, когда он крепко пожал руку Аннет, что пальчики её слегка ответили; её лицо улыбнулось ему из темноты.

В задумчивости он вернулся к своему экипажу.

— Поезжайте домой, Джордан, — сказал он кучеру, — Я пойду пешком.

И он свернул на темнеющую тропинку; осторожность и, желание обладать Аннет боролись в нём, и перевешивало то одно, то другое. «*Bonsoir, monsieur!*» — как ласково она это сказала. Если бы только знать, что у неё на уме! Француженки — как кошки: ничего у них не поймёшь! Но как хороша! Как приятно, должно быть, держать в объятиях это юное создание! Какая мать для его наследника! И он с улыбкой подумал о своих родственниках, о том, как они удивятся, узнав, что он женился на француженке, как будут любопытствовать, а он будет морочить их, дразнить — пусть их бесятся! Тополя вздыхали в темноте, гулко

²⁶ *Мейссонье Жан (1815—1891)* — французский художник, работавший главным образом в области исторического жанра, значительно преуспевавший в период царствования Наполеона III. По характеру письма может быть отнесён к натуралистам; к концу века — в расцвет импрессионизма — тщательно выписанные на полотнах Мейссонье детали вызвали иронические улыбки, картины Мейссонье неизменно падали в цене.

крикнула сова. Тени сгущались на воде. «Я хочу, я должен быть свободным, — подумал о». — Довольно этой канители. Я сам пойду к Ирэн. Когда хочешь чего-нибудь добиться, надо действовать самому. Я должен снова жить — жить, дышать и ощущать своё бытие».

И, словно в ответ на это почти библейское изречение, церковные колокола зазвонили к вечерней службе.

XI. ...И НАВЕЩАЕТ ПРОШЛОЕ

Во вторник вечером, пообедав у себя в клубе. Сомс решил привести в исполнение то, на что требовалось больше мужества и, вероятно, меньше щепетильности, чем на все, что он когда-либо совершал в жизни, за исключением, может быть, рождения и ещё одного поступка. Он выбрал вечер отчасти потому, что рассчитывал скорее застать Ирэн дома, но главным образом потому, что при свете дня не чувствовал достаточной решимости для этого, и ему пришлось выпить вина, чтобы придать себе смелости.

Он вышел из кабриолета на набережной и прошёл до Олд-Чэрч²⁷, не зная точно, в каком именно доме находится квартира Ирэн. Он разыскал его позади другого, гораздо более внушительного дома и, прочитав внизу: «Миссис Ирэн Эрон» — Эрой! Ну, конечно, её девичья фамилия! Значит, она снова её носит? — сошёл с тротуара, чтобы заглянуть в окна бельэтажа. В угловой квартире был свет, и оттуда доносились звуки рояля. Он никогда не любил музыки, он даже втайне ненавидел её в те давние времена, когда Ирэн так часто садилась за рояль, словно ища в музыке убежище, в которое ему, она знала, не было доступа. Отстранялась от него! Постепенно отстранялась, сначала незаметно, сдержанно и, наконец, явно! Горькие воспоминания нахлынули на него от этих звуков. Конечно, это она играет; но теперь, когда он убедился в том, что увидит её, его снова охватило чувство нерешительности. Предвкушение этой встречи пронизывало его дрожью; у него пересохло во рту, сердце неистово билось. «У меня нет никаких причин бояться», — подумал он. Но тотчас же в нём заговорил юрист. Он поступает безрассудно! Не лучше ли было бы устроить официальное свидание в присутствии её попечителя? Нет! Только не в присутствии этого Джолиона, который симпатизирует ей! Ни за что! Он снова подошёл к подъезду и медленно, чтобы успокоить биение сердца, поднялся по лестнице и позвонил. Когда дверь открыли, все чувства его поглотил аромат, пахнувший на него, запах из далёкого прошлого, а вместе с ним смутные воспоминания, аромат гостиной, в которую он когда-то входил, в доме, который был его домом, — запах засушенных розовых лепестков к мёда.

— Доложите: мистер Форсайт. Ваша хозяйка примет меня, я знаю.

Он подготовил это заранее: она подумает, что это Джолион.

Когда горничная ушла и он остался один в крошечной передней, где от единственной лампы, затенённой матовым колпачком, падал бледный свет и стены, ковёр и все кругом было серебристым, отчего вся комната казалась призрачной, у него вертелась только одна нелепая мысль: «Что же мне, войти в пальто или снять его?» Музыка прекратилась; горничная в дверях сказала:

— Пройдите, пожалуйста, сэр.

Сомс вошёл. Он как-то рассеянно заметил, что и здесь всё было серебристое, а рояль был из дорогого дерева. Ирэн поднялась и, отшатнувшись, прижалась к инструменту; её рука оперлась на клавиши, словно ища поддержки, и нестройный аккорд прозвучал внезапно, длился мгновение, потом замер. Свет от затенённой свечи на рояле падал на её шею,

²⁷ *Олд-Чэрч* — старый храм в Челси, один из интереснейших памятников старины в Лондоне; основная часть храма была построена в XVII в., но алтарь и некоторые из часовен при храме относятся к XVI и даже XIII — XIV вв., отдельные детали в храме выполнены выдающимися мастерами своего времени. Стр. 70. ...читальня этого клуба была декорирована в адамовском стиле. — Стиль построек, внутренней отделки жилых помещений, мебели, отличавшийся сочетанием известной простоты и удобства с изысканностью в отделке деталей, назван именем архитекторов братьев Адам, получил распространение в Англии в XVIII в.

оставляя лицо в тени. Она была в чёрном вечернем платье с чем-то вроде мантильи на плечах, он не мог припомнить, чтобы ему когда-нибудь приходилось видеть её в чёрном, но у него мелькнула мысль: «Она переодевается к вечеру, даже когда одна».

— Вы! — услышал он её шёпот.

Много раз Сомс в воображении репетировал эту сцену. Репетиции нисколько не помогли ему. Он просто не мог ничего сказать. Он никогда не думал, что увидит эту женщину, которую он когда-то так страстно желал, которой он всецело владел и которую он не видел двенадцать лет, будет для него таким потрясением. Он думал, что будет говорить и держать себя, как человек, пришедший по делу, и отчасти как судья. А оказалось, словно перед ним была не обыкновенная женщина, не преступная жена, а какая-то сила, вкрадчивая, неуловимая, словно сама атмосфера, и она была в нём и вне его. Какая-то язвительная горечь поднималась у него в душе.

— Да, странный визит! Надеюсь, вы здоровы?

— Благодарю вас. Присядьте, пожалуйста?

Она отошла от рояля и, подойдя к креслу у окна, опустила в него, сложив руки на коленях. Свет падал на неё, и Сомс теперь мог видеть её лицо, глаза, волосы — неизъяснимо такие же, какими он помнил их, неизъяснимо прекрасные.

Он сел на край стоявшего рядом с ним стула, обитого серебристым штофом.

— Вы не изменились, — сказал он.

— Нет? Зачем вы пришли?

— Обсудить кое-какие вопросы.

— Я слышала, что вы хотите, от вашего двоюродного брата.

— Ну и что же?

— Я готова. Я всегда хотела этого.

Теперь ему помогал звук её голоса, спокойного и сдержанного, вся её застывшая, насторожённая поза. Тысячи воспоминаний о ней, всегда вот так насторожённой, пробудились в нём, и он сказал желчно:

— Тогда, может быть, вы будете так добры дать мне информацию, на основании которой я мог бы действовать. Приходится считаться с законом.

— Я ничего не могу вам сказать, чего бы вы не знали.

— Двенадцать лет! И вы допускаете, что я способен поверить этому?

— Я допускаю, что вы не поверите ничему, что бы я вам ни сказала, но это правда.

Сомс пристально посмотрел на неё. Он сказал, что она не изменилась; теперь он увидел, что ошибся. Она изменилась. Не лицом — разве только, что ещё похорошела, не фигурой — разве стала чуть-чуть полнее. Нет! Она изменилась не внешне. В ней стало больше, как бы это сказать, больше её самой, появилась какая-то решительность и смелость там, где раньше было только пассивное сопротивление. «А! — подумал он. — Это независимый доход! будь он проклят, дядя Джолион!»

— Я полагаю, вы теперь обеспечены? — сказал он.

— Благодарю вас. Да.

— Почему вы не разрешили мне позаботиться о вас? Я бы охотно сделал это, несмотря ни на что.

Слабая улыбка чуть тронула её губы, но она не ответила.

— Ведь вы все ещё моя жена, — сказал Сомс.

Зачем он сказал это, что он подразумевал под этим, он не сознавал ни в ту минуту, когда говорил, ни позже. Это был трюизм, почти лишённый смысла, но действие его было неожиданно. Она вскочила с кресла и мгновение стояла совершенно неподвижно, глядя на него. Он видел, как тяжело подымается её грудь. Потом она повернулась к окну и распахнула его настежь.

— Зачем это? — резко сказал он. — Вы простудитесь в этом платье. Я не опасен. — И у него вырвался желчный смешок.

Она тоже засмеялась, чуть слышно, горько.

— Это — по привычке.

— Довольно странная привычка, — сказал Сомс тоже с горечью. — Закройте окно!

Она закрыла и снова села в кресло. В ней появилась какая-то сила, в этой женщине — в этой... его жене! Вот она сидит здесь, словно одетая броней, и он чувствует, как эта сила исходит от неё. И как-то почти бессознательно он встал и подошёл ближе, — ему хотелось видеть выражение её лица. Её глаза не опустились и встретили его взгляд. Боже! Какие они ясные и какие темно-темно-карие на этой белой коже, под этими волосами цвета жжёного янтаря! И какие белые плечи! Вот странное чувство! Ведь он должен был бы ненавидеть её!

— Лучше было бы всё-таки не скрывать от меня, — сказал он. — В ваших же интересах быть свободной не меньше, чем в моих. А та старая история уж слишком стара.

— Я уже сказала вам.

— Вы хотите сказать, что у вас ничего не было — никого?

— Никого. Поищите в вашей собственной жизни.

Уязвлённый этой репликой. Сомс сделал несколько шагов по комнате к роялю и обратно к камину и стал ходить взад и вперёд, как бывало в прежние дни в их гостиной, когда ему становилось невмоготу.

— Нет, это не годится, — сказал он. Вы меня бросили. Простая справедливость требует, чтобы вы...

Он увидел, как она пожала этими своими белыми плечами" услышал, как она прошептала:

— Да. Так почему же вы не развелись со мной тогда? Не все ли мне было равно?

Он остановился и внимательно, с каким-то любопытством посмотрел на неё. Что она делает на белом свете, если она правда живёт совершенно одна? А почему он не развёлся с ней? Прежнее чувство, что она никогда не понимала его, никогда не отдавала ему должного, охватило его, пока он стоял и смотрел на неё.

— Почему вы не могли быть мне хорошей женой?

— Да, это было преступлением выйти за вас замуж. Я поплатилась за это. Вы, может быть, найдёте какой-нибудь выход. Можете не щадить моего имени, мне нечего терять. А теперь, я думаю, вам лучше уйти.

Чувство, что он потерпел поражение, что у него отняли все его оправдания, и ещё что-то, но что, он и сам не мог себе объяснить, пронзило Сомса, словно дыхание холодного тумана — Машинально он потянулся и взял с камина маленькую фарфоровую вазочку, повертел её и сказал:

— Лоустофт. Где это вы достали? Я купил такую же под пару этой у Джобсона.

И, охваченный внезапными воспоминаниями о том, как много лет назад он и она вместе покупали фарфор, он стоял и смотрел на вазочку, словно в ней заключалось все его прошлое. Её голос вывел его из забытья.

— Возьмите её. Она мне не нужна.

Сомс поставил её обратно на полку.

— Вы позволите пожать вам руку? — сказал он.

Чуть заметная улыбка задрожала у неё на губах. Она протянула руку. Её пальцы показались холодными его лихорадочно горевшей ладони. «Она и сама ледяная, — подумал он, — всегда была ледяная». Но даже и тогда, когда его резнула эта мысль, все чувства его были поглощены ароматом её платья и тела, словно внутренний жар, никогда не горевший для него, стремился вырваться наружу. Сомс круто повернулся и вышел. Он шёл по улице, словно кто-то с кнутом гнался за ним, он даже не стал искать экипажа, радуясь пустой набережной, холодной реке, густо рассыпанным теням платановых листьев, — смятенный, растерянный, с болью в сердце, со смутной тревогой, словно он совершил какую-то большую ошибку, последствия которой он не мог предугадать. И дикая мысль внезапно поразила его — если бы вместо: «Я думаю, вам лучше уйти», она сказала: «Я думаю, вам лучше остаться!» — что бы он почувствовал? Что бы он сделал? Это проклятое очарование, оно здесь с ним, даже и теперь, после всех этих лет отчуждения и горьких мыслей. Оно здесь и

готово вскружить ему голову при малейшем знаке, при одном только прикосновении. «Я был идиотом, что пошёл к ней, — пробормотал он. — Я ни на шаг не подвинул дело. Можно ли было себе представить? Я не думал!..» Воспоминания, возвращавшие его к первым годам жизни с ней, дразнили и мучили его. Она не заслужила того, чтобы сохранить свою красоту, красоту, которая принадлежала ему и которую он так хорошо знает. И какая-то злоба против своего упорного восхищения ею вспыхнула в нём. Всякому мужчине даже вид её был бы ненавистен, и она этого заслуживает. Она испортила ему жизнь, нанесла смертельную рану его гордости, лишила его сына. Но стоило ему только увидеть её, холодную, сопротивляющуюся, как всегда, — он терял голову. Это в ней какой-то проклятый магнетизм. И ничего удивительного, если, как она утверждает, она прожила одна все эти двенадцать лет. Значит, Босини — будь он проклят на том свете! — жил с ней все это время. Сомс не мог сказать, доволен он этим открытием или нет.

Очутившись наконец около своего клуба, он остановился купить газету. Заголовок гласил: «Буры отказываются признать суверенитет!» Суверенитет! «Вот как она! — подумал он. — Всегда отказывалась. Суверенитет! А я всё же обладаю им по праву. Ей, должно быть, ужасно одиноко в этой жалкой маленькой квартирке!»

XII. НА ФОРСАЙТСКОЙ БИРЖЕ

Сомс состоял членом двух клубов: «Клуба знатоков», название коего красовалось на его визитных карточках и в который он редко заглядывал, и клуба «Смена», который отсутствовал на карточках, но в котором он постоянно бывал. Он примкнул к этому либеральному учреждению пять лет назад, удостоверившись, что почти все его члены суть трезвые консерваторы, по крайней мере душой и карманом, если не принципами. Его ввёл туда дядя Николае. Прекрасная читальня этого клуба была декорирована в адамовском стиле.

Войдя туда в этот вечер, он взглянул на телеграфную ленту — нет ли каких новостей о Трансваале — и увидел, что консоли с утра упали на семь шестнадцатых пункта. Он повернулся, чтобы пройти в читальню, и в это время чей-то голос за его спиной сказал:

— Ну, что ж. Сомс, все сошло отлично.

Это был дядя Николае, в сюртуке, в своём неизменном низко вырезанном воротничке особенного фасона и в чёрном галстуке, пропущенном через кольцо. Бог ты мой, восемьдесят два года, а как молодо и бодро выглядит!

— Я думаю, Роджер был бы доволен, — продолжал дядя Николае. — Всё было великолепно устроено. Блэкли? Надо будет иметь в виду. Нет, Бэкстон мне не помог. С этими бурами у меня все нервы испортились — Чемберлен втянет нас в войну. Ты как полагаешь?

— Да не избежать, — пробормотал Сомс.

Николае провёл рукой по своим худым, гладко выбритым щекам, весьма порозовевшим после летнего лечения. Он слегка выпятил губы. Эта история с бурами воскресила все его либеральные убеждения.

— Не внушает мне доверия этот малый, настоящий буревестник. Если будет война, дома упадут в цене. У вас будет немало хлопот с недвижимостью Роджера. Я ему много раз говорил, что ему следует сбить часть своих домов. Но он был упрям, как бык.

«Оба вы хороши», — подумал Сомс. Но он никогда не спорил с дядями, чем, собственно, и поддерживал их во мнении, что Сомс — малый с головой, и официально сохранял за собой управление их имуществом.

— Мне говорили у Тимоти, — продолжал Николае, понизив голос, — что Дарти наконец совсем убрался. Твой отец теперь сможет вздохнуть. Отвратительная личность этот Дарти.

Сомс снова кивнул. Если было что-нибудь, на чём все

Форсайты единодушно сходились, это была характеристика Монтегью Дарти.

— Примите меры, — сказал Николае, — не то он ещё вернётся. А Уинифрид я бы сказал, что этот зуб надо выдернуть сразу. Какой прок беречь то, что уже гниёт.

Сомс украдкой покосился на Николаев. Его нервы, взвинченные только что пережитым свиданием, заставили его почувствовать в этих словах намёк на него самого.

— Я ей тоже советую, — коротко сказал он.

— Ну, — сказал Николас, — меня ждёт экипаж. Мне пора домой. Я что-то плохо себя чувствую. Кланяйся отцу!

И, отдав таким образом дань кровным узам, он спустился своей юношеской походкой в вестибюль, где младший швейцар закутал его в меховую шубу.

«Не помню, чтобы когда-нибудь дядя Николас не жаловался, что он плохо себя чувствует, — раздумывал Сомс, — и всегда он выглядит так, словно собирается жить вечно! Вот семья! Если судить по нему, у меня впереди ещё тридцать восемь лет здоровья. И я не хочу терять их даром». И, подойдя к зеркалу, он остановился и принялся разглядывать своё лицо. Не считая двух-трех морщинок да трех-четырёх седых волосков в подстриженных тёмных усах, разве он постарел больше Ирэн? Во цвете лет и он, и она — в самом расцвете! И странная мысль мелькнула у него. Абсурд! Идиотство! Но мысль возвращалась. И" встревоженный не на шутку, как бываешь встревожен повторным приступом озноба, предвещающим лихорадку, он взошёл на весы и опустил в кресло. Сто пятьдесят четыре фунта! За двадцать лет он не изменился в весе даже на два фунта. Сколько ей лет теперь? Около тридцати семи — ещё не так много, у неё ещё может быть ребёнок, совсем не так много! Тридцать семь минет девятого числа будущего месяца. Он хорошо помнит день её рождения — он всегда свято чтит этот день, даже и тот, последний, незадолго до того, как она бросила его и когда он был уже почти уверен, что она ему изменяет. Четыре раза её день рождения праздновался у него в доме. Он всегда задолго ждал этого дня, потому что его подарки вызывали некоторое подобие благодарности, слабую попытку нежности с её стороны. Правда, за исключением того последнего дня её рождения, когда он впал в искушение и зашёл слишком далеко в своей святости. И он постарался отогнать это воспоминание. Память покрывает трупы поступков ворохом мёртвых листьев, из-под которых они уже только смутно тревожат наши чувства. И внезапно он подумал: «Я мог бы послать ей подарок в день её рождения. В конце концов мы же христиане. А что если я... что если бы мы снова соединились?» И, сидя в кресле на весах, он глубоко вздохнул. Аннет! Да, но между ним и Аннет — неизбежность этого проклятого бракоразводного процесса. И как это все устроить?

«Мужчина всегда может этого добиться, если возьмёт вину на себя», сказал Джолион.

Но зачем ему брать на себя весь этот позор и рисковать всей своей карьерой незыблемого столпа закона? Это несправедливо! Это донкихотство! За все эти двенадцать лет, с тех пор как они разошлись, он не предпринимал никаких шагов, чтобы обрести свою свободу, а теперь уже невозможно выставить в качестве основания для развода её поведение с Босини. Раз он тогда ничего не сделал для того, чтобы разойтись с нею, значит он примирился с этим, хотя бы он и представил теперь какие-нибудь улики, что, впрочем, вряд ли возможно. К тому же его гордость не позволяла ему воспользоваться этим старым инцидентом, он слишком много выстрадал из-за него. Нет! Ничего, кроме нового адюльтера с её стороны, но она это отрицает, и он... он почти верит ей. Петля какая-то! Ну просто петля!

Сомс поднялся с глубокого сиденья красного бархатного кресла с таким чувством, словно у него все свело внутри. Ни за что не уснёшь с таким ощущением! И, надев снова пальто и шляпу, он вышел на улицу и зашагал к центру. На Трафальгар-сквер он заметил какое-то странное движение, какой-то шум, несшийся ему навстречу со Стрэнда. Это оказалась орава газетчиков, которые выкрикивали что-то так громко, что нельзя было разобрать ни одного слова. Он остановился, прислушиваясь, один из них подбежал к нему:

— Экстренный выпуск! Ультиматум Кру-угера²⁸! Война объявлена!

Сомс купил газету. Действительно, экстренное сообщение! Первой его мыслью было: «Буры хотят погубить себя». Второй: «Все ли я продал, что нужно? Если забыл, конечно — завтра на бирже будет паника». Он проглотил эту мысль, вызываясь тряхнув головой. Этот ультиматум дерзость — он готов потерять деньги скорей, чем согласиться на него. Им нужен урок, и они его получают. Но чтобы управиться с ними, понадобится не меньше трех месяцев. Там и войск-то нет — правительство, как всегда, прозевало. Черт бы побрал этих газетных крыс! Понадобилось будить всех ночью. Точно нельзя было подождать до утра. И он с беспокойством подумал о своём отце. Газетчики будут орать и у него под окнами. Окликнув кэб, он сел в него и приказал везти себя на Парк-Лейн.

Джемс и Эмили только что поднялись в спальню; и Сомс, сообщив Уормсону новость, уже собирался пройти к ним, но остановился, так как ему внезапно пришло в голову спросить:

— Что вы думаете об этом, Уормсон?

Дворецкий перестал водить мягкой щёткой по цилиндру Сомса, слегка наклонил лицо вперёд и сказал, понизив голос:

— Ну что же, сэр, у них, конечно, нет никаких шансов, но я слышал, что они отличные стрелки. У меня сын в Иннискиллингском полку.

— У вас сын, Уормсон? Да что вы, а я даже не знал, что вы женаты.

— Да, сэр. Я никогда не говорю об этом. Я думаю, что его теперь пошлют туда.

Лёгкое удивление, которое почувствовал Сомс, сделав неожиданное открытие, что ему так мало известно о человеке, которого, как ему казалось, он так хорошо знает, тут же растворилось в другом лёгком удивлении, вызванном другим неожиданным открытием, что война может задеть кого-нибудь лично. Родившись в год Крымской кампании, он стал сознательным человеком к тому времени, когда восстание в Индии уже было подавлено; мелкие войны, которые после этого вела Британская империя²⁹, носили чисто профессиональный характер и нимало не задевали Форсайтов и того, что они представляли в политической жизни страны. Конечно, и эта война не явится исключением. Но он быстро перебрал в уме всех своих родственников. Двое из Хэйменов, он слышал, служат в кавалерии, это приятно, кавалерия — в этом есть что-то благородное; они носят, или это раньше так полагалось, голубые с серебром мундиры и ездят верхом. А Арчибальд, он помнит, как-то однажды вступил в ополченцы, но ему пришлось отказаться от этого из-за отца: Николас тогда поднял такой скандал, что сын попусту время теряет только щеголяет своим мундиром, разрядившись, как павлин. А недавно кто-то говорил, что старший сын молодого Николаса, «очень молодой» Николас, записался в армию добровольцем. «Нет, — думал Сомс, медленно поднимаясь по лестнице, — все это пустяки».

Он остановился на площадке у спальни родителей, раздумывая, стоит ли ему войти и сказать несколько успокоительных слов. Приоткрыв лестничное окно, он прислушался. Гул на Пикадилли — вот все, что было слышно, и с мыслью: «Ну, если эти автомобили расплодятся, это будет несчастье для домовладельцев», он уже собирался пройти выше, в свою комнату, которую для него всегда держали наготове, как вдруг услышал где-то вдалеке хриплый, пронзительный крик газетчика. Так и есть, и сейчас он заорёт около дома! Сомс постучал к матери и вошёл.

²⁸ *Ультиматум Кру-угера!* — 9 октября 1899 г. Трансвааль направил Великобритании ультиматум с требованием третейского суда по вопросу об уит-лендерах (см. прим. к с. 12) и отозвания английских войск с границ республики. Ультиматум был отвергнут, и 11 октября 1899 г. началась англо-бурская война. Восстание в Индии. — Имеется в виду восстание сипаев в Индии против английского господства в 1857—1859 гг.

²⁹ *...мелкие войны, которые... вела Британская империя...* — Имеется в виду целый ряд колониальных войн, особенно характерных для экспансии британского империализма в 60—80-х гг. XIX в.; эти войны велись так называемыми профессиональными войсками, без объявления мобилизации.

Отец сидел на постели, наострив уши, выглядывавшие из-под седых волос, которые Эмили всегда так искусно подстригала. Он сидел румяный и необыкновенно чистый, между белой простыней и подушкой, из которой, как два острия, торчали его высокие, худые плечи, обтянутые ночной сорочкой. Только одни глаза его, серые, недоверчивые, под морщинистыми веками, перебежали от окна к Эмили, которая ходила в капоте по комнате, нажимая на резиновый шар, прикрепленный к флакону. В комнате слабо пахло одеколоном, которым она прыскала.

— Все благополучно! — сказал Сомс. — Это не пожар. Буры объявили войну — вот и все.

Эмили остановилась с пульверизатором в руке.

— О! — только и сказала она и посмотрела на Джемса.

Сомс тоже смотрел на отца. Старик принял это известие не так, как они ожидали: казалось, его захватила какая-то неведомая им мысль.

— Гм! — внезапно пробормотал он. — Я уж не доживу и не увижу конца этого.

— Глупости, Джемс! К рождеству все кончится.

— Что ты понимаешь в этом? — сердито возразил Джемс. — Приятный сюрприз, нечего сказать, да ещё в такой поздний час. — Он погрузился в молчание, а жена и сын точно замороженные ждали, что вот он сейчас скажет: «Не знаю, ничего не могу сказать, я знал, чем все это кончится». Но он ничего не говорил. Серые глаза его блуждали, по-видимому не замечая никого в комнате. Затем под простыней произошло какое-то движение, и внезапно колени его высоко поднялись. — Им нужно послать туда Робертса³⁰. Все это Гладстон заварил со своей Маджубой.

Оба слушателя заметили что-то не совсем обычное в его голосе, что-то похожее на настоящее, живое волнение. Как будто он говорил: «Я никогда больше не увижу мою родину мирной и спокойной. Я умру, не дождавшись конца, прежде чем узнаю, что мы победили». И хотя оба они чувствовали, что Джемсу нельзя позволять волноваться, они были растроганы. Сомс подошёл к кровати и погладил отца по руке, которая лежала поверх простыни, длинная, вся покрытая сетью жил.

— Попомните мои слова! — сказал Джемс. — Консоли! теперь упадут до номинала, а у Вэла хватит ума пойти записаться добровольцем.

— Да будет тебе. Джемс! — воскликнула Эмили. — Ты так говоришь, будто и правда есть какая-то опасность!

Её ровный голос на время успокоил Джемса.

— Да, да, — пробормотал он, — я вам говорил, чем все это кончится. Ну, не знаю, конечно, — мне никогда ничего не рассказывают. Ты сегодня здесь ночуешь, мой мальчик?

Кризис миновал, он теперь придёт в нормальное для него состояние тихой тревоги; и Сомс, уверив отца, что он останется ночевать здесь, пожал ему руку и направился в свою комнату.

На следующий день у Тимоти собралось столько гостей, сколько не собиралось уже много лет. В дни такого рода национальных потрясений, правда, не пойти туда было почти невозможно. Не то чтобы в событиях чувствовалась какая-нибудь опасность, нет, её было ровно столько, чтобы ощущать необходимость уверять друг друга, что никакой опасности нет.

Николас явился спозаранку. Он видел Сомса накануне вечером — Сомс говорил, что войны не избежать. Этот старикашка Крюгер просто спятил, ему ведь семьдесят пять лет, по меньшей мере (Николасу было восемьдесят два). Что говорит Тимоти? У него ведь тогда что-то вроде удара было, после Маджубы. Захватчики эти буры. Темноволосая Фрэнси, явившаяся вслед за ним, сейчас же, из свойственного ей духа противоречия, подобающего

³⁰ Роберте Фредерик Слей (1832—1914) —английский фельдмаршал, выдвинувшийся в колониальных войнах британского империализма, главнокомандующий английскими войсками в англо-бурскую войну с декабря 1899 г.

независимо мыслящей дочери Роджера, подхватила:

— Сучок в чужом глазу, дядя Николае! А уитлендеры³¹ разве не почище будут? — новое выражение, заимствованное ею, как говорили, у её брата Джорджа.

Тётя Джули нашла, что Фрэнси не следует говорить такие вещи. Сын дорогой миссис Мак-Эндер Чарли Мак-Эндер — уитлендер, а уж его никак нельзя назвать захватчиком. На это Фрэнси отпустила одно из своих «словечек», не совсем приличных, но бывших у неё в большом ходу:

— У него отец шотландец, а мать гадюка.

Тётя Джули заткнула уши, но слишком поздно, а тётя Эстер улыбнулась; что же касается дяди Николаев — он надулся: остроты, исходившие не от него, он недолюбливал. Как раз в эту минуту вошла Мэрией Туитимен и немедленно следом за нею молодой Николае. Увидев сына, Николае поднялся.

— Ну, мне пора, — сказал он. — Вот Ник вам расскажет, чем кончатся скачки.

И, отпустив эту остроту по адресу своего старшего сына, который, будучи оплотом всяческих гарантий и директором страхового общества, был привержен к спорту не более, чем его отец, он вышел. Милый Николас! Какие же это скачки! Или это одна из его шуточек? Удивительный человек, и как сохранился! Сколько кусков сахара дорогой Мэрией? А как поживают Джайлс и Джесс? Тётя Джули выразила опасение, что теперь королевской кавалерии будет много хлопот, нужно будет охранять побережье, хотя, конечно, у буров нет кораблей. Но ведь никто не знает, на что окажутся способны французы, особенно после этой ужасной истории с Фашодой³², которая так напугала Тимоти, что он потом несколько месяцев не покупал никаких бумаг. Но как вам нравится эта ужасная неблагодарность буров после всего, что для них сделано: посадить д-ра Джемсона³³ в тюрьму — миссис Мак-Эндер говорила, он такой симпатичный. А сэра Альфреда Мильнера³⁴ послали для переговоров с ними — ну, это такой умница. И что им только нужно, понять нельзя!

Но в этот самый момент произошла одна из тех сенсаций, которые так ценились у Тимоти и которым великие события подчас способствуют.

— Мисс Джун Форсайт.

Тётя Джули и тётя Эстер — обе сразу поднялись со своих мест, дрожа от давно заглохшей обиды, захлёбываясь от переполнявшего их чувства старой привязанности и гордости, что вот она всё-таки возвратилась, блудная дочь! Какой сюрприз! Милочка Джун, после стольких лет! Да как она хорошо выглядит! Ни капельки не изменилась! Они чуть-чуть было не спросили её: «А как здоровье дорогого дедушки?» — забыв в этот ошеломляющий момент, что бедный дорогой Джолион вот уж семь лет, как лежит в могиле.

Всегда самая смелая и прямодушная из всех Форсайтов, с решительным подбородком, живыми глазами и огненной копной волос, маленькая, хрупкая Джун села на позолоченный стул с бисерным сиденьем, словно вовсе и не проходило этих десяти лет с тех пор, как она

³¹ *Уитлендеры* — колонисты в Южной Африке, большей частью англичане, нахлынувшие туда после открытия золотых россыпей в Трансваале в 1884 г. и добивавшиеся уравнивания в правах с трансваальскими гражданами.

³² *...после этой ужасной истории с Фашодой...* — Речь идёт об англо-французском конфликте на почве столкновения колониальных интересов этих стран у местечка Фашода (Англо-Египетский Судан) в 1898 г.

³³ *Д-р Джемсон*. — Имеется в виду так называемый «набег Джемсона», служащего Британской Южно-Африканской компании, пытавшегося со своим отрядом соединиться с уитлендерами (см. прим. к с. 12), готовившими проанглийское восстание в Трансваале; отряд был разбит, а сам Джемсон взят в плен бурами (1896 г.).

³⁴ *Альфред Мильнер (1854—1925)* — британский верховный комиссар в Южной Африке и губернатор Капской колонии, английский делегат на неудавшихся переговорах с бурами в 1899 г.

была здесь, десяти лет странствований, независимости и служения «несчастненьким». Последние её протеежки были все исключительно скульпторы, художники, гравёры, отчего её раздражение на Форсайтов и их безнадежно антихудожественные вкусы только усилилось. Правду сказать, она почти перестала верить в то, что родственники её действительно существуют, и теперь оглядывалась кругом с какой-то вызывающей непосредственностью, чем приводила гостей в явное смущение. Она совсем не ожидала увидеть здесь кого-нибудь, кроме своих бедных старушек. А почему ей пришлось в голову навестить их, она и сама не совсем понимала, просто по дороге с Оксфорд-стрит в студию на Лэтимер-Род она вдруг с угрызением совести вспомнила о них, как о двух «несчастненьких», которых она совсем забросила.

Тётя Джули первая нарушала молчание:

— Мы сейчас только что говорили, дорогая, что за ужас с этими бурами. И какой наглый старикашка этот Крюгер!

— Наглый? — сказала Джун. — А я считаю, что он совершенно прав. С какой стати мы вмешиваемся в их дела? Если он выставит всех этих гнусных уитлендеров, так им и надо. Они только наживаются там.

Молчание, последовавшее за этой новой сенсацией, нарушила Фрэнси.

— Как? Вы, значит, бурофилка? (Несомненно, это выражение применялось впервые.)

— Почему, собственно, мы не можем оставить их в покое? — воскликнула Джун, и в ту же минуту горничная, открыв дверь, сказала:

— Мистер Сомс Форсайт.

Сенсация за сенсацией! Приветствия отошли на задний план, так как все с любопытством выжидали, как состоится встреча между Сомсом и Джун; существовали коварные предположения, если не твёрдая уверенность, что они не встречались со времени этой прискорбной истории её жениха Босини с женой Сомса. Все видели, как они едва пожали друг другу руку, покосившись друг на друга одним уголком глаза. Тётя Джули сейчас же пришла на выручку.

— Милочка Джун такая оригиналка. Вообрази, Сомс, она считает, что буров не за что осуждать.

— Они хотят только сохранить свою независимость, — сказала Джун. Почему им этого нельзя?

— Хотя бы потому, — ответил Сомс со своей несколько кривой усмешкой, — что они согласились на наш суверенитет.

— Суверенитет! — повторила Джун сердито. — Вряд ли бы нам понравился чей-нибудь суверенитет.

— Они получили при этом некоторые материальные выгоды; договор остаётся договором.

— Договоры не всегда бывают справедливы, — вспыхнула Джун, — и если они несправедливы, их нужно разрывать. Буры гораздо слабее нас, Мы могли бы позволить себе быть более великодушными.

Сомс фыркнул.

— Ну, это уж пустая чувствительность, — сказал он.

Тётя Эстер, которая больше всего боялась всяких споров, повернулась к ним и безапелляционно заявила:

— Какая чудная погода держится для октября месяца.

Но отвлечь Джун было не так-то легко.

— Не знаю, почему нужно издеваться над чувствами. По-моему, это лучшее, что есть в мире.

Она вызывающе посмотрела вокруг, и тёте Джули снова пришлось вмешаться:

— Ты, Сомс, за последнее время покупал новые картины?

Её неподражаемая способность попадать на неудачные темы не изменила ей и теперь. Сомс вспыхнул. Назвать картины, которые он недавно приобрёл, значило подвергнуться

граду насмешек. Всем было известно пристрастие Джун к неоперившимся гениям и её презрение к «знаменитостям», если только не она способствовала их успеху.

— Кое-что купил, — пробормотал он.

Но выражение лица Джун изменилось. Форсайт в ней почуял некоторые возможности: почему бы Сомсу не купить две-три картины Эрика Коббли — её последнего «несчастненького»? И она тотчас же повела атаку, Знает ли Сомс его работы? Они совершенно изумительны. Это восходящая звезда.

О да, Сомс знает его работы. По его мнению, это мазня, которая никогда не будет иметь успеха у публики.

Джун вспылила.

— Конечно, не будет, это самое последнее, чего может желать художник. Я думала, вы ценитель искусства, а не оценщик с аукциона...

— Ну конечно Сомс ценитель, — поспешно вмешалась тётя Джули, — у него замечательный вкус, он может заранее предсказать, что будет иметь успех.

— О! — простонала Джун и вскочила с вышитого бисером стула — Я ненавижу это мерило успеха. Неужели люди не могут покупать вещи просто потому, что они им нравятся?

— Вы хотите сказать, потому что они вам нравятся? — заметила Фрэнси.

В последовавшей за этим паузе всем было слышно, как молодой Николае мягко сказал, что Вайолет (его четвёртая) берет уроки пастели; он, правда, не знает, не уверен, есть ли в этом смысл.

— До свидания, тётечка, — сказала Джун, — мне пора идти.

И, поцеловав тётку, она вызывающе окинула взглядом гостиную, ещё раз сказала: «До свидания» — и вышла. Казалось, ветер пронёсся по комнате следом за нею, словно все сразу вздохнули.

Но, прежде чем кто-нибудь успел вымолвить слово, произошла третья сенсация:

— Мистер Джемс Форсайт.

Джемс вошёл, слегка опираясь на палку, закутанный в меховую шубу, которая придавала ему неестественную полноту.

Все встали. Джемс был такой старый, и он не появлялся у Тимоти уже около двух лет.

— Здесь жарко, — сказал он.

Сомс помог ему снять шубу и невольно восхитился тем необыкновенным лоском, каким отличалась вся фигура отца. Джемс сел — сплошные колени" локти, сюртук и длинные седые бакенбарды.

— Что это значит? — спросил он.

Хотя в его словах не было никакого явного смысла, все поняли, что он подразумевает Джун. Его глаза испытующе скользнули по лицу сына.

— Я решил приехать и сам все узнать. Что они ответили Крюгеру?

Сомс развернул вечернюю газету и прочёл заголовок: «Правительство будет действовать без промедления — война началась».

— Ах! — сказал Джемс. — Я боялся, что они отступятся, увильнут, как тогда Гладстон. На этот раз мы разделаемся с этими людишками.

Все смотрели на него поражённые. Джемс! Вечно суетливый, нервный, беспокойный Джемс с его постоянным: "Я вам говорил, чем это кончится!", с его пессимизмом и осторожностью в делах! Было что-то зловещее в такой решительности этого самого старого из всех живых Форсайтов.

— Где Тимоти? — спросил Джемс. — Ему следовало бы поинтересоваться этим.

Тётя Джули сказала, что она не знает. Тимоти сегодня за завтраком был что-то неразговорчив. Тётя Эстер встала и тихонько вышла из комнаты, а Фрэнси не без лукавства заметила:

— Буры — крепкий орешек, дядя Джемс, сразу не раскусить.

— Гм! — сказал Джемс. — Откуда у вас такие сведения? Мне никто ничего не рассказывает.

Молодой Николае своим кротким голосом сказал, что Ник (его старший) проходит теперь регулярный курс военного обучения.

— А! — пробормотал Джемс и уставился в одну точку — мысли его перенеслись на Вэла. — Ему надо думать о матери, — сказал он, — некогда ему заниматься военным обучением и всем этим, с таким отцом.

Это загадочное изречение повергло всех в полное молчание, пока он снова не заговорил.

— А Джун зачем приходила? — и его глаза подозрительно обвели всех присутствующих по очереди. — Её отец теперь богатый человек.

Разговор перешёл на Джолиона — когда кто его видел последний раз. Предполагали, что он ездит за границу и что у него теперь обширное знакомство с тех пор, как умерла его жена; его акварели имеют успех, и вообще он теперь процветает. Фрэнси даже откровенно заявила:

— Я бы хотела его повидать; он был очень славный.

Тётя Джули вспомнила, как он однажды заснул на диване, где сейчас сидит Джемс. Он всегда был очень мил. Не правда ли? Как находит Сомс?

Зная, что Джолион попечитель Ирэн, все почувствовали рискованность этого вопроса и с интересом уста" вились на Сомса. Слабая краска выступила у него на щеках.

— Он поседел, — сказал он.

Да неужели? Сомс видел его? Сомс кивнул, и краска сбежала с его щёк.

Джемс вдруг сказал:

— Ну, я не знаю, не могу ничего сказать.

Это так точно выражало всеобщее ощущение, будто за всем что-то кроется, что никто не возразил. Но в этот момент вернулась тётя Эстер.

— Тимоти, — сказала она тихим голосом, — Тимоти купил карту, и он вколол... он вколол в неё три флажка.

Тимоти вколол... Вздых пронёсся по гостиной. Ну, если Тимоти уже вколол три флажка — ого! Это показывает, на что способна нация, когда её терпение истощится. Теперь война все равно что выиграна.

XIII. ДЖОЛИОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ, ЧТО С НИМ ПРОИСХОДИТ

Джолион остановился у окна в бывшей детской Холли, которая теперь была превращена в мастерскую не потому, что она выходила на север, а потому, что из него открывался широкий вид до самого Эпсомского ипподрома. Он перешёл к боковому окну, выходящему во двор с конюшнями, и свистнул Балтазару, который вечно лежал под башенкой с часами. Старый пёс посмотрел вверх и помахал хвостом. «Бедный старикан!» — подумал Джолион, переходя опять к другому окну.

Он чувствовал себя как-то тревожно всю эту неделю с того времени, как ему пришлось приступить к своим обязанностям попечителя: его всегда чуткая совесть, была беспокойна, чувство сострадания, которое у него просыпалось легко, было задето, а ко всему этому примешивалось ещё одно странное чувство, словно его ощущение красоты обрело некое определённое воплощение. Осень уже добралась до старого дуба, листья его коричневели. Солнце в это лето светило жарко и щедро. Что деревья — то и жизни людей! «Я могу долго прожить, — думал Джолион. — Я покрываюсь плесенью от отсутствия тепла. Если не смогу работать, уеду в Париж». Но воспоминание о Париже не доставило ему удовольствия. К тому же, как он может уехать? Он должен быть здесь и ждать, что предпримет Сомс. «Я её попечитель. Я не могу оставить её беззащитной», — думал он. Ему казалось удивительно странным, что он до сих пор так ясно видит Ирэн в её маленькой гостиной, где он был только два раза. В её красоте какая-то щемящая гармония! Ни один самый точный портрет не передаст её верно; сущность её... да, в чём её сущность? Стук копыт снова привлёк его к боковому окну. Холли въезжала во двор на своей длиннохвостой лошадке. Она взглянула

наверх, и он помахал ей. Она что-то притихла последнее время; старше становится, думал он, начинает мечтать о своём будущем, как все они — малыши! О черт, не угонишься за временем! И, чувствуя, что терять эту быстро бегущую ценность непростительно, он взялся за кисть. Но это оказалось бесполезно: он не мог сосредоточиться, к тому же начинало смеркаться. «Поеду-ка я в город», — подумал он. В гостиной его встретила горничная.

— К вам дама, сэр, миссис Эрон.

Вот удивительное совпадение! Войдя в картинную галерею, как её до сих пор называли, он увидел Ирэн, стоявшую у окна.

Она подошла к нему со словами:

— Я прошла там, где посторонним ходить воспрещается, — рощей и садом. Я всегда ходила этой дорогой, когда навещала дядю Джолиона.

— Здесь не может быть мест, где воспрещалось бы ходить вам, — ответил Джолион. — История этого не допускает. Я только что думал о вас.

Ирэн улыбнулась, и словно что-то засветилось в ней: это была не просто одухотворённость, нет, нечто более ясное, полное, пленительное.

— История! — сказала она. — Я когда-то сказала дяде Джолиону, что любовь длится вечно. Увы, это не так. Только отвращение вечно.

Джолион смотрел на неё в недоумении. Неужели она наконец похоронила своего Боснии?

— Да, — сказал он, — отвращение глубже и любви и ненависти, потому что это естественный продукт наших нервов, а их мы не можем изменить.

— Я пришла сообщить вам, что у меня был Сомс. Он сказал одну вещь, которая меня напугала. Он сказал: «Вы все ещё моя жена».

— Что! — воскликнул Джолион. — Вам нельзя жить одной.

И он продолжал смотреть на неё не отрываясь, подавленный мыслью, что там, где Красота, всегда что-нибудь да нечисто и что несомненно поэтому многие и считают её греховной.

— Что ещё?

— Он просил позволения пожать мне руку.

— И вы позволили?

— Да. Я уверена, что, когда он пришёл, он этого не хотел, но он стал другим, пока был у меня.

— Ах, нельзя вам продолжать так жить одной.

— У меня нет ни одной женщины, которую я могла бы позвать к себе; и не могу же я взять любовника по заказу, кузен Джолион.

— Избави боже! — сказал Джолион. — Но что за проклятое положение! Не останетесь ли вы с нами пообедать? Нет? Ну, тогда позвольте, я вас провожу в город. Я собирался сам ехать вечером.

— Это правда?

— Правда. Я буду готов через пять минут.

По дороге на станцию они разговаривали о живописи, о музыке, обсуждали манеру англичан и французов и их различное отношение к искусству. Но на Джолиона пёстрая листва изгороди, окаймлявшей длинную прямую просеку, щебетание зябликов, пронесившихся мимо них, запах подожжённой сорной травы, поворот шеи Ирэн, очарование этих тёмных глаз, время от времени взглядывавших на него, обаяние всей её фигуры производили больше впечатления, чем слова, которыми они обменивались. Бессознательно он держался прямее, и походка его делалась более упругой.

В поезде он устроил ей нечто вроде допроса, заставил её подробно рассказать, как она проводит дни.

Шьёт себе платья, делает покупки, навещает больных в лечебнице, играет на рояле, переводит с французского. У неё постоянная работа для одного издательства, которая немножко прибавляет к её доходам. Она редко выходит по вечерам.

— Я так долго жила одна, что мне это уже кажется естественным. Я думаю, что я нелюдима по натуре.

— Не верю, — сказал Джолион. — У, вас много знакомых?

— Очень мало.

На вокзале Ватерлоо они взяли экипаж, и он довёз её до дверей её дома. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку и сказал:

— Знаете, вы всегда можете приехать к нам в РобинХилл, вы должны сообщать мне все, что бы ни случилось. До свидания, Ирэн.

— До свидания, — мягко сказала она.

Усаживаясь в кэб, Джолион думал: почему он не пригласил её пообедать с ним, пойти в театр. Какая у неё одинокая, беспросветная, безысходная жизнь!

— Клуб «Всякая всячина», — сказал он в окошечко кучеру.

Когда экипаж свернул на набережную, какой-то господин в цилиндре и в пальто быстро

прошёл мимо, держась так близко к стене, что, казалось, он задевал её.

«Ей-богу, — подумал Джолион, — это Сомс! Что ему здесь надо?» И, остановив экипаж за углом, он вышел и вернулся к тому месту, откуда был виден её подъезд. Сомс остановился перед домом, он смотрел на свет в её окнах. «Если он войдёт, как мне поступить? — думал Джолион. — Что я имею право сделать? Ведь то, что он сказал, в сущности правда. Она всё ещё его жена, и у неё нет никакой защиты против его посягательств. Ну, если он войдёт, — решил он, — я войду за ним». И он стал подвигаться к дому. Сомс сделал ещё несколько шагов по тротуару; он уже был у самого подъезда. Но внезапно он остановился, круто повернулся на каблуках и пошёл обратно к реке. «Как быть? — подумал Джолион. — Через десять шагов он меня увидит». И, повернув, он быстро зашагал обратно. Шаги его кузена раздавались близко позади. Но он успел дойти до своего экипажа и сесть в него раньше, чем Сомс завернул за угол.

— Поезжайте! — крикнул он в окошко.

Фигура Сомса выросла рядом.

— Кэб! — окликнул он. — Занят? Алло!

— Алло! — ответил Джолион. — Вы?

На лице его кузена, казавшемся белым в свете фонаря, промелькнуло подозрение; это заставило Джолиона решиться.

— Я могу вас подвезти, — сказал он, — если вам в западную часть города.

— Благодарю, — ответил Сомс и сел в экипаж.

— Я был у Ирэн, — сказал Джолион, когда кэб тронулся.

— Вот как!

— Вы у неё были вчера сами, насколько я понимаю.

— Был, — сказал Сомс. — Она моя жена, как вам известно.

Этот тон, эта насмешливо приподнятая губа вызвали у Джолиона внезапную злобу; но он подавил её.

— Вам лучше знать, — сказал он, — но если вы хотите развода, вряд ли разумно бывать у неё, вы не находите? Нельзя быть и охотником и дичью сразу.

— Благодарю за предостережение, — сказал Сомс, — вы очень добры, но я ещё не решил окончательно.

— Она-то решила, — сказал Джолион, глядя прямо перед собой. — Нельзя так просто вернуться к тому, что было двенадцать лет назад.

— Это мы ещё посмотрим.

— Послушайте! — сказал Джолион. — Она в невыносимом положении, и я единственный человек, который на законном основании имеет какое-то право входить в её дела.

— За исключением меня, — сказал Сомс, — который тоже в невыносимом положении. Её положение — это то, что она сама для себя сделала; моё это то, что она для меня

устроила. Я совсем не уверен, что в её же собственных интересах я не предложу ей вернуться ко мне.

— Что! — воскликнул Джолион, и дрожь прошла по всему его телу.

— Не понимаю, что вы хотите сказать вашим «что», — холодно проговорил Сомс. — Ваше право входить в её дела ограничивается выплатой ей процентов, и я просил бы вас не забывать этого. Если я в своё время предпочёл не позорить её разводом" я тем самым сохранил на неё свои права и повторяю: я совсем не уверен, что не пожелаю воспользоваться ими.

— Боже мой! — воскликнул Джолион, и у него вырвался короткий смешок.

— Да, — сказал Сомс, и что-то мертвенное было в его голосе. — Я не забыл прозвища, которым меня почтил ваш отец. «Собственник»! Не зря же я ношу такое прозвище.

— Ну, это уж какая-то фантастика, — пробормотал Джолион.

Не может же этот человек заставить свою жену насильно жить с ним. Это время как-никак прошло! И он покосился на Сомса с невольной мыслью: «Неужели бывают такие люди?» Но Сомс выглядел вполне реальным; он сидел прямой и даже почти элегантный: коротко подстриженные усы на бледном лице, зубы, поблёскивающие под верхней губой, приподнятой в неподвижной улыбке. Наступило долгое молчание, и Джолион думал: «Вместо того чтобы помочь ей, я только напортил». Внезапно Сомс сказал:

— Это для неё во многих отношениях лучшее, что может случиться.

При этих словах Джолион почувствовал такое смятение, что едва мог заставить себя усидеть в экипаже. Казалось, его втиснули в ящик с сотнями тысяч его соотечественников, и тут же вместе с ними втиснулось то, что было их неотъемлемой, национальной чертой, то, что всегда претило ему, нечто, как он знал, чрезвычайно естественное и в то же время казавшееся ему непостижимым: эта их незыблемая вера в контракты и нерушимые права, их самодовольное сознание собственной добродетели в неукоснительном использовании этих прав. Здесь, рядом с ним, в кэбе, находилось само Воплощение, так сказать овеществлённая сумма инстинкта собственности — его родственник к тому же! Это было чудовищно, невыносимо! «Но здесь не только это! — подумал он с чувством какого-то отвращения. — Говорят, собака возвращается к своей блевотине. Встреча с Ирэн что-то разбудила в нём. Красота! Дьявольское наваждение!»

— Так вот, — заговорил Сомс, — как я уже вам сказал, я ещё не решил окончательно. Я был бы вам весьма признателен, если бы вы потрудились оставить её в покое.

Джолион сжал губы; он, всегда ненавидевший ссоры, сейчас почти радовался возможности поссориться.

— Я вам не могу этого обещать, — коротко ответил он.

— Отлично, — сказал Сомс, — в таком случае мы знаем, как нам быть. Я сойду здесь. — И, остановив экипаж, он вышел, не попрощавшись ни словом, ни жестом. Джолион поехал дальше в свой клуб.

На улицах выкрикивали первые сообщения с театра войны, но он не слушал. Что сделать, чтобы помочь ей? Если бы отец был жив! Вот кто мог бы многое сделать! Но почему же он не может сделать того, что сделал бы отец? Разве он не достаточно стар — пятьдесят стукнуло, дважды женат, у него уже взрослые дочери и сын. «Чудно, — думал он. — Если бы она была дурнушка, я бы не задумывался над этим. Красота — это наваждение для того, кто восприимчив к ней». И он вошёл в читальню клуба совсем расстроенный. В этой самой комнате он и Босини беседовали когда-то летним вечером; он хорошо помнил даже и теперь осторожную, замаскированную лекцию, которую он прочёл тогда молодому человеку в интересах Джун, и симптомы форсайтизма, которые он тогда пытался установить, и как он тогда недоумевал и старался представить себе, что это за женщина, против которой он предостерегает Босини. А теперь! Он чуть ли не сам нуждается в предостережении. «Странно, — подумал он, — вот уж действительно чертовски странно!»

XIV. СОМСУ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ

Насколько легче сказать: «В таком случае мы знаем, как нам быть», чем разуместь нечто определённое под этими словами. Произнося их. Сомс только дал волю своей инстинктивной ревнивой ярости. Он вышел из экипажа, преисполненный глухой злобы на себя за то, что не повидался с Ирэн, на Джолиона — за то, что тот виделся с ней, и ещё на то, что сам он, в сущности, не может решить, чего он хочет.

Он вышел, потому что не в состоянии был больше оставаться рядом со своим кузеном, и теперь, быстро шагая по улице, он думал: «Ни одному слову этого Джолиона нельзя верить. Был парией, и останется парией! У этого субъекта врождённое тяготение... тяготение к разврату». (Он постеснялся употребить слово «грех», потому что оно казалось слишком мелодраматичным для Форсайта.)

Неопределённость желаний была для него новым чувством. Он был как ребёнок в нерешительности между обещанной новой игрушкой и старой, которую у него отняли, и он сам удивлялся на себя. Ещё в прошлое воскресенье его желания казались так просты: свобода и Аннет. «Пойду-ка я к ним обедать», — подумал он. Может быть, когда он увидит её, эта двойственность его стремлений исчезнет, беспокойство уляжется и в голове прояснится.

Ресторан был полон, много иностранцев и всякой публики, которую Сомс по виду отнёс к литераторам или артистам. Обрывки разговоров долетали до него сквозь звон стаканов и тарелок. Он ясно слышал — сочувствовали бурам, ругали английское правительство. «Неважная у них клиентура», — подумал он. Он угрюмо пообедал, не давая знать о своём присутствии, выпил кофе и, кончив, наконец направился в святилище мадам Ламот, весьма заботясь о том, чтобы пройти незамеченным. Как он и думал, они ужинали, и их ужин был настолько привлекательнее съеденного им обеда, что он почувствовал лёгкую досаду, а они встретили его с таким преувеличенно искренним удивлением, что он с внезапным подозрением подумал: «Наверно, они с самого начала знали, что я здесь». Он украдкой испытующе посмотрел на Аннет. Такая хорошенькая и, казалось бы, такая бесхитростная; может ли быть, что сна ловит его? Он повернулся к мадам Ламот и сказал:

— Я здесь обедал.

В самом деле? Если бы она только знала! Ведь есть блюда, которые она особенно могла бы ему порекомендовать; как жаль! Сомс окончательно утвердился в своих подозрениях. «Надо быть настороже», — мрачно подумал он.

— Ещё чашечку кофе, мсье, совершенно особенного приготовления, рюмочку ликёра, grand Marnier? — и мадам Ламот удалилась распорядиться, чтобы подали эти деликатесы.

Оставшись наедине с Аннет, Сомс сказал с лёгкой непроницаемой усмешкой:

— Ну-с, Аннет...

Девушка вспыхнула. Но то, что в прошлое воскресенье защекотало бы ему нервы, теперь вызвало в нём чувство, очень похожее на то, что испытывает хозяин собаки, когда, его пёс смотрит на него, виляя хвостом. У него было забавное ощущение своей власти, точно он мог сказать ей: «Подойдите, поцелуйте меня», — и она бы подошла. И однако, как странно: здесь же в комнате, казалось, он видел другое лицо, другую фигуру, и чувства его волновала... кто же, та или эта? Он кивнул головой в сторону ресторана и сказал:

— Подозрительная у вас там публика. Вам нравится эта жизнь?

Аннет подняла на него глаза, посмотрела секунду, потом опустила и принялась играть вилкой.

— Нет, — сказала она, — не нравится.

«Она будет моя, — подумал Сомс, — если я захочу. Но хочу ли я её? Она изящна, хороша, очень хороша, свеженькая, и у неё, несомненно, есть вкус». Взор его блуждал по маленькой комнатке, но мысленный его взор блуждал далеко: полусумрак, серебристые стены, рояль светлого дерева, женщина, прижавшаяся к роялю, словно отшатнувшись от него, Сомса, женщина с белыми плечами, которые ему так знакомы, с тёмными глазами, которые он так стремился узнать, и с волосами, как матовый, тёмный янтарь. И как бывает с

художником, который стремится к недостижимому и томится неутолимой жаждой, так в нём в эту минуту проснулась жажда прежней страсти, которую он никогда не мог утолить.

— Ну что ж, — сказал он спокойно, — вы молоды, у вас все впереди.

Аннет покачала головой.

— Мне иногда кажется, что у меня впереди нет ничего, кроме тяжёлой работы. Я не так влюблена в работу, как мама.

— Ваша матушка — чудо, — сказал Сомс чуть-чуть насмешливо. — В её доме нет места неудаче.

Аннет вздохнула.

— Как, должно быть, чудесно быть богатым.

— О! Вы когда-нибудь будете богатой, — сказал Сомс все тем же слегка насмешливым тоном, — не беспокойтесь!

Аннет передёрнула плечиками.

— Мсье очень добр, — и, надув губки, она сунула в рот шоколадку.

«Да, дорогая моя, — подумал Сомс, — очень хорошенькие губки, ничего не скажешь».

Мадам Ламот, явившись с кофе и ликёром, положила конец этому диалогу. Сомс посидел недолго.

Идя по улицам Сохо, который всегда вызывал у него чувство, что здесь незаконно присвоено чужое добро, он предавался размышлениям. Если бы только Ирэн подарила ему сына, он бы теперь не гонялся за женщинами! Эта мысль выскочила из самого сокровенного тайника, из самых недр его сознания. Сына — то, на что можно было бы возложить надежды, ради чего стоило бы жить в старости, кому можно было бы передать себя, кто был бы продолжением его самого. «Если бы у меня был сын, — думал он с горечью, — законный сын, я мог бы примириться с той жизнью, какую я вёл до сих пор. В конце концов все женщины одинаковы, что одна, что другая». Но, пройдя несколько шагов, он покачал головой. Нет! Совсем не одно и то же, что одна, что другая. Сколько раз он пытался убедить себя в этом в прежние дни своей неудачной семейной жизни, и всегда тщетно. Тщетно и теперь. Он старается внушить себе, что Аннет — все равно что та, другая, но нет, это не так, у неё нет очарования той прежней страсти. «И ведь Ирэн моя жена, — думал он, — моя законная жена. Я ничего не делал, чтобы оттолкнуть её от себя. Почему бы ей не вернуться ко мне? Это было бы справедливо и законно. И без всякого скандала и хлопот. Ей это неприятно. Но почему? Я ведь не прокажённый, и она... она уже больше ни в кого не влюблена!» Зачем ему нужно прибегать ко всяким уловкам, подвергать себя гнусным унижениям и неизвестным последствиям бракоразводного процесса, когда вот она, будто пустой дом, словно только и дожидается, чтобы он снова завладел ею и вступил в свои законные права. Такому замкнутому человеку, как Сомс, представлялось необычайно соблазнительным спокойно вступить во владение своей собственностью, избежав всякой шумихи. «Нет, — думал он, — я хорошо сделал, что повидал эту девушку. Я знаю теперь, чего я хочу сильнее. Если только Ирэн вернётся ко мне, я буду так нетребователен и предупредителен, как только она могла бы желать; пусть живёт собственной жизнью; но может быть... может быть, она стала бы относиться ко мне хорошо». Клубок сдавил ему горло. Упорный и мрачный, шагая вдоль ограды Грин-парка, он направлялся к дому отца, стараясь наступать на свою тень, бежавшую перед ним в ярком лунном свете.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

Джолли Форсайт как-то в ноябрьский день шёл не торопясь по Хай-стрит в Оксфорде; навстречу ему, также не торопясь, шёл Вэл Дарти. Джолли только что снял свой фланелевый гребной костюм и направлялся в «Сковородку» — клуб, членом которого его недавно

выбрали. Вэл только что снял свой верховой костюм и направлялся прямо в пекло — к букмекеру на Корнмаркет-стрит.

— Алло! — сказал Джолли.

— Алло! — ответил Вэл.

Кузены виделись всего два раза: Джолли, второкурсник, пригласил как-то новичка к завтраку; а ещё они встретились случайно накануне вечером в несколько экзотической обстановке.

На Корнмаркет-стрит, над мастерской портного, обитало одно из тех привилегированных юных созданий, именуемых несовершеннолетними, коим досталось недурное наследство, чьи родители умерли, опекуны далеко, а инстинкты порочны. Девятнадцати лет сей юноша вступил на стезю, привлекательную и непостижимую для простых смертных, для которых и один проигрыш достаточно памятное событие. Уже прославившись тем, что он был единственным в Оксфорде обладателем рулетки, он проматывал свои будущие доходы с умопомрачительной быстротой. Он перекрутил Крума, хотя, будучи натурой сангвинической и субъектом весьма упитанным, не обладал пленительной томностью последнего. Для Вэла получить доступ к рулеточному столу было своего рода крещением, а возвращаться в колледж позже установленного часа через окно с подпиленной решёткой — уже в своём роде посвящением в рыцари. И вот в одну из этих божественных минут, накануне вечером, подняв однажды взгляд от обольстительного зелёного сукна, он увидел сквозь клубы дыма своего кузена, стоявшего напротив. «Rouge gagne, impair, et manque!»³⁵ Больше он его уже не видел...

— Пойдёмте в «Сковородку», выпьем чаю, — сказал Джолли, и они направились в клуб.

Постороннему наблюдателю, увидевшему их вместе, удалось бы, вероятно, заметить неуловимое сходство между этими троюродными братьями третьего поколения Форсайтов: тот же склад лица, хотя серые глаза Джолли были более тёмного цвета, а волосы светлее и волнистее.

— Чаю и булочек с маслом, пожалуйста, — заказал Джолли.

— Попробуйте мои папиросы, — сказал Вал. — Я видел вас вчера вечером. Как дела?

— Я не играл.

— А я выиграл пятнадцать фунтов.

Хотя Джолли и очень хотелось повторить шутовское замечание об азартной игре, которое как-то обронил отец: «Когда тебя обстают — жалко себя, когда сам оставишь — жалко других», — он ограничился тем, что сказал:

— Мерзкая игра, по-моему; я учился в школе с этим субъектом — он набитый дурак.

— Ну нет, не знаю, — сказал Вэл таким тоном, как если бы он выступал в защиту оскорбляемого божества, — по-моему, он отличный малый.

Некоторое время они молча пускали клубы дыма.

— Вы, кажется, знакомы с моими родными? — сказал Джолли. — Они завтра приедут ко мне.

Вэл слегка покраснел.

— В самом деле?! Слушайте, я могу дать вам совершенно точные указания, которыми вы можете руководствоваться на манчестерском ноябрьском гандикапе.

— Благодарю вас, но я интересуюсь только классическими скачками.

— Там много не выиграешь, — сказал Вэл.

— Я ненавижу букмекеров, — сказал Джолли, — вокруг них такая толкучка и вонь, я просто люблю смотреть на скачки.

— А я люблю подкреплять моё мнение чем-то конкретным, — ответил Вэл.

Джолли улыбнулся; у него была улыбка его отца.

³⁵ «Красное выигрывает, нечет и первая половина!» (фр.) — возглас крупье.

— У меня на этот счёт нет никаких мнений; если я ставлю, я всегда проигрываю.
— Конечно, на первых порах приходится платить за советы, пока не приобретёшь опыта.

— Да, но вообще все сводится к тому, что надуваешь людей.

— Разумеется, или вы их, или они вас — в этом-то и есть азарт.

У Джолли появилось слегка презрительное выражение.

— А что вы делаете в свободное время? Гребным спортом не занимаетесь?

— Нет, я увлекаюсь верховой ездой. В следующем семестре начну играть в поло, если только удастся заставить раскошелиться дедушку.

— Это вы о старом дяде Джемсе? Какой он?

— Стар, как кора земная, — сказал Вэл, — и вечно дрожит, что разорится.

— Кажется, мой дедушка и он были родные братья.

— По-моему, среди всех этих стариков не было ни одного спортсмена, сказал Вэл, — все они только и делали, это молились на деньги...

— Мой — нет, — горячо сказал Джолли.

Вэл стряхнул пепел с папиросы.

— Деньги только для того и существуют, чтобы их тратить. Я бы хотел, чёрт возьми, чтобы у меня их было побольше.

Джолли смерил его пристальным неодобрительным взглядом, унаследованным от старого Джолиона: о деньгах не говорят. И опять наступила пауза, оба молча пили чай и ели булочки.

— Где останутся ваши родные? — осведомился Вэл, делая вид, что спрашивает это между прочим.

— В «Радуге». Что вы думаете о войне?

— Да пока что дело дрянь. Буры ведут себя совсем не по-спортсменски, почему они не бьются открыто?

— А зачем им это надо? В этой войне и так все против них, кроме их способа драться, а я так просто восхищаюсь ими!

— Конечно, они умеют ездить верхом и стрелять, — согласился Вэл, — но в общем паршивый народ. Вы знаете Крума?

— Из Мэртон-колледжа? Только по виду. Он, кажется, тоже из этой игорной компании. Он, по-моему, производит впечатление дешёвого фата.

— Он мой друг, — сдержанно отчеканил Вэл.

— О! Прошу прощения.

Так они сидели, натянутые, избегая смотреть друг другу в лицо, прочно укрепившись каждый на позиции собственного снобизма. Ибо Джолли бессознательно равнялся по кружку своих товарищей, девизом которых было: «Не воображайте, что мы будем терпеть вашу скучищу. Жизнь и так слишком коротка, мы будем говорить быстрее и решительнее, больше делать и знать больше и задерживаться на любой теме меньше, чем вы способны вообразить. Мы „лучшие“ — мы как стальной трос». А Вэл бессознательно равнялся по кружку товарищей, девизом которых было: «Не воображайте, что нас можно чем-нибудь задеть или взволновать. Мы испытали все, а если и не все, то делаем вид, что все. Мы так устали от жизни, что минуты для нас тянутся, как часы. Проиграем ли мы последнюю рубашку — нам всё равно. Мы ко всему потеряли интерес. Все — только дым папиросы. Бисмилла!» Дух соперничества, присущий англичанам, обязывал этих двух юных Форсайтов иметь свои идеалы, а в конце столетия идеалы бывают смешанные. Большая часть аристократии нашла свой идеал в догматах «скачущего Иисуса», хотя там и сям личности вроде Крума — а он был из аристократов — тянулись к оцепенелой томности и нирване игорного стола, этой *summum bonum*³⁶ прежних денди и ловеласов восьмидесятых годов. И вокруг Крума все

³⁶ Высшее благо (фр.)

ещё собирались представители голубой крови с их былыми надеждами, а за ними тянулась плутократия.

Но между этими троюродными братьями существовала и какая-то более глубокая антипатия, проистекавшая, повидимому, из их неуловимого семейного сходства, которым оба они, казалось, были недовольны, или из какого-то смутного ощущения старой вражды, все ещё существовавшей между этими двумя ветвями форсайтского рода, ощущения, которое зародили в них случайные словечки, полунамёки, обронённые в их присутствии старшими. Джолли, позвякивая чайной ложечкой, мысленно возмущался: «Боже, эта булавка в галстук, и этот жилет, и манера растягивать слова, и эта рулетка, — какой ужас!»

А Вэл, дожёвывая булочку, думал; «Ну и несносный же субъект!»

— Вы, вероятно, пойдёте встречать ваших родных, — сказал он, вставая. — Я попрошу вас передать им, что я был бы счастлив показать им свой колледж, не то чтобы там было что-нибудь интересное, но, может, им — захочется осмотреть его.

— Благодарю, передам.

— Может быть, они зайдут ко мне позавтракать. Слуга у меня очень искусный малый.

Джолли выразил сомнение — вряд ли у них будет время.

— Но вы всё-таки передадите им мою просьбу?

— Очень любезно с вашей стороны, — сказал Джолли, тут же решив, что они не пойдут, но с инстинктивной вежливостью добавил: — Вы лучше приходите завтра к нам обедать.

— Охотно. В котором часу?

— Половина восьмого.

— Во фраке?

— Нет.

И они расстались с чувством смутной вражды друг к другу.

Холли с отцом приехали дневным поездом. В первый раз она попала в этот город легенд и башен; она притихла и с какой-то застенчивостью поглядывала на брата, который был своим в этом удивительном городе. После завтрака она принялась с любопытством рассматривать его пенаты. Гостиная Джолли была отделана панелями, и искусство было представлено в ней рядом гравюр Бартолоцци³⁷, принадлежавших ещё старому Джолиону, и фотографиями молодых людей, товарищей Джолли, несколько героического вида, которых она тут же сравнила с Вэлом, каким он сохранился в её воспоминаниях. Джолион тоже внимательно рассматривал все, что изобличало характер и вкусы его сына.

Джолли не терпелось показать им, как он гребёт, и они скоро отправились на реку. Холли, идя между братом и отцом, чувствовала себя польщённой, когда прохожие поворачивались и провожали её взглядами. Чтобы лучше видеть Джолли на реке, они расстались с ним у плавучей пристани и переправились на другой берег. Стройный, тонкий — из всех Форсайтов только старый Суизин и Джордж были толстяками — Джолли сидел вторым в гоночной восьмёрке. Он грёб очень энергично и с большим воодушевлением. Джолион с гордостью думал, что он самый красивый из этих юношей. Холли, как подобает сестре, больше пленилась двумя другими, но не призналась бы в этом ни за что на свете. Река в этот день сверкала, луга дышали свежестью, деревья все ещё красовались пёстрой листвой. Какая-то особенная тишина царила над старым городом. Джолион дал себе слово посвятить день рисованию, если погода ещё продержится. Восьмёрка пронеслась мимо них второй раз, направляясь к пристани; у Джолли был очень сосредоточенный вид — он не хотел показать, что запыхался. Отец с дочерью переправились снова на тот берег и подождали его.

— Ах да, — сказал Джолли, когда они подошли к лужайке перед

³⁷ *Бартолоцци (1728—1813)* — прославленный итальянский гравёр, значительную часть своей жизни провёл в Англии.

Крайст-Чэрч-колледжем, — мне пришлось позвать сегодня на обед этого Вала Дарти. Он хотел пригласить вас завтракать и показать вам Брэйсноз-колледж, но я решил, что так будет лучше: вам не придётся туда идти. Он мне что-то не нравится.

Смуглое лицо Холли вспыхнуло ярким румянцем.

— Почему?

— Да не знаю, он, по-моему, очень претенциозен и вообще дурного тона. Что представляет собой его семья, папа? Ведь он нам троюродный брат, не правда ли?

Джолион только улыбнулся.

— Спроси Холли, — сказал он, — она видела его дядю.

— Мне Вэл понравился, — ответила Холли, глядя себе под ноги. — Его дядя — совсем не такой.

Она украдкой бросила на Джолли взгляд из-под опущенных ресниц.

— Слыхали ли вы когда-нибудь, дорогие мои, — сказал Джолион, поддаваясь какому-то забавному желанию, — историю нашего рода? Это прямо сказка. Первый Джолион Форсайт — первый, во всяком случае, о котором до нас что-нибудь дошло, — это, значит, ваш прапрадед — жил в Дорсете на берегу моря и был по профессии «землевладелец», как выражалась ваша двоюродная бабушка, сын землепашца, то есть, попросту говоря, фермер, «мелкота», как называл их ваш дедушка.

Он украдкой взглянул на Джолли, любопытствуя, как примет это мальчик, всегда тяготевший к аристократизму, а другим глазом покосился на Холли и заметил, с какой лукавой радостью она следит за вытянувшимся лицом брата.

— Вероятнее всего, он был грубый и крепкий человек, типичный представитель Англии, какой она была до начала промышленной эпохи. Второй Джолион Форсайт, твой прадед, Джолли, известный больше под именем «Гордого Доссета» Форсайта, строил дома, как повествует семейная хроника, родил десятерых детей и перебрался в Лондон. Известно ещё, что он любил мадеру. Можно считать, что он представлял собою Англию эпохи наполеоновских войн и всеобщего брожения. Старший из его шести сыновей был третий Джолион, ваш дедушка, дорогие мои, чаоторговец и председатель нескольких акционерных компаний, один из самых порядочных англичан, когда-либо живших на свете, и для меня самый дорогой. — В голосе Джолиона уже не было иронии, а сын и дочь смотрели на него задумчиво и серьёзно. — Это был справедливый и твёрдый человек, отзывчивый и юный сердцем. Вы помните его, и я его помню. Перейдём к другим! У вашего двоюродного деда Джемса, родного деда этого Вала, есть сын Сомс, о котором известна не очень красивая история, но я о ней, пожалуй, лучше умолчу. Джемс и остальные восемь человек детей «Гордого Доссета», из которых пятеро ещё живы, представляют собой, можно сказать, викторианскую Англию — торговля и личная инициатива, пять процентов с капитала и денежки в оборот, если вы только понимаете, что это значит. Во всяком случае, за свою долголетнюю жизнь они сумели превратить свои тридцать тысяч в кругленький миллион. Они никогда не позволяли себе никаких безрассудств, за исключением вашего двоюродного деда Суизина, которого однажды, кажется, надул какой-то шарлатан и которого прозвали «Форсайт четвёркой», потому что он всегда ездил на паре. Их время подходит к концу, тип этот вымирает, и нельзя сказать, что наша страна от этого сильно выиграет. Это люди прозаические, скучные, но вместе с тем здравомыслящие. Я — четвёртый Джолион Форсайт, жалкий носитель этого имени...

— Нет, папа, — сказал Джолли, а Холли крепко сжала его руку.

— Да, — повторил Джолион, — жалкая разновидность, представляющая собой, увы, всего только конец века: незаработанный доход, дилетантство, личная свобода — это совсем не то же, что личная инициатива, Джолли. Ты — пятый Джолион Форсайт, старина, и ты открываешь бал нового столетия.

Пока он говорил, они вошли в ворота колледжа, и Холли сказала:

— Это просто поразительно, папа.

Никто из них, в сущности, не знал, что она хотела этим сказать. Джолли был молчалив

и задумчив.

В «Радуге», отличавшейся чисто оксфордской старомодностью, была только одна маленькая, обшитая дубом, гостиная, в которую Холли в белом платье, смущённая, вы: шла одна принимать единственного гостя.

Вэл взял её руку, словно прикоснулся к бабочке; не разрешит ли она поднести ей этот бедный цветочек, он так чудесно пойдёт к её волосам? Он вынул из петлицы гардению.

— О нет, благодарю вас, я не могу.

Но она взяла и приколола цветок к вырезу платья, внезапно вспомнив слово «претенциозный». Гардения в петлице Вэла слишком бросалась в глаза, а ей так хотелось, чтобы Вэл понравился Джолли. Сознавала ли она, что Вэл в её присутствии проявлял себя с самой лучшей, с самой скромной стороны и что в этом-то, может быть, и заключался почти весь секрет его привлекательности для неё?

— Я никому не говорила о нашей прогулке, Вэл.

— И очень хорошо! Пусть это останется между нами.

То, что он от смущения не знал, куда девать руки и ноги, вызывало у неё восхитительное ощущение своей власти и ещё какое-то тёплое чувство желание сделать его счастливым.

— Расскажите мне об Оксфорде, здесь, должно быть, так интересно.

Вэл согласился, что, конечно, необыкновенно приятно делать то, что хочешь; лекции — это ерунда, а кроме того, здесь есть отличные ребята.

— Только, — прибавил он, — я бы, конечно, больше хотел быть в Лондоне, я бы тогда мог приезжать к вам.

Холли смущённо пошевелила рукой на колене и опустила глаза.

— Вы не забыли, — сказал он вдруг, набравшись храбрости, — что мы решили с вами отправиться бродяжничать?

Холли улыбнулась.

— О, ведь это мы просто так говорили. Нельзя же всерьёз делать такие вещи, когда становишься взрослым.

— Вздор, — сказал Вэл, — родственникам можно. Следующие большие каникулы начнутся, знаете, в июне, и они длятся без конца, вот мы с вами это и устроим.

Но хотя этот тайный заговор и вызывал у Холли приятную дрожь, она покачала головой.

— Не удастся, — прошептала она.

— Не удастся! — с жаром вскричал Вэл. — А кто же может помешать нам? Ведь не ваш же отец или ваш брат.

В эту минуту вошли Джолион и Джолли, и романтика юркнула в лакированные ботинки Вэла и в белые атласные туфельки Холли, где она покалывала и щекотала их в течение всего вечера, протекавшего в атмосфере, далёкой от непринуждённости.

Чуткий к окружающему его настроению, Джолион скоро почувствовал скрытый антагонизм между мальчиками, а Холли его несколько озадачила; он невольно впал в иронический тон, что действует весьма губительно на юношескую экспансивность. Письмо, поданное ему после обеда, погрузило его в полное молчание, которое почти не нарушалось, пока Джолли с Валом не собрались уходить. Он вышел вместе с ними, закулив сигару, и проводил сына до ворот Крайст-Чэрч. На обратном пути он вынул письмо и ещё раз перечёл его, остановившись у фонаря:

"Дорогой Джолион!

Сомс приходил опять сегодня вечером, в тридцать седьмую годовщину моего рождения. Вы были правы, мне нельзя оставаться здесь. Я перееду завтра в отель «Пьемонт», но я не уеду за границу, не повидав вас. Я чувствую себя одинокой и несчастной.

Сердечно расположенная к вам Ирэн".

Он положил письмо в карман и зашагал дальше, удивляясь силе охвативших его чувств. Что он сказал или осмелился сделать, этот субъект?

Он свернул на Хай-стрит и пошёл дальше, по Тэрлстрит, шагая среди лабиринта остроконечных башен и куполов, фасадов и стен бесконечных колледжей, сверкающих в ярком лунном свете или покрытых густыми тёмными тенями. Здесь, в самом сердце английского благородства, трудно было даже вообразить себе, чтобы одинокая женщина могла подвергаться преследованиям и домогательствам, но что же ещё могло означать это письмо? Сомс, вероятно, настаивает, чтобы она вернулась к нему, — и на его стороне закон и общественное мнение! «Тысяча восемьсот девяносто девятый! — думал Джолион, глядя на битое стекло, сверкавшее на ограде виллы. — Но когда дело касается нашей собственности, мы все те же язычники! Я завтра же поеду в Лондон. Конечно, ей лучше уехать за границу». Но мысль эта была ему неприятна. С какой стати Сомс выживает её из Англии? А кроме того, он ведь может поехать за ней, и там её уже совсем некому будет ограждать от домогательств супруга. «Я должен действовать очень осторожно, — думал он, — этот тип способен на любую пакость. Ужасно мне не понравился его тон тогда, в кэбе». Мысль Джолиона обратилась к его дочери

Джун. Не могла бы она помочь? Когда-то Ирэн была её лучшим другом, а теперь она тоже «несчастненькая», из тех, что всегда трогают отзывчивую душу Джун. Он решил послать дочери телеграмму, чтобы она встретила его на вокзале Пэддингтон. Подходя к «Радуге», он пытался разобраться в своих чувствах. Стал бы он волноваться так изза каждой женщины, попавшей в подобное положение? Нет, не стал бы! Это чистосердечное заключение смутило его, и, узнав, что Холли ушла спать, он отправился в свою комнату. Но он не мог уснуть и долго сидел у окна, закутавшись в пальто, глядя на лунный свет, скользивший по крышам.

В комнате рядом Холли тоже не спала и вспоминала ресницы Вэла, верхние и нижние, особенно нижние, и думала, что бы ей сделать, чтобы Джолли его полюбил. Запах гардении наполнял всю её маленькую комнату, и ей это было приятно.

А Вэл, высунувшись из окна второго этажа Брэйсноз-колледжа, смотрел на квадрат лунного света, не видя его, и видел вместо этого Холли, тоненькую, в белом платье, как она сидела у камина, когда он вошёл в комнату.

Только Джолли в своей комнатке, узкой, как щель, спал, подложив руку под щеку, и ему снилось, что он сидит с Вэлом в одной лодке и они состязаются между собой, а отец кричит с берега: «Второй! Перестань, брось грести, ах, господи!»

II. СОМС РЕШИЛ УДОСТОВЕРИТЬСЯ

Из всех лучезарных фирм, которые украшают своими витринами лондонский Вест-Энд, «Гейвз и Кортегел» казалась Сомсу наиболее «видной» — это слово тогда только что входило в моду. Он никогда не страдал пристрастием своего дяди Суизина к драгоценным камням, а когда Ирэн в 1887 году, покинув его, оставила все безделушки, которые он ей подарил, это навсегда отбило у него охоту к такого рода помещению денег. Но Сомс и теперь знал толк в бриллиантах, и всю неделю до её рождения он не упускал случая по дороге в Полтри или обратно постоять перед витринами крупных ювелиров, у которых можно было получить за свои деньги если не полный их эквивалент, то во всяком случае товар с известной маркой.

...Непрерывные размышления, которым он предавался со времени своего путешествия в кэбе с Джолионом, все больше и больше убеждали его в том, что в его жизни наступил момент величайшей важности и что ему совершенно необходимо предпринять шаги, и на этот раз безошибочные. И рядом с этим сухим и рассудительным соображением о том, что он должен теперь или никогда позаботиться о продлении своего рода, теперь или никогда устроиться, создать семью, взывал тайный голос его чувств, пробудившихся при виде женщины, которая когда-то была его страстно любимой женой, и голос глубокого убеждения,

что отказаться от собственной жены было бы преступлением против здравого смысла и благопристойной скрытности Форсайтов.

Запрошенный по делу Уинифрид королевский адвокат Дример (Сомс предпочёл бы Уотербака, но его назначили судьёй, при этом в таких преклонных годах, что невольно напрашивалось подозрение, нет ли здесь какой-то политической интриги) посоветовал прежде всего требовать через суд восстановления в супружеских правах, то есть сказал то, в чём Сомс не сомневался с самого начала. Получив соответствующее постановление суда, они должны будут некоторое время выждать, чтобы посмотреть, будет ли оно выполнено. Если нет, то в глазах закона это будет рассматриваться как действительный уход от жены, и тогда, представив доказательства дурного поведения, можно возбуждать дело о разводе. Все это Сомс и сам прекрасно знал. Это простое разрешение дела сестры приводило его в ещё большее отчаяние по поводу запутанности его собственного положения. Все решительно толкало его к единственному простому выходу — вернуть Ирэн. Если ей это и не совсем по душе, то ведь и ему придётся подавить свои чувства, простить обиду, забыть перенесённые страдания! Он, по крайней мере, никогда не оскорблял её, и он же идёт на такую большую уступку! Он может предложить ей настолько больше того, что у неё есть сейчас! Он готов положить на её имя неотъемлемый капитал. В эти дни он часто рассматривал свою физиономию в зеркале. Он никогда не был павлином, как этот Дарти, не воображал себя покорителем женщин, но у него была известная уверенность в своей внешности — и не без основания, ибо он был хорошо сложен и вполне сохранился, опрятен, здоров, у него был бледный цвет лица, не испорченный пьянством или какиминибудь другими излишествами. Форсайтский подбородок и сосредоточенное выражение лица являлись в его глазах достоинствами. Насколько он сам мог судить, у него не было ни одной черты, которая могла бы вызывать отвращение.

Мысли и желания, которыми человек живёт изо дня в день, становятся для него естественными, даже если вначале они и казались нелепыми. Если только он сможет дать ей достаточно ощутимое доказательство того, что он решил забыть прошлое и готов делать все от него зависящее, чтобы она была довольна, почему бы ей и не вернуться к нему?

Итак, утром девятого ноября он вошёл к «Гейвзу и Кортегелу» купить бриллиантовую брошь.

— Четыреста двадцать пять фунтов, сэр, это почти даром, сэр, за такую вещь.

Сомс был в решительном настроении, он взял брошь не раздумывая и, спрятав плоский зелёный сафьяновый футляр во внутренний карман, отправился в Полтри. Несколько раз в этот день он открывал футляр, чтобы посмотреть на семь камней, мягко мерцающих в овальном бархатном гнездышке.

— Если только леди не понравится, сэр, мы с удовольствием обменяем её, в любую минуту. Но на этот счёт можете не беспокоиться, сэр.

Если бы только действительно можно было не беспокоиться! Он сел за работу — единственное испытанное средство успокоить нервы. Пока он был в конторе, принесли каблогранму от агента из Буэнос-Айреса, сообщавшего некоторые подробности и адрес горничной, служившей на пароходе и готовой в случае надобности выступить в качестве свидетельницы. Это словно ещё подхлестнуло Сомса, преисполнив его глубочайшим отвращением к подобному пережевыванию грязного белья на людях. А когда он, спустившись в подземку, сел в поезд и развернул вечернюю газету, подробное описание громкого бракоразводного процесса ещё раз подстегнуло его желание восстановить свою супружескую жизнь. Инстинктивное тяготение к семье, появившееся у всех истинных Форсайтов, когда у них были заботы или горе, их корпоративный дух, делавший их сильными и крепкими, побудили его отправиться обедать на Парк-Лейн. Он не мог, да и не хотел говорить родителям о своём намерении — он был слишком скрытен и горд, — но мысль, что они, во всяком случае, порадовались бы, если бы узнали, и пожелали бы ему счастья, ободряла его.

Джемс был в мрачном настроении, ибо огонь, зажжённый в нём наглым ультиматумом

Крюгера, был быстро погашен сомнительными успехами этого месяца и призывами «Таймса» к новым усилиям. Он не знает, чем это кончится. Сомс старался подбодрить его беспрестанным упоминанием имени Буллера³⁸. Но Джемс ничего не мог сказать! Там ещё Колли³⁹, но он точно прилип к этой горе, а Ледисмит⁴⁰ остаётся незащищённым на голой равнине, и, по-видимому, тут заваривается такая каша... Он считает, что туда нужно послать матросов, это молодцы ребята. Сомс перешёл к другому способу утешения. Вэл написал Уинифрид, что в Оксфорде в день Гая Фокса⁴¹ устраивался маскарад и фейерверк и он так ловко зачернил себе лицо, что его никто не узнал.

— Да, — пробормотал Джемс, — смышлёный мальчишка, — но сейчас же вслед за этим покачал головой и прибавил, что он не знает, что ещё из него выйдет, и, грустно посмотрев на сына, прошептал, что вот у Сомса никогда не было ребёнка. Ему бы так хотелось иметь внука, который бы носил его имя. А теперь — вот как оно получается!

Сомс вздрогнул. Он не ожидал такого вызова на признание в своих самых сокровенных мыслях. А Эмили, которая заметила, как его передёрнуло, сказала:

— Глупости, Джемс, перестань говорить об этом.

Но Джемс, не глядя ни на кого, продолжал бормотать. Вот Роджер, и Николае, и Джолион — у всех у них есть внуки. А Суизин и Тимоти так и не женились. Сам он сделал все, что мог, но теперь его уже скоро не станет. И, словно сообщив что-то глубоко утешительное, он замолчал и принялся есть мозги, подцепляя их вилкой и кусочком хлеба и проглатывая вместе с хлебом.

Сомс простился тотчас же после обеда. Хотя было, в сущности, не холодно, он надел меховое пальто, чтобы защитить себя от приступов нервной дрожи, которая не покидала его целый день. Кроме того, он как-то безотчётно сознавал, что так он выглядит лучше, чем в обыкновенном чёрном пальто. Затем, нащупав возле сердца сафьяновый футляр, он двинулся в путь. Он редко курил, но сейчас, выйдя на улицу, достал папироску и закурил на ходу. Он медленно шёл по Роу к Найтсбриджу, рассчитав время так, чтобы попасть в Челси к четверти десятого. Что она делает вечер за вечером, одна, в этой жалкой дыре? Загадочные существа женщины! Живёшь с ними рядом и ничего о них не знаешь. Что она такого нашла в этом Боснии, что он её свёл с ума? Потому что, в конце концов, это же было сумасшествие, все, что она сделала, — форменный приступ сумасшествия, перевернувший все представления о ценности вещей, сломавший и её, и его жизнь! И на мгновение Сомса охватило чувство какой-то экзальтации, он словно превратился в человека из трогательной повести, который, проникшись христианским милосердием, возвращает провинившейся все блага жизни, все прощает, все забывает и становится её добрым гением. Под деревом против казарм Найтсбриджа, где лунный свет ложился яркой белой полосой, он ещё раз вытащил сафьяновый футляр и взглянул на игру камней при свете луны. Да, это бриллианты чистой воды! Но когда он захлопнул футляр, резкий звук защёлкнувшейся крышки отдался нервной дрожью в его теле; он зашагал быстрее, засунув руки в перчатках в карманы пальто, почти надеясь, что не застанет её дома. Мысль о том, как она непостижима, снова

³⁸ *Буллер Редверс Генри* — английский генерал, командующий английскими войсками во время войны с бурами в 1899—1902 гг.

³⁹ *Колли* — Имеется в виду генерал Джордж Колли, командовавший отрядом английских войск, был убит в бою у высоты Маджуба в Трансваале в феврале 1881 г.

⁴⁰ *Ледисмит* — город в Южной Африке, осаждённый бурами в начале войны; англичанам потребовалось четыре месяца больших усилий, чтобы принудить буров снять осаду.

⁴¹ ...в день Гая Фокса... — Согласно установившейся в Англии традиции, 5 ноября устраивается торжественное сожжение на костре чучела Гая Фокса, главы направленного против короля и членов парламента так называемого «Порохового заговора» 1605 г.

завладела им. Обедает одна изо дня в день, наряжается в вечерний туалет, словно воображает, что находится в обществе! Играет на рояле — для себя! Около неё нет даже кошки или собаки, насколько он мог заметить. И внезапно ему вспомнилась кобыла, которую он держал в Мейплдерхеме для поездок на станцию. Когда бы он ни вошёл в конюшню, она стояла там одна, полусонная, и всё же она всегда бежала домой быстрее, чем на станцию, словно ей не терпелось поскорее снова очутиться одной в своей конюшне. «Я буду обращаться с нею ласково, — без всякой последовательности подумал он. Буду очень осторожен». И все его стремления и наклонности к семейной жизни, которой насмешливая судьба, казалось, лишила его навеки, ожили в нём с такою силой, что он незаметно для себя остановился, замечтавшись, против вокзала Саут-Кенсингтон. На Кингс-Род какой-то человек вышел, пошатываясь, из трактира, наигрывая на концертино. Секунду Сомс наблюдал, как он бессмысленно топчется на тротуаре под неровные залиvistые звуки своей музыки, потом перешёл на другую сторону, чтобы избежать встречи с этим пьяным идиотом. Проведёт ночь в полицейском участке! Бывают же такие ослы! Но человек заметил, что Сомс перешёл от него на другую сторону, и поток благодушной брани понёсся ему вдогонку. «Надеюсь, что его заберут, — злобно подумал Сомс. — Как это можно, чтобы такие негодяи шатались по улицам, когда женщины ходят одни?» Мысль эта возникла у него потому, что впереди шла какая-то женщина. Походка её показалась ему странно знакомой, а когда она свернула за тот угол, к которому он направлялся, сердце его усиленно забилося. Он прибавил шагу, чтобы поскорее дойти до угла и убедиться. Да! Это была Ирэн; он не мог ошибиться, это её походка. Она прошла ещё два поворота, и у последнего угла Сомс увидел, как она завернула в свой подъезд. Чтобы не упустить её, он пробежал эти несколько шагов, взбежал по лестнице и нагнал её у самой двери. Он слышал, как щёлкнул ключ в замке, и остановился около неё как раз в ту минуту, когда она, открыв дверь, обернулась и замерла в удивлении.

— Не пугайтесь, — сказал он, едва переводя дыхание. — Я вас увидел на улице. Разрешите мне зайти на минуту.

Она прижала руку к груди, в лице её не было ни кровинки, глаза расширились от ужаса. Затем, по-видимому овладев собой, она наклонила голову и сказала:

— Хорошо.

Сомс закрыл за собою дверь. Ему тоже нужно было прийти в себя, и, когда она прошла в гостиную, он целую минуту стоял молча, с трудом переводя дыхание, чтобы успокоить биение своего сердца. В эту минуту, которая решала все его будущее, вынуть сафьяновый футляр казалось как-то грубо. Однако у него нет никакого иного предлога, чтобы объяснить свой приход. И это неловкое положение вызвало в нём досаду на всю эту церемонию предлогов и оправданий. Предстояла, сцена, ничего другого быть не может, и надо на это идти.

Он услышал её голос, встревоженный, томительно мягкий:

— Зачем вы, пришли опять? Разве вы не поняли, что мне приятней было бы, чтобы вы этого не делали?

Он обратил внимание на её костюм — темно-коричневый бархат, соболье боа и маленькая круглая шапочка того же меха. Все это удивительно шло к ней. У неё, по-видимому, хватает денег на туалеты. Он сказал отрывисто:

— Сегодня ваше рождение, я принёс вам вот это, — и он протянул ей зелёный сафьяновый футляр.

— О нет, нет!

Сомс нажал замочек; семь камней сверкнули на бледносером бархате.

— Почему нет? — сказал он. — Просто в знак того, что вы не питаете ко мне больше дурных чувств.

— Я не могу.

Сомс вынул брошь из футляра.

— Дайте мне взглянуть, как это будет на вас.

Она отшатнулась и попятилась. Он шагнул к ней, протягивая руку с брошью к её груди.

Она снова отшатнулась.

Сомс опустил руку.

— Ирэн, — сказал он, — забудем прошлое. Если я могу, то и вы, конечно, можете. Давайте начнём снова, как будто ничего не было. Хотите?

В голосе его звучало невысказанное желание, а в глазах, устремлённых на её лицо, было почти молящее выражение.

Она стояла, прижавшись к стене, и теперь только судорожно глотнула это был весь её ответ. Сомс продолжал:

— Неужели вы действительно хотите прожить здесь всю жизнь, полумёртвая, в этой жалкой дыре? Вернитесь ко мне, и я дам вам все, что вы хотите. Вы будете жить своей собственной жизнью, я клянусь в этом.

Он увидел, как её лицо иронически дрогнуло.

— Да, — повторил он, — но теперь я говорю это всерьёз. Я прошу от вас только одного. Я только хочу... я хочу сына. Не смотрите на меня так. Да, я хочу сына. Мне тяжело.

Слова срывались поспешно, так что он едва узнавал собственный голос, и он дважды закидывал голову назад, точно ему не хватало воздуха. Но вид её глаз, устремлённых на него, её потемневший, словно застывший от ужаса взгляд привели его в себя, и мучительная бессвязность сменилась гневом.

— Разве это так неестественно? — проговорил он сквозь зубы. — Разве так неестественно желать ребёнка от собственной жены? Вы разбили нашу жизнь, из-за вас все спуталось. Мы влачим какое-то полумёртвое существование, и у нас нет ничего впереди. Разве уж так унижительно для вас, что, несмотря на всё это, я... я всё ещё хочу считать вас своей женой? Да говорите же бога ради! Скажите что-нибудь!

Ирэн как будто сделала попытку заговорить, но у неё это не вышло.

— Я не хочу пугать вас, — сказал Сомс, смягчая голос, — боже упаси. Я только хочу, чтобы вы поняли, что я не могу так больше жить. Я хочу, чтобы вы вернулись ко мне, хочу, чтобы вы были со мной.

Ирэн подняла руку и закрыла нижнюю часть лица, но глаза её по-прежнему не отрывались от его глаз, словно она надеялась, что они удержат его на расстоянии. И все эти пустые, мучительные годы — с каких пор? ах да, почти с того дня, как он познакомился с нею, — вдруг словно одной громадной волной встали в памяти Сомса, и судорога, с которой он не в состоянии был совладать, исказила его лицо.

— Ещё не поздно, — сказал он, — нет, если вы только захотите поверить в это.

Ирэн отняла руку от губ, и обе её руки судорожно прижались к груди. Сомс схватил её за руки.

— Не смейте! — задыхаясь, сказала она. Но он продолжал держать их и старался смотреть ей прямо в глаза, которых она не отводила. Тогда она спокойно сказала: — Я здесь одна. Вы не позволите себе того, что позволили однажды.

Отдёрнув руки, точно от раскалённого железа, он отвернулся. Как может существовать такая жестокая злопамятность? Неужели все ещё живёт в её памяти этот единственный случай насилия? И неужели это так бесповоротно оттолкнуло её от него? И, не поднимая глаз, он сказал упрямо:

— Я не уйду отсюда, пока вы не ответите мне. Я предлагаю вам то, что немногие мужчины могли бы предложить. Я хочу... я жду разумного ответа.

И почти с удивлением он услышал её слова:

— Тут не может быть разумного ответа. Разум здесь ни при чём. Вы можете услышать только грубую правду: я бы скорее умерла.

Сомс смотрел на неё в ошолоблении.

— О! — сказал он, а потом у него словно отнялись язык и способность двигаться, и он почувствовал, что весь дрожит, как человек, которому нанесли смертельное оскорбление и который ещё не знает, как ему быть, или, вернее, что теперь с ним будет.

— О! — повторил он ещё раз. — Вот даже как! В самом деле! Скорее бы умерли!

Недурно!

— Мне очень жаль. Вы хотели, чтобы я вам ответила. Что же мне делать, если это правда? Разве я могу это изменить?

Этот странный и несколько отвлечённый вопрос вернул Сомса к действительности. Он захлопнул футляр с брошью и сунул его в карман.

— Правда! — сказал он. — Это как раз то, чего не знают женщины. Все это только нервы, нервы.

Он услышал её шёпот:

— Да, нервы не лгут. Разве вы не убедились в этом?

Он молчал, поглощённый одной только мыслью: «Я заставлю себя возненавидеть эту женщину. — Заставлю». В этом-то и было все горе. Если бы он только мог! Он украдкой взглянул на неё: она стояла неподвижно, прижавшись к стене, подняв голову и скрестив руки, словно ждала, что её убьют. И он сказал быстро:

— Я не верю ни одному вашему слову. У вас есть любовник. Если бы это было не так, вы не были бы такой... дурочкой.

Прежде чем изменилось выражение её глаз, он понял, что сказал не то, позволил себе слишком резко вернуться к той свободе выражений, которую он усвоил во времена своего супружества. Он повернулся и пошёл к двери. Но он не мог уйти. Что-то в самой глубине его существа — самое глубокое, самое скрытое свойство Форсайтов: невозможность упустить, невозможность поверить в то, что упорство тщетно и бесцельно, — мешало ему. Он снова повернулся и стал, прислонившись к двери, так же, как она стояла, прислонившись к стене, не замечая, что, как-то нелепо стоят" вот так друг против друга на разных концах комнаты.

— Вы когда-нибудь думаете о ком-нибудь, кроме себя? — сказал он.

У Ирэн задрожали губы; она медленно ответила:

— Думали ли вы когда-нибудь, что я поняла свою ошибку — ужасную, непоправимую ошибку — в первую же неделю после свадьбы; что я три года старалась переломить себя? Вы знаете, что я старалась? Разве я делала это для себя?

Сомс стиснул зубы.

— Бог вас знает, что это такое было. Я никогда не понимал вас, никогда не пойму. У вас было все, что вы могли желать, и вы снова можете иметь все это и даже больше. Что же во мне такого? Я задаю вам прямой вопрос: что вам не нравится? — не сознавая всего трагизма этого вопроса, он продолжал с жаром: — Я не калека, не урод, не неотёсанный дурак, не сумасшедший. В чём же дело? Что тут за секрет?

В ответ последовал только глубокий вздох.

Он сжал руки, и этот жест был исполнен необычайной для него выразительности.

— Когда я шёл сюда сегодня, я был... я надеялся, я хотел сделать все, что в моих силах, чтобы покончить с прошлым и начать новую жизнь. А вы встречаете меня «нервами», молчанием и вздохами. В этом нет ничего конкретного. Это как... это точно паутина.

— Да.

Этот шёпот с другого конца комнаты снова взорвал Сомса.

— Ну, так я не хочу сидеть в паутине. Я разорву её! — он шагнул к ней. — Я...

Зачем он шагнул к ней, он и сам не знал. Но когда он очутился около неё, на него вдруг пахнуло прежним, знакомым запахом её платья. Он положил руки ей на плечи и наклонился, чтобы поцеловать её. Но он поцеловал не губы, а тонкую твёрдую линию стиснутых губ; потом он почувствовал, как её руки отталкивают его лицо; он услышал её голос: «О нет!» Стыд, раскаяние, сознание, что все оказалось напрасным, нахлынули, проглотили его — он круто повернулся и вышел.

III. ВИЗИТ К ИРЭН

На вокзале Пэддингтон Джолион встретился с Джун, поджидавшей его на платформе. Она получила его телеграмму за завтраком. У Джун было убежище — мастерская с двумя

спальными комнатами в Сент-Джонс-Вуд-парке, — которое она выбрала потому, что оно обеспечивало ей полную независимость. Там, не опасаясь привлечь внимание миссис Грэнди⁴², не стеснённая постоянным присутствием прислуги, она могла принимать своих «несчастненьких» в любой час дня или ночи, и нередко какой-нибудь горемыка, не имеющий своей мастерской, пользовался мастерской Джун. Она наслаждалась своей свободой и распоряжалась собой с какой-то девичьей страстностью; весь тот пыл, который предназначался Босини и от которого он, принимая во внимание её форсайтское упорство, вероятно, скоро устал бы, она расточала теперь на неудачников, на выхаживание будущих гениев артистического мира. Она, в сущности, только и жила тем, что старалась обратить своих питомцев из гадких утят в лебедей, веря всей душой, что они истинные лебеди. Самая страстность, которую она вносила в своё покровительство, мешала правильности её оценки. Но она была честной и щедрой. Её маленькая энергичная ручка всегда готова была защитить каждого от притеснения академических и коммерческих мнений, и хотя сумма её доходов была весьма значительна, её текущий счёт в банке нередко представлял собой отрицательную величину.

Она приехала на вокзал, взволнованная до глубины души свиданием с Эриком Коббли. Какой-то гнусный салон отказал этому длинноволосому гению в устройстве выставки его произведений. Наглый администратор, посетив его мастерскую, заявил, что с коммерческой точки зрения это будет очень уж убого. Сей бесподобный пример коммерческой трусости по отношению к её любимому «гадкому утёнку» (а ему приходилось так туго с женой и двумя детьми, что она вынуждена была исчерпать весь свой текущий счёт) все ещё заставлял пылать негодованием её энергичное личико, а её рыже-золотистые волосы горели ярче, чем когда-либо. Она обняла отца, и они вместе сели в кэб — у неё к нему было не менее важное дело, чем у него к ней. Неизвестно было только, кому из них первому удастся начать.

Джолион только успел сказать:

— Я хотел, дорогая, чтобы ты поехала со мной, — когда, взглянув ей в лицо, увидел по её синим глазам, которые беспокойно метались из стороны в сторону, как хвост насторожившейся кошки, что она его не слушает.

— Папа, неужели я действительно ничего не могу взять из своих денег?

— К счастью, только проценты с них, моя дорогая.

— Какое идиотство! Но нельзя ли всё-таки найти какой-нибудь выход? Ведь, наверно, можно что-нибудь устроить. Я знаю, что я могла бы сейчас купить небольшой выставочный салон за десять тысяч фунтов.

— Небольшой салон, — повторил Джолион, — это, конечно, скромное желание; но твой дедушка предвидел это.

— Я считаю, — воскликнула Джун решительно, — что все эти заботы о деньгах ужасны, когда столько талантов на свете просто погибают из-за того, что они лишены самого необходимого! Я никогда не выйду замуж, и у меня не будет детей; почему не дать мне возможность сделать что-то полезное, вместо того чтобы все это лежало неприкосновенно впредь до того, чего никогда не случится?

— Мы носим имя Форсайтов, моя дорогая, — возразил Джолион тем ироническим тоном, к которому его своенравная дочка до сих пор не могла вполне привыкнуть, — а Форсайты, ты знаешь, это такие люди, которые распоряжаются своим капиталом с тем расчётом, чтобы их внуки, если им пришлось бы умереть раньше своих родителей, вынуждены были составить завещание на своё имущество, которое, однако, переходит в их владение только после смерти их родителей. Тебе это понятно? Ну, и мне тоже нет, но, как бы там ни было, это факт; мы живём по принципу: покуда есть возможность удержать капитал в семье" он не должен из неё уходить; если ты умрёшь незамужней, твой капитал

⁴² *Миссис Грэнди* — имя героини комедии Мортонна (1764— 1838), употребляемое нарицательно, обозначает мнение света.

перейдёт к Джолли и Холли и к их детям если у них будут дети. Разве не приятно сознавать, что чтобы вы ни делали, никто из вас никогда не может обеднеть?

— Но разве я не могу занять денег?

Джолион покачал головой.

— Ты, конечно, можешь снять салон, если на это хватит твоих доходов.

Джун презрительно усмехнулась.

— Да; и останусь после этого без средств и никому уже не смогу помочь.

— Милая моя девочка, — тихо сказал Джолион, — а разве это не одно и то же?

— Нет, — сказала Джун деловито. — Я могу купить салон за десять тысяч; это выходит только четыреста фунтов в год. А платить за аренду мне пришлось бы тысячу в год, и у меня осталось бы тогда всего пятьсот фунтов. Если бы у меня была своя галерея, папа, подумать только, что бы я могла сделать! Я могла бы в один миг создать имя Эрику Коббли и стольким ещё другим!

— Имена, достойные существовать, создаются сами, в своё время.

— После смерти человека!

— А знаешь ли ты кого-нибудь из живых, дорогая, кому имя при жизни принесло бы пользу?

— Да, тебе, — сказала Джун, сжав его руку повыше кисти.

Джолион отшатнулся. «Мне? Ах, ну да, она хочет меня о чём-то попросить, — подумал он. — Мы, Форсайты, приступаем к этому каждый по-своему».

Джун пододвинулась к нему поближе и прижалась к его плечу.

— Папа, милый, — сказала она, — ты купи галерею, а я буду выплачивать тебе четыреста фунтов в год. Тогда никому из нас не будет убытка. Кроме того, это прекрасное помещение денег.

Джолион поёжился.

— Не кажется ли тебе, — сказал он, — что художнику покупать выставочный салон как-то не совсем удобно? Кроме того, десять тысяч фунтов — это изрядная сумма, а я ведь не коммерсант.

Джун взглянула на него восхищённо-понимающим взглядом.

— Конечно, ты не коммерсант, но ты замечательно деловой человек. И я уверена, что мы сможем поставить дело так, что это окупится. А как приятно будет натянуть нос всем этим гнусным торгашам и прочей публике, — и она снова сжала руку отца.

На лице Джолиона изобразилось комическое отчаяние.

— Где же находится эта несравненная галерея? В каком-нибудь роскошном районе, надо полагать?

— Сейчас же за Корк-стрит.

«Ах, — подумал Джолион, — так и знал, что она окажется сейчас же за чем-нибудь. Ну, теперь я могу попросить о том, что мне нужно от неё».

— Хорошо, я подумаю об этом, но только не сейчас. Ты помнишь Ирэн? Я хочу, чтобы ты со мной сейчас поехала к ней. Сомс её опять преследует. Для неё было бы безопасней, если бы мы могли дать ей где-нибудь приют.

Слово «приют», которое он употребил случайно, оказалось как раз самым подходящим для того, чтобы вызвать сочувствие Джун.

— Ирэн! Я не встречалась с ней с тех пор, как... Ну конечно! Я буду рада помочь ей.

Теперь пришла очередь Джолиона пожать руку Джун с чувством тёплого восхищения перед этим пылким великодушным маленьким существом его собственного производства.

— Ирэн гордый человек, — сказал он, искоса поглядывая на Джун, внезапно усомнившись, сумеет ли она проявить достаточно такта. — Ей трудно помочь. С ней нужно обращаться очень бережно. Ну вот мы и приехали. Я ей телеграфировал, чтобы она нас ждала. Пошлём ей наши карточки.

— Я не выношу Сомса, — сказала Джун, выходя из кэба. — Он всегда издевается над всем, что не имеет успеха.

Ирэн находилась в комнате, которая в отеле «Пьемонт» носила название «дамской гостиной».

Джун нельзя было упрекнуть в недостатке морального мужества: она прямо подошла к своей бывшей подруге и поцеловала её в щеку, и они обе уселись на диван, на котором с самого основания отеля никто никогда не сидел. Джолион заметил, что Ирэн глубоко потрясена этим простым прощением.

— Итак, Сомс опять являлся к вам? — сказал он.

— Он был у меня вчера вечером; он хочет, чтобы я вернулась к нему.

— Но вы, конечно, не вернётесь? — воскликнула Джун.

Ирэн чуть улыбнулась и покачала головой.

— Но его положение ужасно, — прошептала она.

— Он сам виноват, он должен был развестись с вами, когда у него была возможность.

Джолион вспомнил, как в те прежние дни Джун пламенно надеялась, что память её неверного возлюбленного не будет опозорена разводом.

— Послушаем, что думает делать Ирэн, — сказал он.

Губы Ирэн дрожали, но она сказала спокойно:

— Я предпочла бы дать ему новый повод освободиться от меня.

— Какой ужас! — воскликнула Джун.

— А что же мне делать?

— Ну, об этом, во всяком случае, не стоит и говорить, — сказал Джолион очень спокойным тоном, — *sans amour*⁴³.

Ему показалось, что она сейчас заплачет, но она быстро встала и, отвернувшись от них, стояла молча, стараясь овладеть собой.

Джун неожиданно сказала:

— Вот что, я пойду к Сомсу и скажу ему, чтобы он оставил вас в покое. Что ему нужно в его годы?

— Ребёнка. В этом нет ничего неестественного.

— Ребёнка! — с презрением воскликнула Джун. — Ну разумеется, чтобы было кому оставить капитал. Если ему уж так нужен ребёнок, пусть он себе возьмёт кого-нибудь и заведёт ребёнка, тогда вы можете развестись с ним, и он женится на той.

Джолион подумал, что он сделал ошибку, привезя Джун, — её пылкое выступление только выгораживало Сомса.

— Лучше всего было бы для Ирэн переехать спокойно к нам в Робин-Холл и посмотреть, как все это повернётся.

— Конечно, — сказала Джун, — только...

Ирэн посмотрела Джолиону прямо в глаза. Сколько раз он потом пытался объяснить себе её взгляд, и всегда безуспешно!

— Нет! От этого выйдут только неприятности для всех вас. Я уеду за границу.

Он понял по её голосу, что это решено окончательно. Неизвестно почему у него мелькнула мысль: «Я мог бы там видеться с ней». Но он сказал:

— Вам не кажется, что за границей вы будете ещё беспомощнее, если он вздумает последовать за вами?

— Не знаю. Я могу только попытаться.

Джун вскочила и принялась ходить взад и вперёд по комнате.

— Как это все ужасно! — сказала она. — Почему люди должны мучиться год за годом, чувствовать себя несчастными и беспомощными, а все из-за этого гнусного святошеского закона?

Но в эту минуту кто-то вошёл в комнату, и Джун замолчала. Джолион подошёл к Ирэн.

— Не нужно ли вам денег?

⁴³ Без любви (фр.)

— Нет.

— Как быть с вашей квартирой, сдать её?

— Да, Джолион, пожалуйста.

— Когда вы едете?

— Завтра.

— И вам уже больше не понадобится заезжать домой? Он спросил это с тревогой, которая ему самому показалась странной.

— Нет; я взяла с собой все, что мне нужно.

— Вы мне пришлёте свой адрес?

Она протянула ему руку.

— Я чувствую, что могу положиться на вас, как на каменную стену.

— Которая стоит на песке, — ответил Джолион, крепко пожимая ей руку. — Но помните, что я в любую минуту рад для вас что-нибудь сделать. И если вы передумаете. — Ну, Джун, идём, попрощайся.

Джун отошла от окна и обняла Ирэн.

— Не думайте о нём, — сказала она шёпотом, — живите счастливо, и да благословит вас бог.

Унося в памяти слезы на глазах Ирэн и улыбку на её губах, они молча прошли мимо дамы, которая помешала их беседе и теперь сидела за столом, просматривая газеты.

Когда они поравнялись с Национальной галереей, Джун воскликнула:

— Вот гнусные скоты с этими их отвратительными законами!

Но Джолион ничего не ответил. В нём была доля отцовской уравновешенности, и он мог смотреть на вещи беспристрастно, даже если его чувства были задеты. Ирэн права. Положение Сомса не лучше, пожалуй, даже хуже, чем её. Что до законов, то они создаются в расчёте на человеческую природу, которую они, естественно, расценивают не очень высоко. И чувствуя, что если ещё останется с дочерью, он позволит себе сказать что-нибудь лишнее, Джолион простился с ней, вспомнив, что ему нужно торопиться на обратный поезд в Оксфорд: он кликнул кэб и оставил её любоваться акварелями Тернера, пообещав, что подумает о её салоне.

Но думал он не о салоне, а об Ирэн. Жалость, говорят, сродни любви. Если это так, то он, конечно, недалёк от того, чтобы полюбить её, потому что он жалеет её от всей души. Подумать только, что она будет скитаться по Европе, совсем одна, да ещё под угрозой преследований! «Только бы она не наделала глупостей! — подумал он. — Конечно, она легко может впасть в отчаяние». В сущности, он даже не мог себе представить — ну вот теперь, когда у неё не осталось даже её скромных занятий, — как она будет жить дальше, — такое прелестное существо, доведённое до крайности, желанная добыча для всякого! К его беспокойству примешивалось и чувство страха, и ревность. Женщины способны на нелепые вещи, когда они попадают в тупик. «Интересно знать, что теперь выкинет Сомс, — подумал он. — Гнусное, идиотское положение! И, наверно, все будут говорить, что она сама во всём виновата». Расстроенный и совершенно поглощённый своими мыслями, он сел в поезд, сейчас же потерял билет и на платформе в Оксфорде раскланялся с дамой, лицо которой показалось ему знакомым, хотя он не мог вспомнить, кто это, даже и потом, когда увидел её за чаем в «Радуге».

IV. КУДА ФОРСАЙТЫ СТРАШАТСЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ

Содрогаясь от горького сознания, что все его надежды рухнули, чувствуя по-прежнему плотно прижатый к груди у сердца зелёный сафьяновый футляр, Сомс погрузился в мысли, тяжкие, как смерть. Паутина! Он шагал быстро в лунном свете, не замечая ничего перед собой, снова и снова возвращаясь к только что пережитой сцене, вспоминал, как Ирэн вся застыла, когда он обнял её плечи. И чем больше он вспоминал, тем больше убеждался, что у неё есть любовник; её слова: «Я бы скорее умерла!» — были просто нелепы, если у неё

никого не было. Даже если она никогда и не любила его, ведь не поднимала же она никаких историй, пока не появился Боснии. Нет, она в кого-то влюблена, иначе она не ответила бы такой мелодраматической фразой на его предложение, вполне благоразумное, принимая во внимание все обстоятельства! Отлично! Это утрясёт дело.

«Я приму меры к тому, чтобы выяснить это, — думал он. — Завтра же утром пойду к Полтиду». Но, принятое это решение, он знал, что для него это будет нелёгкий шаг. По роду своей деятельности он не раз прибегал к услугам агентства Полтид, и даже совсем недавно по делу Датти, но у него никогда не было в мыслях, что он может обратиться к ним для слежки за собственной женой.

Это было слишком унижительно для него самого!

Он лёг спать, или, вернее, бодрствовать, раздумывая об этом своём намерении и о своей уязвлённой гордости.

Только утром, во время бритья, он вдруг вспомнил, что Ирэн носит теперь свою девичью фамилию, Эрон. Полтид, во всяком случае первое время, не будет знать, чья она жена, и не будет смотреть на него с лицемерной угодливостью и хихикать за его спиной. Она будет для него прост" женой одного из клиентов Сомса. И это, в сущности, яр — да; разве он не выступает сейчас в роли поверенного в собственных делах?

Сомс всерьёз боялся, что если он упустит момент и не приведёт в исполнение своего намерения теперь же, то потом уже не решится на это. И, выпив чашку кофе, который Уормсон, по его распоряжению, подал ему пораньше, он тихонько вышел из дому до утреннего завтрака. Он торопливо направился на одну из тех маленьких улочек ВестЭнда, где Полтид и иные агентства опекают нравственность имущих классов. До сих пор он всегда приглашал Полтида к себе в Полтри; но ему был хорошо известен адрес фирмы, и он пришёл туда как раз к открытию конторы. В приёмной, обставленной столь уютно, что её можно было бы принять за приёмную ростовщика, его встретила дама, похожая на школьную учительницу.

— Мне нужно видеть мистера Клода Полтида. Он меня знает — можете меня не называть. — Скрыть от всех, что он, Сомс Форсайт, принуждён нанять агента, чтобы выслеживать свою собственную жену, эта мысль сейчас преобладала над всем.

Мистер Клод Полтид принадлежал к типу брюнетов с быстрыми карими глазами и слегка крючковатым носом, которые легко сходят за евреев, но которые на самом деле финикияне; он принял Сомса в комнате, в которой все звуки заглушались толстыми коврами и плотными портьерами. Обстановка этой комнаты носила скорее интимный характер, в ней не было ни следа каких-либо документов.

Почтительно поздоровавшись с Сомсом, он с несколько нарочитой предусмотрительностью запер на ключ единственную в комнате дверь.

— Когда клиент приглашает меня к себе, — имел обыкновение говорить мистер Полтид, — он может принимать какие угодно предосторожности. Но если он приходит к нам, мы должны показать ему, что за пределы этих стен ничего не просачивается. Я могу смело сказать, уж что-что, а сохранение тайны у нас обеспечено...

— Итак, сэр, чем могу служить?

У Сомса что-то подступило к горлу, так что он с тру — дом мог заговорить. Надо скрыть, во что бы то ни стало скрыть от этого человека, что он не только профессионально заинтересован в этом деле, и губы его машинально сложились в обычную кривую усмешку.

— Я пришёл к вам так рано, потому что здесь нельзя терять ни минуты! (Если он упустит хоть минуту, он уже потом не решится.) Есть ли у вас в данный момент вполне надёжная женщина?

Мистер Полтид открыл ящик стола, вытащил записную книжку, пробежал её глазами, положил обратно. И снова запер ящик на ключ.

— Да, — сказал он, — есть, именно то, что вам нужно.

Сомс уселся, положив ногу на ногу, — ничто не изобличало его, кроме лёгкой краски на щеках, которая могла сойти за его обычный цвет лица.

— Так вот, сейчас же пошлите её наблюдать за миссис Ирэн Эрон, квартира С, Труро-Мэншенс, Челси, впредь до дальнейшего распоряжения.

— Будет в точности исполнено, — сказал мистер Полтид, — развод, насколько я понимаю? — и он засопел в телефонную трубку: — Миссис Бланч здесь? Мне нужно будет переговорить с ней минут через десять.

— Вы будете сами принимать все донесения, — продолжал Сомс, — и пересылать их мне лично с надписью «секретно», заказным, с сургучной печатью. Мой клиент требует строжайшей тайны.

Мистер Полтид улыбнулся, словно говоря: «Нашли кого учить, дорогой сэр!» — и его взгляд, на одну секунду потеряв профессиональное выражение, скользнул по лицу Сомса.

— Он может быть вполне спокоен, — сказал он. — Курите?

— Нет, — сказал Сомс. — Поймите меня хорошенько, все это может кончиться ничем, но если станет известным чьё-нибудь имя или будет заподозрена слежка, это может иметь очень серьёзные последствия.

Мистер Полтид кивнул.

— Я могу это пустить по разряду зашифрованных дел.

При этой системе имена вообще не упоминаются, мы работаем под номерами. — Он открыл другой ящик стола и достал оттуда два листка бумаги, написал на них что-то и передал один листок Сомсу. — Оставьте это у себя сэр; это будет вашим ключом. Я оставлю себе дубликат. Мы назовём это дело 7х; объект, который мы будем держать под наблюдением, будет 17; наблюдатель — 19; дом — 25; вы, я хочу сказать ваша фирма — 31; наша фирма — 32, я сам — 2. На случай, если вам понадобится в письме упомянуть вашего клиента, я обозначу его 43; всякий подозреваемый объект будет 47; второй такой же объект — 51. Будут какие-нибудь особые указания?

— Нет, — сказал Сомс, — но соблюдать величайшую осторожность.

Опять мистер Полтид кивнул.

— Расходы?

Сомс пожал плечами.

— В пределах необходимости, — коротко ответил он и встал. — И пусть это будет всецело в вашем личном ведении.

— Всецело, — повторил мистер Полтид, неожиданно очутившись между ним и дверью. — Я скоро загляну к вам по тому, другому, делу. До свидания, сэр.

Его взгляд, ещё раз утратив профессиональное выражение, скользнул по Сомсу, затем он открыл дверь.

— До свидания, — сказал Сомс, не оглядываясь.

Выйдя на улицу, он мрачно, тихо выругался. Паутина, да, и, чтобы разорвать её, он вынужден прибегать к этому паучьему, гнусному, тайному способу, столь омерзительному для всякого, кто привык считать свою частную жизнь святой святых своей собственностью. Но дело сделано, теперь поздно отступать. Он пришёл в Полтри и запер подальше зелёный сафьяновый футляр и ключ к этому шифру, который должен был показать ему с кристальной ясностью его семейный крах.

Странно, что человек, который всю жизнь только и занимался тем, что выносил на свет частные раздоры собственников и чужие семейные дразги, так страшился обнаружить перед людьми свои собственные семейные дела, я, однако, не так странно, потому что кому же, как не ему, было знать всю эту бесчувственную процедуру узаконенного регламента?

Он работал весь день не отвлекаясь. В четыре часа он ждал Уинифрид, чтобы поехать с ней в Темпл⁴⁴ на совещание с королевским адвокатом Дриммером; поджидая её, он перечёл письмо, которое заставил её написать в день отъезда Дарти и в котором она предлагала мужу

⁴⁴ *Темпл* — название архитектурного комплекса на набережной Темзы, в центральной части Лондона, где размещаются две из четырех известных юридических корпораций.

вернуться:

*"Дорогой Монтегью,
Я получила Ваше письмо, где Вы пишете, что покидаете меня навсегда и уезжаете в Буэнос-Айрес. Это, конечно, было для меня большим ударом. Я пользуюсь первой возможностью написать Вам и сказать, что я готова забыть прошлое, если Вы вернётесь ко мне сейчас же. Прошу Вас, сделайте это. Я очень расстроена и теперь больше ничего не могу сказать. Я посылаю это письмо заказным по адресу, который Вы оставили в Вашем клубе. Прошу Вас, ответьте мне каблограммой.*

Ваша все ещё любящая жена Уинифрид Дарти".

Уф! Что за жалкая чепуха! Он вспомнил, как он стоял, нагнувшись над Уинифрид, когда она переписывала то, что он набросал карандашом, и как она вдруг, положив перо, сказала:

— А вдруг он придет. Сомс! — и таким странным голосом, словно сама не знала, чего ей хочется.

— Он не придет, — ответил он, — пока не истратит всех денег. Поэтому-то нам и надо действовать не откладывая.

К копии этого письма была приложена нацарапанная в пьяном виде записка Дарти из «Айсиум-Клуба». Сомс предпочёл бы, чтобы она не свидетельствовала так явно о его пьяном состоянии. Это именно то, к чему придерётся суд. Он словно слышал голос судьи: «И вы могли принять это всерьёз! И даже настолько, что написали ему это письмо? Неужели вы думаете, что он действительно намеревался так поступить?» Ну, да теперь все равно! Факт несомненный: Дарти уехал и не вернулся. Вдобавок тут же приложена его каблограмма: «Возвращение невозможно. Дарти». Сомс покачал головой. Если со всем этим делом не будет покончено в течение ближайших Месяцев, этот негодяй опять свалится им на голову — Избавиться от него это сохранить по крайней мере тысячу фунтов в год, не говоря уже о всех неприятностях, которые он доставляет Уинифрид и отцу. «Надо будет принажать на Дримера, — подумал Сомс. — Необходимо подтолкнуть дело».

Уинифрид, которая теперь носила нечто вроде полутраура, что очень шло к её светлым волосам и статной фигуре, приехала в коляске Джемса, запряжённой его парой. Сомс не видел этой коляски в Сиги уже пять лет, с тех самых пор как его отец вышел из дела, и поразился, до чего она нелепо выглядит. «Времена меняются, — подумал он, — неизвестно ещё, что будет дальше. Вот уже и цилиндры теперь реже попадаются». Он спросил её о Вэле. Вэл, сказала Уинифрид, писал, что он в следующем семестре собирается играть в поло. По её мнению, он вошёл в очень хорошее общество. Стараясь не выдать своего беспокойства, она спросила непринуждённо-светским тоном:

— Моё дело будет очень громким. Сомс? Оно непременно попадёт в газеты? Как это нехорошо для Вэла и для девочек.

Полный мыслями о своей собственной катастрофе. Сомс ответил:

— Газеты — это пронырливая штука; мало надежды, что они не пронюхают. Они делают вид, что охраняют общественную нравственность, а сами только развращают публику своими гнусными отчётами. Но до этого ещё далеко. Сегодня у нас будет только разговор с Дримером о восстановлении тебя в супружеских правах. Он, конечно, понимает, что ты хочешь добиться развода, но ты должна делать вид, что действительно жаждешь вернуть Дарти, и ты с ним так и держи себя сегодня.

Уинифрид вздохнула.

— Монти — вот кто умел паясничать!

Сомс окинул её проницательным взглядом. Ему было совершенно ясно, что она неспособна принимать своего Дарти всерьёз, и, дай ей только малейшую возможность, она охотно прекратит дело. Чутьё подсказывало ему быть твёрдым с самого начала. Не пойти сейчас на маленький скандал — это значит обречь сестру и её детей на настоящий позор, а в

конце концов и на разорение, если допустить, чтобы Дарти сел им опять на шею: он ведь будет опускаться все ниже и проматывать деньги, которые Джемс оставит дочери. Хотя капитал и закреплён, этот негодяй сумеет выдоить что-нибудь и из завещания и заставить свою семью заплатить какие угодно деньги, лишь бы спасти его от банкротства или, может быть, даже от тюрьмы! Они оставили на набережной лоснящийся экипаж с лоснящимися лошадьми и слугами в лоснящихся цилиндрах и вошли в резиденцию королевского адвоката Дримера на КраунОффис-Роу.

— Мистер Бэлби здесь, сэр, — сказал клерк. — Мистер Дример будет через десять минут.

Мистер Бэлби — младший поверенный, но не такой уж младший, каким он мог бы быть, ибо Сомс обогащался исключительно к адвокатам с установившейся репутацией (для него, в сущности, было загадкой, каким образом эти адвокаты ухитрялись создать себе такую репутацию, которая вынуждала его обращаться к ним), — мистер Бэлби восседал, просматривая, по-видимому, в последний раз какие-то бумаги. Он только что вернулся из суда и был в парике и в мантии, которые отменно шли к его носу, выдававшемуся вперёд, словно ручка миниатюрного насоса, к его маленьким хитрым голубым глазкам и несколько выпирающей нижней губе — нельзя было представить себе лучшего дополнения и подкрепления Дримеру.

Когда церемониал представления его Уинифрид окончился, они, перескочив через погоду, заговорили о войне. Сомс неожиданно прервал их:

— Если он не подчинится, мы все равно не можем начать процесс раньше, чем через шесть месяцев. Я бы хотел продвинуть это дело, Бэлби.

Мистер Бэлби, говоривший с чуть заметным ирландским акцентом, улыбнулся Уинифрид и пробормотал:

— Законная отсрочка, миссис Дарти.

— Шесть месяцев! — повторил Сомс. — Ведь это затянется до июня, а там начнутся летние каникулы, надо поднажать, Бэлби.

Немало у него будет хлопот с Уинифрид, чтобы она до тех пор не раздумала.

— Мистер Дример может принять вас, сэр.

Они поднялись и пошли: сначала мистер Бэлби, затем, по часам Сомса ровно через минуту, Уинифрид в сопровождении Сомса.

Королевский адвокат Дример в мантии, но уже без парика, стоял у камина, словно это совещание было для него чем-то вроде приёма гостей; у него было лицо цвета дублёной кожи, сильно лоснящейся, что нередко бывает при большой учёности, внушительный нос, осёдланный очками, и маленькие с проседью баки; он обладал роскошной привычкой беспрестанно щурить один глаз к прикрывать нижнюю губу верхней, приглушая слова. Кроме того, у него была манера неожиданно налетать на собеседника, и это, вместе с малоободряющим тембром голоса и привычкой издавать глухое ворчание, прежде чем заговорить, создало ему в судебных процессах по бракоразводным и наследственным делам такую репутацию, какую могли бы оспаривать очень немногие. Выслушав с прищуренным глазом перечень фактов, бодро изложенный мистером Бэлби, он заворчал и сказал:

— Все это я знаю, — и, неожиданно налетев на Уинифрид, глухо выдавил: — нам хочется вернуть его домой, не правда ли, миссис Дарти?

Сомс предусмотрительно вмешался:

— Положение моей сестры действительно невыносимо.

Дример заворчал:

— Вот именно. Итак, можем ли мы доверять его каблограмме, или нам подождать до после рождества, чтобы дать ему возможность написать вам, вопрос, по-видимому, в этом?

— Чем раньше... — начал Сомс.

— Вы что скажете? — спросил Дример, налетая неожиданно на Бэлби.

Мистер Бэлби, казалось, что-то вынюхивал в воздухе, как собака.

— Дело может пойти в суд не раньше половины декабря. Нам нет надобности

предоставлять ему свободу и дальше.

— Нет, — сказал Сомс. — Зачем вынуждать мою сестру терпеть все эти неприятности, когда он предпочёл сбежать...

— К чёрту на кулички, — сказал Дример, опять налетая на него, — вот именно. Нечего людям бегать к чёрту на кулички, не правда ли, миссис Дарти? — и он распустил свою мантию, как павлиний хвост. — Согласен с вами. Мы можем начать действовать. Что ещё?

— Пока ничего, — выразительно сказал Сомс. — Я хотел вас познакомить с сестрой.

Дример заворчал нежно:

— Очень приятно. До свидания.

И опустил веер своей мантии.

Они вышли друг за другом. Уинифрид спустилась по лестнице. Сомс задержался. Дример, что ни говори, все-таки произвёл на него впечатление.

— Со свидетельскими показаниями, я думаю, всё будет благополучно, сказал он Бэлби. — Между нами, если мы не покончим с этим делом как можно скорее, можно опасаться, что мы с ним вообще не покончим. Как вы думаете, он понимает это?

— Я намекну ему, — сказал Бэлби. — Да он человек хороший, хороший человек.

Сомс кивнул и поспешно направился следом за Уинифрид. Она стояла на сквозняке и кусала губы под вуалью; он сказал:

— Показания горничной с парохода будут достаточно убедительны.

Лицо Уинифрид приняло жёсткое выражение, она выпрямилась, и они пошли к экипажу. И всё время, пока они молча ехали на Грин-стрит, у обоих в глубине сознания неотступно вертелась одна и та же мысль: «Почему, ах, почему мне приходится вот так выставлять напоказ мои невзгоды? Нанимать сыщиков, чтобы они копались в моих личных несчастьях? Ведь не я же этому виной».

V. ДЖОЛЛИ В РОЛИ СУДЬИ

Инстинкт собственности, подвергшийся столь жестокому удару у двух членов семьи Форсайтов и побуждавший их ныне искать избавления от того, чем они больше не могли владеть, с каждым днём все настойчивее заявлял о своих правах в британском — государстве. Николае, вначале с таким сомнением относившийся к войне, которая неизбежно нанесёт ущерб капиталу, теперь говорил, что эти буры преупрямый народишко; на них уходит уйма денег, и чем скорее их проучат, тем лучше. Он бы послал туда Вулзли⁴⁵! Отличаясь способностью всегда видеть несколько дальше, чем другие, — почему он и владел наиболее значительным состоянием из всех Форсайтов, — он уже давно понял что Буллер — не такой человек, какой там нужен: он топчется на одном месте как бык, и, если они вовремя не примут мер, Ледисмит будет взят! Это было в самом начале декабря, так что, когда пришла «Чёрная неделя»⁴⁶, он мог всякому сказать: «Я же вам говорил». В течение этой недели сплошного мрака, какого Форсайты, не помнили на своём веку, «очень молодой» Николае с таким усердием проходил обучение в своём отряде, который именовался «Собственный самого черта отряд», что молодой Николае устроил совещание с домашним врачом относительно здоровья своего сына и сильно встревожился, узнав, что он совершенно здоров. Юноша только что получил диплом юриста и с помощью кое-каких издержек был допущен к адвокатской практике, и для его отца и матери эта его игра с военной выучкой в такое время, когда военная выучка гражданского населения могла в любой момент

⁴⁵ *Вулзли Гарнет Джозеф (1833—1913)* — английский генерал, весьма популярный среди английской буржуазии как «специалист» по колониальным войнам.

⁴⁶ «Чёрная неделя» — 10—15 декабря 1899 г.; за этот короткий период англичане потерпели ряд сокрушительных поражений от буров.

понадобиться на фронте, представлялась каким-то кошмаром. Его дед, разумеется, высмеивал эти опасения: он был воспитан в твёрдом убеждении, что Англия не ведёт никаких иных войн, кроме мелких и профессиональных, и питал глубочайшее недоверие к имперской политике, которая к тому же сулила ему одни убытки, так как он держал акции «ДеБир», теперь неуклонно падавшие, а это в его глазах было уже само по себе вполне достаточной жертвой со стороны его внука.

В Оксфорде, однако, преобладали иные чувства. Брожение, свойственное молодёжи, собранной в массу, постепенно в течение двух месяцев, предшествовавших «Чёрной неделе», привело к образованию двух резко противоположных групп. Нормальная английская молодёжь, обычно консервативного склада, хотя и не принимала вещи слишком всерьёз, горячо стояла за то, чтобы довести войну до конца и хорошенько вздуть буров. К этой более многочисленной группе естественно примыкал Вал Дарти. С другой стороны, радикально настроенная молодёжь, небольшая, но более голосистая группа, стояла за прекращение войны и за предоставление бурам автономии. Однако до наступления «Чёрной недели» обе группы оставались более или менее аморфными, острых краёв у них не наблюдалось, и споры велись в пределах чисто академических. Джолли принадлежал к числу тех, кто не считал возможным примкнуть безоговорочно к той или другой стороне. Унаследованная им от старого Джолиона любовь к справедливости не позволяла ему быть односторонним. Кроме того, в его кружке «лучших» был один сектант, юноша крайне передовых взглядов и большого личного обаяния, Джолли колебался. Отец его, казалось, тоже не имел определённого мнения. И хотя Джолли, как это свойственно двадцатилетнему юноше, зорко следил за своим отцом, присматриваясь, нет ли в нём недостатков, которые ещё не поздно исправить, все же этот отец обладал — чем-то, что облекало неким своеобразным очарованием его кредо иронической терпимости. Люди искусства, разумеется, заведомо типичные Гамлеты, и это до известной степени приходится учитывать в собственном отце, даже если его и любишь. Но основное убеждение Джолиона, а именно, что не совсем благовидно совать нос, куда тебя не просят (как сделали уитлендеры), а потом гнуть свою линию, пока не сядешь людям на голову, — это убеждение, было ли оно действительно обосновано или нет, обладало известной привлекательностью для его сына, высоко ценившего благородство. С другой стороны, Джолли терпеть не мог людей, которые в его кружке носили прозвище «чудил», а в кружке Вэла «тюфяков»; итак, он всё ещё колебался" пока не пробили часы «Чёрной недели». Раз, два три — прозвучали зловещие удары в Стормберге, в Магерсфонтейне, в Колензо⁴⁷. Упрямая английская душа после первого удара воскликнула: «Ничего, есть ещё Метьюен⁴⁸!» После второго: «Ничего, есть ещё Буллер!» Затем в непроходимом мраке ожесточилась. И Джолли сказал самому себе: «Нет, к чёрту! Пора проучить этих мерзавцев; мне всё равно, правы мы или нет». И если бы он только знал, что отец его думал то же самое!

В последнее в семестре воскресенье Джолли был приглашён на вечеринку к одному из «лучших». После второго тоста «за Буллера и к чёрту буров» пили местное бургундское и бокалы осушали до дна — он заметил, что Вал Дарти, который тоже был в числе приглашённых, смотрит на него с усмешкой и что-то говорит своему соседу. Джолли был уверен, что это что-то оскорбительное для него. Отнюдь не принадлежа к числу тех юношей, которые любят обращать на себя внимание или устраивать публичные скандалы, он только покраснел и закусил губу. Глухая неприязнь, которую он всегда испытывал к своему троюродному брату, сразу возросла и усилилась. «Хорошо, — подумал он, — подожди, дружок!» Некоторый излишек вина, которое, как того требует обычай, поглощается на

⁴⁷ *Стормберг, Магерсфонтейн, Колензо* — города в Южной Африке; места, где англичане потерпели поражение от буров последовательно 10, 11 и 15 декабря 1899 г.

⁴⁸ *Метьюен* — английский генерал разбитый бурами при Магерсфонтейне 11 декабря 1899 г.

вечеринках в количестве более чем полезном, помог ему не забыть подойти к Вэлу, когда ни все гурьбой вышли на пустынную улицу, и тронуть его за рукав.

— Что вы там сказали про меня?

— Разве я не в праве говорить все что хочу?

— Нет!

— Ах так. Ну, я сказал, что вы бурсфил, и это так и есть.

— Вы лжец.

— Вы хотите драться?

— Разумеется; только не здесь, в саду.

— Отлично! Идём.

Они пошли, подозрительно косясь друг на друга, нетвёрдо держась на ногах, но настроенные решительно; перелезли через решётку сада. Зацепившись за острые прутья, Вэл слегка разорвал рукав, что на время поглотило его мысли. Мысли Джолли были поглощены тем, что драка будет происходить во владениях чужого колледжа. Это не дело, ну да все равно — этакое животное!

Они прошли по траве под деревья, где было совсем темно, и сняли пиджаки.

— Вы не пьяны? — вдруг спросил Джолли. — Я не могу драться с вами, если вы пьяны.

— Не больше, чем вы.

— Ну, отлично.

Не подав друг другу руки, они оба разом стали в оборонительную позицию. Они слишком много выпили, чтобы драться по всем правилам искусства, а поэтому особенно тщательно следили за положением своих рук и ног до тех пор, пока Джолли как-то случайно не съездил Вэлу по носу. После этого началась слепая, безобразная драка под густой тенью старых деревьев, и некому было крикнуть им: «Тайм!» — и, запыхавшиеся, избитые, они только тогда расцепились и отскочили друг от друга, когда чей-то голос произнёс:

— Ваши фамилии, молодые люди?

От звука этого спокойного голоса, раздавшегося под фонарём у садовой калитки, словно голос некоего божества, нервы их сдали, и, схватив пиджаки, они бросились к ограде, перемахнули через неё и побежали к тому пустынному переулку, где было положено начало драке. Здесь в тусклом свете они вытерли свои потные физиономии и, не обменявшись ни словом, пошли на расстоянии десяти шагов друг от друга к воротам колледжа. Они молча вышли; Вэл направился по Бруэри на Брод-стрит, Джолли — переулком на Хай-стрит. Его все ещё затуманенные мысли были полны сожалений о том, что он не показал настоящей школы, и ему припоминались теперь все каунтеры и нокауты, которых он не нанёс своему противнику. Ему рисовался другой, воображаемый поединок, совсем не похожий на тот, в котором он только что участвовал, необыкновенно благородный, с шарфами, на шпагах, с выпадами и парированием, словом, точь-в-точь как в романах его любимца Дюма. Он воображал себя Ла-Модем, Арамисом, Бюсси, Шико, д'Артаньяном, всеми сразу, но вовсе не соглашался видеть Вэла Коконассом, Бриссаком или Рошфором. Нет, просто это преотвратительный кузен, в котором нет ни капли благородства. Ну черт с ним! Он всё-таки здорово закатил ему раза два. «Бурофил!» Слово все ещё жгло его, и мысль пойти записаться добровольцем мелькала в его мучительно ноющей голове; вот он скачет по велдту, палит без промаха, а буры рассыпаются во все стороны, как кролики. И, подняв воспалённые глаза, он увидел звезды, сверкающие меж крышами домов, и себя самого, лежащего на голой земле в Кару (это где-то там), завернувшись в одеяло, с винтовкой наготове, вперив взгляд в сверкающее небо.

Утром у него отчаянно болела голова, которую он лечил, как подобало одному из «лучших», — окунал в холодную воду, затем приготовил себе крепчайший кофе, которого не мог пить, и ограничился за завтраком несколькими глотками рейнвейна. Синяк на щеке он объяснил басней о каком-то болване, который налетел на него из-за угла. Он ни за что на свете не признался бы в этой драке, так как, если хорошенько подумать, она далеко не

соответствовала тем правилам, которые он для себя выработал.

На следующий день он поехал в Лондон, а оттуда в Робин-Хилл. Там никого не было, кроме Джун и Холли, так как отец уехал в Париж. Каникулы он провёл, слоняясь без цели, не находя себе места и совсем не общаясь ни с одной из своих сестёр. Джун, разумеется, была поглощена своими «несчастненькими», которых Джолли, как правило, не переносил, в особенности этого Эрика Коббли с его семьёй, «абсолютно посторонних людей», которые вечно торчали у них в доме во время каникул. А между ним и Холли возник какой-то странный холодок, точно у неё появились теперь свои собственные мнения, что было совсем ни к чему. Он яростно упражнялся с мячом, бешено скакал один по Ричмонд-парку, ставя себе целью перескакивать через высокие колючие плетни, которыми были загорожены кое-какие запущенные, поросшие травой аллеи, — это он называл не распускаться. Боязнь страха у Джолли была сильнее, чем это бывает у других юношей. Он купил себе винтовку и устроил стрельбище неподалёку от дома: стрелял через пруд в стену огорода, подвергая опасности огородников, — ведь может случиться, что в один прекрасный день он отправится волонтёром спасать Южную Африку для своей родины. Действительно, теперь, когда повсюду вербовали волонтёров, он совсем растерялся. Следует ли ему записаться? Никто из «лучших», насколько было ему известно, — а он переписывался с некоторыми из них, — не думал отправляться на фронт. Если бы кто-нибудь из них положил начало, он пошёл бы не задумываясь — сильно развитое в нём честолюбие и чувство подчинения тому, что принято и полагается в данном кругу, не позволили бы ему ни в чём отстать от других, но поступить так по собственному почину — это может показаться фанфаронством, потому что, конечно, на самом деле в этом нет никакой необходимости. Кроме того, ему не хотелось идти, потому что в натуре этого юного Форсайта было что-то, что удерживало его от опрометчивых поступков. Чувства его находились в полном смятении, мучительном и тревожном разладе, и он был совсем не похож на своё прежнее ясное и даже несколько величественно-невозмутимое "я".

И вот как-то раз он увидел нечто такое, что привело его в страшное беспокойство и негодование: двух всадников на одной из аллей парка около Хэм-Гейт, причём она, слева, вне всякого сомнения, была Холли на своей серебристой каурке, а справа, в этом тоже совершенно не приходилось сомневаться, был этот «хлыщ», Вэл Дарти. Первой мыслью Джолли было пришпорить лошадь, нагнать их и потребовать у них объяснения, что сие означает, потом приказать этому субъекту убраться и самому отвезти Холли домой. Второй мыслью было, что он останется в дураках, если они откажутся повиноваться. Он повернул свою лошадь за дерево, но тут же пришёл к заключению, что шпионить за ними тоже совершенно недопустимая вещь. Ничего не оставалось, как ехать домой и дожидаться её возвращения! Тайком завела дружбу с этим пшютом! Он не мог посоветоваться с Джун, потому что она с утра увязалась в Лондон с этим Эриком Коббли и его семейством. А отец всё ещё был в этом проклятом Париже. Джолли чувствовал, что сейчас-то и наступил один из тех моментов в его жизни, к которым он с таким усердием готовился в школе, где он и ещё один мальчик, по фамилии Брент, зажигали газеты и клали их на пол посреди комнаты, чтобы приучить себя к хладнокровию в минуту опасности. Но он далеко не чувствовал себя хладнокровным, когда стоял в ожидании на конюшенном дворе и рассеянно поглаживал Балтазара, который, разомлев, как старый толстый монах, и, стосковавшись по хозяину, поднимал морду, задыхаясь от благодарности за такое внимание. Прошло полчаса, прежде чем Холли вернулась, покрасневшая и такая хорошенькая, какой она просто даже не имела права быть. Он видел, как она быстро взглянула на него — виновато, конечно, — вошёл за ней в дом и, взяв её за руку, повёл в бывший кабинет деда. Эта комната, в которую теперь редко заглядывали, все ещё хранила для них обоих следы присутствия того, с кем неизменно связывалось воспоминание о нежной ласке, длинных седых усах, запахе сигар и весёлом смехе. Здесь Джолли в счастливую пору детства, ещё задолго до того, как он поступил в школу, сражался со своим дедом, который даже в восемьдесят лет отличался неподражаемым искусством зацеплять его согнутой ногой. Здесь Холли, взобравшись на

ручку громадного кожаного кресла, приглаживала завитки серебряных волос над ухом, в которое она шептала свои секреты. Через эту стеклянную дверь они все трое бесчисленное количество раз устремлялись на лужайку играть в крикет и в таинственную игру, называвшуюся «Уопси-дузл», непонятную для непосвящённых, но приводившую старого Джолиона в страшный азарт. Сюда однажды летней ночью явилась Холли в ночной рубашонке — ей приснился страшный сон, и требовалось её успокоить. И сюда однажды в отсутствие отца привели Джолли, который начал день с того, что всыпал углекислой магнезии в только что снесённое яйцо, поданное мадемуазель Бос к завтраку, а потом повёл себя ещё хуже, после чего здесь произошёл следующий диалог:

- Послушай, мой мальчик, так не годится, ты не должен себя вести так.
 - Но она меня ударила по щеке, дедушка, и тогда я её тоже, а она меня опять.
 - Ударить женщину? Это уже совсем не годится. Ты попросил прощения?
 - Нет ещё.
 - В таком случае ты должен сделать это сейчас же.
 - Ступай.
 - Но ведь она начала первая, дедушка, и она меня ударила два раза, а я только раз.
 - То, что ты сделал, дорогой мой, считается очень гадким и стыдным.
 - Да, но ведь это она разозлилась, а я вовсе нет.
 - Иди сейчас же.
 - Тогда и вы тоже, дедушка, пойдёте со мной.
 - Хорошо, но только на этот раз.
- И они пошли рука об руку.

Сюда, где томики Веверлея, сочинения Байрона, «Римская империя» Гиббона⁴⁹, «Космос» Гумбольдта⁵⁰, бронза на камине и шедевр масляной живописи «Голландские рыбацьи лодки на закате» — все оставалось неизменным, как сама судьба, и, казалось, старый Джолион по-прежнему мог бы сидеть здесь в кресле, положив ногу на ногу, и поверх развёрнутого «Таймса» виднелись бы его высокий лоб и спокойные глубокие глаза, — сюда пришли они оба, его внук и внучка. И Джолли сказал:

— Я видел тебя с этим субъектом в парке.

Краска, вспыхнувшая на её щеках, доставила ему удовлетворение: разумеется, ей должно быть стыдно!

— Ну и что же? — сказала она.

Джолли был потрясён; он ждал большего или гораздо меньшего.

— А знаешь ли ты, — сказал он внушительно, — что он недавно назвал меня бурофилом и мне пришлось с ним драться?

— Кто же победил?

Джолли хотелось ответить: «Победил бы я», но это показалось ему ниже его достоинства.

— Послушай, — сказал он, — что это все значит? Никому не сказав...

— А зачем мне говорить? Папы нет, почему я не могу кататься с ним верхом?

— Ты можешь кататься со мной. Я считаю его просто наглцом.

Холли побледнела от негодования.

— Неправда! Ты сам виноват, что невзлюбил его.

И, быстро шагнув мимо брата, она вышла, оставив его неподвижно смотреть на бронзовую Венеру на черепахе, которая до сих пор была закрыта от него тёмной головкой

⁴⁹ *Римская империя Гиббона* — многотомный труд английского историка Гиббона (1737—1794) «История упадка и разрушения Римской империи».

⁵⁰ *«Космос» Гумбольдта* — Имеется в виду капитальный труд по физической географии выдающегося немецкого естествоиспытателя и путешественника Александра Гумбольдта (1769—1859), который по замыслу автора должен был содержать все имевшиеся в то время знания о Вселенной.

сестры в мягкой фетровой шляпе. Он чувствовал себя потрясённым до глубины своей юной души. Власть, которую он считал незыблемой, низверженная, разбитая, валялась у его ног. Он подошёл к Венере и машинально стал рассматривать черепаху. Почему он невзлюбил Вэла Дарти? Он не мог сказать. Незнакомый с семейной историей, смутно осведомлённый о какой-то вражде, которая возникла тринадцать лет назад, когда Босини покинул Джун из-за жены Сомса, он ничего, в сущности, не знал о Вале и не мог разобраться в своих чувствах. Он просто не любил его. Однако нужно было решить вопрос: что ему делать? Правда, Вэл Дарти их троюродный брат, но тем не менее это совершенно недопустимая, вещь, чтобы Холли самостоятельно встречалась с ним. Однако «доносить» о том, что он узнал случайно, было против принципов Джолли. Поглощённый этой трудной дилеммой, он сделал несколько шагов по комнате и сел в кожаное кресло, положив ногу на ногу. Спустились сумерки, а он сидел и смотрел в высокое окно на старый дуб, могучий, но безлистый, медленно превращавшийся в глубокую тёмную тень на фоне сумерек.

«Дедушка!» — подумал он без всякой последовательности и вынул часы. Ему не видно было стрелок, но он завёл репетир. Пять часов! Это были первые дедушкины золотые часы — отполированные временем, со стёршейся чеканкой, со следами бесчисленных падений. Звон их был точно смутный голос из того золотого времени, когда они только что приехали из Сент-Джонс-Вуда в этот дом, приехали с дедушкой в его коляске и сейчас же бросились к деревьям. Деревья, по которым можно было лазить, а дедушка внизу поливал грядки с геранью! Что же делать? Написать папе, чтобы он приехал? Посоветоваться с Джун? Но только она... она такая несдержанная! Не предпринимать ничего, может быть, и так все уладится? В конце концов ведь каникулы скоро кончатся. Пойти к Вэлу и потребовать, чтобы он с ней не встречался? Но как узнать его адрес? Холли не скажет! Целый лабиринт путей, туча возможностей! Он закурил. Когда он выкурил папиросу до половины, лоб его разгладился, словно чья-то худая старческая рука нежно провела по нему; и словно что-то шепнуло ему на ухо: «Не делай ничего. Будь добрым с Холли, будь добрым с ней, мой мальчик!» И Джолли вздохнул глубоко и облегчённо, выпуская дым из ноздрей...

А наверху у себя в комнате Холли, уже сняв амазонку, все ещё хмурилась.

— Нет, не наглец, вовсе нет! — беззвучно твердили её губы.

VI. ДЖОЛИОН В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ

Небольшой привилегированный отель над знаменитым рестораном рядом с Сен-Лазарским вокзалом был постоянным пристанищем Джолиона в Париже. Он не переносил за границей своих соотечественников Форсайтов, которые, как рыба, вытасченная из воды, бессмысленно трепыхались в пределах одного и того же круга: Опера, улица Риволи, «Мулен-Руж». Самый вид их, заявлявший о том, что они приехали сюда потому, что им как можно скорее требовалось очутиться в каком-нибудь другом месте, раздражал Джолиона. Но ни один Форсайт не приближался к этому убежищу, где в спальне у Джолиона камин топился дровами и кофе был превосходного качества. Париж всегда казался ему более привлекательным зимой. Терпкий запах дровяного дыма и жаровень с пекущимися каштанами, резкие эффекты зимнего солнца в ясные дни, открытые кафе, не боящиеся прохладного зимнего воздуха, оживлённая, живущая своей жизнью толпа на бульварах — все словно свидетельствовало о том, что зимний Париж наделён душой, которая, подобно перелётной птице, летом улетает.

Джолион хорошо говорил по-французски, у него были кое-какие приятели, и он знал несколько уютных местечек, где можно было недурно поесть и встретить интересные типы, достойные наблюдения. В Париже он чувствовал себя настроенным философски; ирония его приобретала остроту; жизнь наполнялась неуловимым, не преследующим никаких целей смыслом, становилась букетом ароматов, тьмой, прорезаемой изменчивыми вспышками света.

В первых числах декабря, решив отправиться в Париж, Джолион не допускал и мысли,

что немалую роль в его решении играет отъезд Ирэн. Не успел он пробыть там и Двух дней, как ему пришлось сознаться, что желание видеть её было, в сущности, главной причиной его приезда. В Англии человек не признается в том, что для него естественно. Он думал, что ему надо будет переговорить с ней о сдаче её квартиры и о других делах, но в Париже он сразу понял, что суть не в этом. В городе словно таились какие-то чары. На третий день он написал ей и получил ответ, от которого все существо его радостно встрепенулось:

*«Дорогой Джолион, Я буду очень, очень рада увидеть вас.
Ирэн».*

Был ясный, солнечный день, когда он отправился к ней в отель; он шёл с таким чувством, с каким, бывало, отправлялся смотреть на какую-нибудь любимую картину. Ни одна женщина, кажется, не вызывала у него этого своеобразного, чувственного и в то же время совершенно безличного ощущения. Он будет сидеть и с наслаждением смотреть на неё, потом уйдёт, зная её все так же мало, но готовый завтра снова прийти и снова смотреть на неё. Таковы были его чувства, когда в маленькой, потускневшей от времени, но кокетливой гостиной тихого отеля около реки Ирэн подошла к нему, предшествуемая мальчиком-слугой, который, провозгласив: «Мадам», тут же исчез. Её лицо, улыбка, движения были точь-в-точь такие, как он их себе рисовал, и выражение её лица ясно говорило: «Друг».

— Ну, — сказал он, — что нового, бедная изгнанница?

— Ничего.

— Никаких новостей от Сомса?

— Никаких.

— Я сдал вашу квартиру и, как верный управляющий, привёз вам немножко денег. Как вам нравится Париж?

Пока Джолион учинял этот допрос, ему казалось, что он никогда не видал таких прекрасных и выразительных губ; линия нижней губы чуть-чуть изгибалась кверху, а в уголке верхней дрожала чуть заметная ямочка. Он словно впервые увидел женщину в том, что до сих пор было всего лишь нежной одухотворённой статуей, которой он почти отвлечённо любовался. Она создалась, что жить одной в Париже немножко тяжело, но в то же время Париж так полон своей собственной жизнью, что он чаще всего безопасен, как пустыня. Кроме того, англичан здесь сейчас не любят.

— Но вряд ли это касается вас, — сказал Джолион — Вы должны нравиться французам.

— Это имеет свои неприятные стороны.

Джолион кивнул.

— Ну, пока я здесь, вы должны предоставить мне показать вам Париж. Начнём завтра. Приходите обедать в мой излюбленный ресторан, а затем мы пойдём в Комическую оперу.

Так было положено начало ежедневным встречам.

Джолион скоро пришёл к заключению, что для тех, кто стремится сохранить чувства в равновесии, Париж первое и последнее место, где можно быть на дружеской ноге с красивой женщиной. На него словно снизошло откровение, оно, как птица, трепетало в его сердце, распевая: «Elle est ton reve, elle est ton reve!»⁵¹ Порой это казалось естественным, порой нелепым — тяжёлый случай запоздалого увлечения. Будучи однажды отвергнут обществом, он давно отвык считаться с условной моралью; но мысль о любви, на которую она не могла ответить, — ну, как она может, в его-то годы? — вряд ли шла дальше его подсознания. Кроме того, его обуревало чувство горькой обиды за её изломанную, одинокую жизнь. Чувствуя, что он хоть немножко скрашивает ей эту жизнь, видя, что их маленькие экскурсии

⁵¹ Она — твоя мечта, она — твоя мечта! (фр.)

по городу доставляют ей явное удовольствие, он от души желал не делать и не говорить ничего такого, что могло бы нарушить это удовольствие. Как умирающее растение впитывает в себя воду, так, казалось, впитывала она в себя его дружбу. Насколько им было известно, никто, кроме него, не был осведомлён, где она находится; в Париже её не знал никто, его — очень немногие, так что им как будто и не нужно было соблюдать никакой осторожности в своих прогулках, беседах, посещениях концертов, театров, музеев, в их обедах в ресторане, поездках в Версаль, Сен-Клу и даже Фонтенебло. А время летело — проходил один из тех полных впечатлений месяцев, у которых нет ни прошлого, ни будущего. То, что в юности Джолион переживал бы, несомненно, как бурное увлечение, теперь было, пожалуй, таким же сильным чувством, но гораздо более нежным, смягчённым до покровительственной дружбы его восхищением и безнадёжностью и сознанием рыцарского долга — чувством, которое покорно замирало у него в крови, по крайней мере пока она была здесь, улыбающаяся, счастливая их дружбой, с каждым днём казавшаяся ему все более прекрасной и чуткой; её взгляды на жизнь, казалось, превосходно согласовались с его собственными, будучи обусловлены гораздо больше чувством, чем разумом. Иронически недоверчивая, восприимчивая к красоте, пылко отзывчивая и терпимая, она в то же время была способна на скрытый отпор, который ему, как мужчине, был менее свойствен. И в течение всего этого месяца, в постоянном общении с Ирэн, его никогда не покидало чувство, напоминавшее ему первый визит к ней, ощущение, которое испытываешь, глядя на любимое произведение искусства, — это почти беспредметное желание. Будущего, этого неумолимого дополнения к настоящему, он старался не представлять себе из страха нарушить своё безмятежное настроение; но он строил планы, он мечтал повторить это время где-нибудь в ещё более чудесном месте, где солнце светит жарко, где можно увидеть необычайные вещи, нарисовать их. Конец наступил быстро — двадцатого января пришла телеграмма:

"Записался волонтёром в кавалерию.

Джолли".

Джолион получил её в ту самую минуту, когда он выходил из отеля, направляясь в Лувр, чтобы встретиться там с Ирэн. Это сразу заставило его опомниться и прийти в себя. Пока он здесь предавался праздной лени, его сын, которому он должен быть наставником и руководителем, решился на великий шаг, грозящий ему опасностью, лишениями и, может быть, даже смертью. Он был потрясён до глубины души и только теперь вдруг понял, как крепко обвилась Ирэн вокруг корней его существа. Теперь, под угрозой разлуки, дружеская связь между ними — а это была уже крепкая связь — утрачивала свой беспредметный характер. Спокойная радость совместных прогулок и созерцания прекрасного миновала навсегда: Джолион понял это. Он увидел своё чувство таким, каким оно было, — безудержным и непреодолимым. Может быть, оно было смешно, но так реально, что рано или поздно оно должно обнаружиться. А теперь ему казалось, что он не может, не должен его обнаруживать. Это известие о Джолли неумолимо стояло на его пути. Он гордился его поступком, гордился своим мальчиком, который шёл сражаться за родину. На бурофильсков настроение Джолиона «Чёрная неделя» тоже оказала своё влияние. Итак, конец наступил раньше начала. Какое счастье, что он ничем ни разу не выдал себя!

Когда он пришёл в музей, Ирэн стояла перед «Мадонной в гроте»⁵² грациозная, улыбающаяся, поглощённая картиной, ничего не подозревающая. «Неужели я должен запретить себе смотреть на неё? — подумал он. — Это противоестественно, пока она позволяет мне смотреть на себя». Он стоял, и она не видела его, а он глядел, стараясь запечатлеть в себе её образ, завидуя картине, которая так приковала её внимание. Два раза она повернула голову ко входу, и он подумал: «Это относится ко мне». Наконец он подошёл.

⁵² «Мадонна в гроте» («Мадонна в скалах») — картина Леонардо да Винчи.

— Посмотрите, — сказал он.

Она прочла телеграмму, и он услышал, как она вздохнула.

Этот вздох тоже относился к нему! Его положение действительно было трудно! Чтобы быть честным по отношению к сыну, он должен просто пожать ей руку и уйти. Чтобы быть честным по отношению к своему чувству, он должен хотя бы открыть ей это чувство. Поймёт ли она, может ли она понять, почему он так молча стоит и смотрит на эту картину?

— Боюсь, что мне надо немедленно ехать домой, — наконец выговорил он. — Мне будет ужасно не хватать всего этого.

— Мне тоже. Но, разумеется, вам надо ехать.

— Итак, — сказал Джолион, протягивая руку.

Встретившись с ней взглядом, он чуть не поддался нахлынувшему на него чувству.

— Такова жизнь, — сказал он, — берегите себя, дорогая.

У него было ощущение, точно ноги его приросли к земле, точно мозг отказывается уводить его прочь от неё. В дверях он обернулся и увидел, как она подняла руку и коснулась кончиков пальцев губами. Он торжественно приподнял шляпу и больше не оборачивался.

VII. ДАРТИ ПРОТИВ ДАРТИ

Слушание дела Дарти против Дарти о восстановлении миссис Дарти в супружеских правах, относительно которых Уинифрид пребывала в столь глубокой нерешительности, приближалось в порядке естественного убывания срока, оставшегося до дня суда. Очередь до него ещё не дошла, как суд объявил перерыв на рождество, но теперь оно стояло третьим в списке. Уинифрид провела рождественские праздники несколько более светски, чем обычно, надёжно спрятав свои чувства в низко декольтированной груди. Джемс в это рождество был особенно щедр по отношению к ней, изъявляя этим своё сочувствие и радость по поводу приближающегося расторжения её брака с этим «отъявленным негодяем» — чувства, которые переполняли его старое сердце, но которых его старые губы не умели высказать.

Благодаря исчезновению Дарти падение консолей прошло для него почти незаметно; что же касается скандала, то истинная ненависть, которую он питал к этому субъекту, и все усиливающийся перевес интересов собственности над боязнью огласки в этом истинном Форсайте, готовящемся покинуть мир, способствовали его успокоению, тем более что в его присутствии все (кроме него самого) тщательно воздерживались от каких бы то ни было упоминаний об этом деле. Но его, как юриста и отца, сильно тревожило опасение, как бы Дарти не вздумал вернуться, получив постановление суда. Вот тогда и здравствуйте! Он так боялся этого, что на рождестве, передавая Уинифрид чек на крупную сумму, сказал ей: «Это главным образом для твоего беглеца, чтобы удержать его там». Это значило, конечно, швырять деньги на ветер, но в то же время было своего рода страховкой от банкротства, которое уже не будет висеть над ним, если только состоится развод; и он неотступно допрашивал Уинифрид, пока она не успокоила его, что деньги посланы. Бедная женщина! Ей стоило немалых страданий послать эти деньги, которые должны были перебраться в сумочку «этой мерзавки»! Сомс, услышав про это, покачал головой. Ведь они имеют дело не со здравомыслящим Форсайтом, который твёрдо держится намеченной цели. Это очень рискованный поступок — послать ему деньги, не зная, как там обстоит дело. Но в суде это произведёт хорошее впечатление, и он позаботится, чтобы Дример использовал это обстоятельство.

— Интересно, — неожиданно сказал он, — куда отправится этот балет после Аргентины?

Он никогда не упускал случая напоминать ей об этом, так как знал, что Уинифрид все ещё страдает слабостью если и не к Дарти, то к тому, чтобы не сплетничать о нём публично. Хотя выражать восхищение было не в его натуре, он не мог не признать, что она превосходно держит себя со своими детьми, которые, словно голодные птенцы, требующие

пищи, жадно приставали к ней с расспросами об отце, — к тому же Имоджин только что начала выезжать в свет, а Вэл очень нервничал из-за всей этой истории. Сомс чувствовал, что и Уинифрид в этом деле больше всего считалась с Вэлом, потому что она, конечно, любила его больше всех других. Этот мальчишка может помешать разводу, если он вобьёт себе это в голову. И Сомс тщательно старался, чтобы до племянника не дошло, что предварительное судебное разбирательство уже близко. Он даже решился на большее. Он пригласил его обедать в «Смену» и, когда Вэл закурил сигару, заговорил с ним о том, что, по его мнению, было ближе всего сердцу племянника.

— Я слышал, — сказал он, — что тебе хочется играть в поло в Оксфорде?

Вэл принял менее небрежную позу.

— Да, очень, — сказал он.

— Так вот, — продолжал Сомс, — это очень дорогое удовольствие. Твой дед вряд ли согласится на это, пока у него не будет уверенности, что он избавился от другого постоянного расхода.

И он замолчал, чтобы посмотреть, понял ли, племянник, что он хотел этим сказать.

Глаза Вэла спрятались под густыми тёмными ресницами, но его большой рот искривился лёгкой гримасой.

— Я полагаю, вы имеете в виду папу, — пробормотал он.

— Да, — сказал Сомс, — боюсь, что это зависит от того, будет ли он по-прежнему для него обузой, или нет.

И больше он ничего не сказал, предоставив Вэлу подумать об этом.

Но Вэл в эти дни думал ещё и о серебристо-каурой лошадке и о девушке, которая скакала на ней. Хотя Крум был в городе и мог познакомить его с Цинтией Дарк, стоило только попросить об этом, Вэл не просил; правду сказать, он даже избегал Крума и жил жизнью, которая и самому-то ему казалась удивительной, если исключить счета от портного и из манежа. Мать, сестры и младший брат удивлялись, что он в эти каникулы все только «ходит к товарищам», а вечерами сонный сидит дома. Что бы ему ни предложили, куда бы ни позвали днём, он вечно отвечал одно: «Мне очень жаль, но я обещал пойти к товарищу» и он прибегал к невероятным ухищрениям, чтобы никто не видел, что он выходит из дома и возвращается домой в костюме для верховой езды, пока, наконец, сделавшись членом «Клуба Козла», он не перенёс туда свои костюмы и там уже мог спокойно переодеваться и оттуда катить на взятой напрокат лошади в Ричмонд-парк. Он благоговейно скрывал ото всех своё все усиливающееся чувство. Ни за что в мире не признался бы он «товарищам», к которым он не ходил, в том, что, с точки зрения их и его жизненной философии, должно было казаться просто смешным. Но он не мог помешать тому, что это отбивало у него охоту ко всему другому. Это чувство преграждало ему путь к законным развлечениям молодого человека, наконец-то почувствовавшего себя независимым, превращая его в глазах Крума (можно было в этом не сомневаться) в слюнтяя и молокососа. Все его желания сводились теперь к одному: одеться в самый шикарный костюм для верховой езды и тайком от всех ускакать в Ричмонд и ждать у Робин-ГудГейт, пока не покажется серебристо-каурая лошадка, горделиво и чинно выступая под своей стройной темноволосой всадницей, и по голым, безлиственным просекам они поедут бок о бок, разговаривая не так уж много, иногда пускаясь вскачь наперегонки, иногда спокойно, шагом, взявшись за руки. Дома вечером не раз в минуты откровенности его охватывало искушение рассказать матери, как эта застенчивая, пленительная кузина вкралась в его сердце и «погубила его жизнь». Но горький опыт научил его, что все взрослые старше тридцати пяти лет способны только вмешиваться в чужие дела и все портить. В конце концов он мирился с тем, что ему придётся кончить колледж, а ей начать появляться в свете, прежде чем они смогут пожениться, — к чему же тогда усложнять дело, раз у него есть возможность видеться с ней? Сестры вечно дразнятся и вообще невыносимые создания, а брат ещё того хуже; у него нет никого, с кем бы он мог поделиться своей тайной. А теперь ещё этот проклятый развод! Ведь вот несчастье носить такую редко встречающуюся фамилию! Как хорошо, если бы его фамилия была Гордон, или

Скотт, или Говард, или ещё какая-нибудь в этом же роде, самая обыкновенная! Но Дарти — во всём адрес-календаре другого не сыщешь! С таким же успехом можно было носить фамилию Моркин, такая же редкость! Так всё шло своим чередом, но как-то раз в середине января серебристо-каурая лошадка со своей всадницей не явилась в условленный час. Томьясь ожиданием на холодном ветру, он думал: подъехать ему к дому или нет? Ведь там может быть Джолли, а воспоминание об их мрачной встрече было ещё совсем свежо. Нельзя же вечно драться с её братом! И он печально вернулся в город и провёл вечер в глубочайшем унынии. Утром за завтраком ему бросилось в глаза, что мать вышла в каком-то необыкновенном платье и в шляпе. Платье было чёрное с ярко-голубой отделкой и большая чёрная шляпа: она выглядела необыкновенно эффектно. Но когда после завтрака она сказала: «Пойди сюда. Вал», и направилась в гостиную, у него ёкнуло сердце. Уинифрид тщательно закрыла за собой дверь и поднесла к губам носовой платочек; вдыхая запах пармской фиалки, которой был надушён платок, Вэл думал: «Неужели она узнала про Холли?»

Её голос прервал его размышления:

— Ты сделаешь для меня одну вещь, мой мальчик? Вэл нерешительно усмехнулся.

— Ты не откажешься поехать со мной сегодня?

— Мне нужно пойти... — начал Вэл, но что-то в её лице остановило его. — Разве, — сказал он, — у тебя что-нибудь...

— Да. Мне нужно сегодня ехать в суд.

Уже! Эта проклятая история, о которой он почти успел забыть, потому что последнее время никто даже не говорил о ней. С чувством ужасной жалости к самому себе он стоял, покусывая кожу около ногтей. Потом, заметив, что у матери кривятся губы, он, точно его что-то толкнуло, сказал:

— Хорошо, мама, я поеду с тобой. Вот скоты!

Кто были эти скоты, он не знал, но это слово весьма точно выражало чувства обоих и установило между ними некоторое согласие.

— Я думаю, мне лучше переодеться, — пробормотал он, спасаясь в свою комнату.

Он надел другой костюм, высочайший воротничок с жемчужной булавкой в галстук и свои лучшие серые гетры, помогая себе при этом проклятьями. Поглядевшись в зеркало, он сказал:

— Будь я проклят, если я чем-нибудь выдам свои чувства! — и спустился вниз.

У подъезда он увидел дедушкину коляску и мать, закутанную в меха; у неё был такой вид, словно она отправлялась на торжественный приём к лорду-мэру. Они уселись рядом в закрытой коляске, и за всю дорогу до суда Вэл только один раз обмолвился об этом неприятном Деле:

— Ведь там не будет никаких разговоров об этом жемчуге, мама?

Пушистые белые хвостики на муфте Уинифрид слегка задрожали.

— О нет, — сказала она, — сегодня всё будет совершенно безобидно. Твоя бабушка тоже собиралась поехать, но я отговорила её. Я подумала, что ты будешь мне опорой. Ты так мило выглядишь, Вэл. Опустим немножко воротничок сзади — вот так, теперь хорошо.

— Если они будут запугивать тебя... — начал Вал.

— Да нет, никто не будет. Я буду держаться спокойно — иначе нельзя.

— Они не потребуют от меня никаких показаний?

— Нет, дорогой мой, это все уже улажено, — и она похлопала его по руке.

Её решительный тон успокоил бурю, клокотавшую в груди Вэла, и он занялся стаскиванием и натягиванием своих перчаток. Он только теперь заметил, что надел не ту пару — эти перчатки не подходили к его гетрам; они должны быть серые, а это была темно-коричневая замша; остаться в них или снять их — он никак не мог решить. Они приехали в самом начале одиннадцатого. Вал никогда ещё не был в суде, и здание произвело на него сильное впечатление.

— Чёрт возьми! — сказал он, когда они вошли в вестибюль. — Здесь можно было бы устроить целых четыре, даже пять шикарных площадок для тенниса.

Сомс дожидался их внизу у одной из лестниц.

— А, вот и вы! — сказал он, не подавая им руки, словно предстоявшее событие делало излишними такого рода формальности. — Первый зал, Хэпперли Браун. Наше дело слушается первым.

В груди у Вэла поднималось чувство, какое он испытывал, когда ему приходилось бить в крикете, но он с угрюмым видом пошёл за матерью и дядей, стараясь как можно меньше глядеть по сторонам и решив про себя, что здесь пахнет плесенью. Ему казалось, что отовсюду выглядывают какие-то любопытствующие люди, и он потянул Сомса за рукав.

— Я полагаю, дядя, вы не пустите туда всех этих гнусных репортёров?

Сомс бросил на него взгляд исподлобья, который в своё время многих вынуждал замолчать.

— Сюда, — сказал он. — Ты можешь не снимать мех, Уинифрид.

Вэл вошёл вслед за ними, разозлённый, высоко подняв голову. В этой проклятой дыре все — а народу была пропасть, — казалось, сидели друг у друга на коленях, хотя на самом деле сиденья были разделены перегородками; у Вэла было такое чувство, точно они все вместе должны провалиться сейчас в этот колодец. Но это было только минутное впечатление от красного дерева, чёрных мантий, от белых пятен париков, лиц и папок с бумагами, и все это какое-то таинственное, шепчущее, — а потом он уже сидел с матерью в первом ряду, спиной ко всем, с облегчением вдыхая запах пармских фиалок и стаскивая в последний раз свои перчатки. Мать смотрела на него; он вдруг почувствовал, что для неё действительно важно, что вот он сидит здесь, рядом с ней, почувствовал, что и он что-то значит в этом деле. Хорошо, он им покажет! Подняв плечи, он закинул ногу на ногу и с невозмутимым видом уставился на свои гетры. Но как раз в эту минуту какойто старикан в мантии и в длинном парике, ужасно похожий на морщинистую старуху, вошёл в дверь на возвышении прямо против них, и ему пришлось быстро разнять ноги и встать вместе со всеми.

— Дарти против Дарти!

Вэлу это показалось невыразимо отвратительным — как они смеют публично выкрикивать его фамилию! Но, услышав вдруг, как кто-то позади него начал говорить о его семье, он повернул голову и увидел какого-то старого олуха в парике, который говорил, словно проглатывая собственные слова, — ужасно забавный старикашка, ему раза два приходилось видеть таких субъектов на ПаркЛейн за обедом, они ещё так старательно приналегали на портвейн; теперь он знает, откуда их выкапывают. Как бы там ни было, старый олух показался ему таким занимательным, что он так бы и смотрел на него, не отрываясь, если бы мать не тронула его за руку. Вынужденный смотреть перед собой, он уставился на судью. Почему эта старая лиса с насмешливым ртом и быстро бегающими глазами имеет право вмешиваться в их частные дела? Разве у него нет своих собственных дел, наверное не меньше, и ничуть не менее пакостных? И в Вале, словно ощущение болезни, зашевелился глубоко врождённый индивидуализм Форсайтов. Голос позади него продолжал тянуть:

— Денежные недоразумения... расточительность ответчика... (Что за слово! Неужели это про его отца?) затруднительное положение... частые отлучки мистера Дарти. Моя доверительница весьма резонно, милорд согласится с этим, стремилась положить предел... вело к разорению... пыталась увещевать... игра в карты, на скачках... ("Вот правильно, — подумал Вэл, — нажимай на это! ") В начале октября кризис... ответчик написал доверительнице письмо из своего клуба, — Вэл выпрямился, уши у него пылали. Я предлагаю прочесть это письмо с необходимыми поправками, ибо это послание написано джентльменом, который, ну, скажем, хорошо пообедал, милорд.

«Скотина! — подумал Вэл, покраснев ещё больше. — Тебе платят не за то, чтобы ты острил».

— "Вам больше не удастся оскорблять меня в моём собственном. Завтра я покидаю Англию. Карта бита..." — выражение, милорд, небезызвестное тем, кому не всегда

сопутствует удача.

«Вот олухи!» — подумал Вал, вспыхивая до корней волос.

— "Мне надоело терпеть ваши оскорбления..." Моя доверительница расскажет милорду, что эти так называемые оскорбления заключались в том, что она назвала его «пределом» — выражение, осмелюсь заметить, весьма мягкое при данных обстоятельствах.

Вэл украдкой покосился на бесстрастное лицо матери: в её глазах была какая-то растерянность загнанного зверя. «Бедная мама», — подумал он и коснулся рукой её руки. Голос позади него тянул:

— "Я собираюсь начать новую жизнь. М. Д. ". И на следующий день, милорд, ответчик отправился на пароходе «Гускарора» в Буэнос-Айрес. С тех пор от него нет никаких известий, кроме каблогаммы с отказом в ответ на письмо моей доверительницы, которое она в глубоком отчаянии написала ему на другой день, умоляя его вернуться. С вашего разрешения, милорд, я попрошу теперь миссис Дарти занять свидетельское место.

Когда мать поднялась, у Вэла было неудержимое желание тоже подняться и сказать: «Послушайте, вы тут, поосторожней, я требую, чтобы вы вели себя с нею прилично». Однако он сдержал себя, услышал, как она произнесла: «Правду, всю правду, ничего, кроме правды», и поднял глаза. Она была очень эффектна в своих мехах и в большой шляпе, с лёгким румянцем на щеках, спокойная, бесстрастная, и в нём вспыхнула гордость за неё, что она так невозмутимо выступает перед этими проклятыми «законниками». Допрос начался. Зная, что это только предварительная процедура для развода, Вэл не без удовольствия следил за вопросами, поставленными так, что получалось впечатление, будто она действительно желает, чтобы отец вернулся. Ему казалось, что они очень ловко проводят этого старикана в парике. И он пережил ужасно неприятную минуту, когда судья неожиданно спросил:

— А почему ваш супруг покинул вас? Ведь не потому, конечно, что вы назвали его «пределом»?

Вэл увидел, как дядя, не шевельнувшись, поднял глаза к свидетельской скамье; услышал позади себя шелест бумаг, и инстинкт подсказал ему, что исход дела в опасности. Неужели дядя Сомс и этот старый олух позади него что-нибудь прозевали? Мать заговорила, слегка растягивая слова:

— Нет, милорд, но все это тянулось уже довольно долго.

— Что тянулось?

— Наши денежные недоразумения.

— Но ведь вы же давали ему деньги. Или вы хотите сказать, что он оставил вас, надеясь улучшить своё положение?

«Негодяй, старый негодяй, только и можно сказать, что негодяй! вдруг подумал Вэл. — Он чует, где собака зарыта, старается докопаться!» И сердце у Вэла замерло. Если... если ему удастся, старый негодяй, конечно, догадается, что мать на самом деле вовсе не хочет, чтобы отец вернулся. Мать снова заговорила, на этот раз несколько более светским тоном:

— Нет, милорд, но, видите ли, я отказалась давать ему деньги. Он долго не мог этому поверить, но наконец ему пришлось убедиться в этом, а когда он убедился...

— Понимаю. Значит, вы отказались давать ему деньги. Но после этого вы всё-таки ему послали кое-что.

— Я хотела, чтобы он вернулся, милорд.

— И вы думали, что это его вернёт?

— Я не знаю, милорд, я поступила так по совету отца.

Что-то в лице судьи, в шелесте бумаг за спиной, в том, как дядя Сомс внезапным движением закинул ногу на ногу, сказало Валу, что она ответила так, как нужно. «Ловко, — подумал он. — Ах, чёрт возьми, какая все это чепуха!»

Судья опять заговорил:

— Ещё один, последний вопрос, миссис Дартн. Скажите, вы все ещё чувствуете привязанность к вашему супругу?

Руки Вэла, которые он держал за спиной, сжались в кулаки. Какое право имеет этот

судья ни с того ни с сего приплетать сюда человеческие чувства? Заставлять её открывать своё сердце и говорить перед всеми этими людьми о том, чего она, может быть, и сама не знает! Это неприлично! Мать тихим голосом ответила:

— Да, милорд.

Вэл увидел, как судья кивнул. «С удовольствием треснул бы его по башке!» — непочтительно подумал Вэл, когда мать, по знаку судьи, вернулась на своё место рядом с ним. Затем последовал ряд свидетелей, подтверждавших отъезд отца и его продолжительное отсутствие, причём в качестве свидетельницы выступала даже одна из их горничных, что показалось Вэлу особенно гнусным; разговоров было много, и все одна сплошная чепуха; и, наконец, судья вынес решение о восстановлении в супружеских правах, и все поднялись, чтобы идти. Вэл шёл позади матери; полуопущенные веки, вздёрнутый подбородок — всё это должно было явно свидетельствовать о том, что он всех презирает. В коридоре голос матери пробудил его от этого гневного оцепенения:

— Ты прекрасно держал себя, мой дорогой. Для меня было большой поддержкой, что ты был со мной. Мы с дядей едем завтракать.

— Отлично, — сказал Вэл. — Я, значит, ещё успею зайти к товарищу.

И, быстро попрощавшись с ними, он сбежал по лестнице и, выйдя из здания суда, вскочил в проезжавший кэб и приказал везти себя в «Клуб Козла». Мысли его были о Холли и о том, что сделать до того, как Джолли покажет ей завтра всю эту штуку в газетах.

Расставшись с Вэлом, Сомс и Уинифрид направились в «Честерский сыр». Сомс условился встретиться там с мистером Бэлби. В этот ранний час — было всего двенадцать часов дня — там никого не будет, и Уинифрид казалось забавным посмотреть эту знаменитую старинную гостиницу. Заказав, к глубочайшему разочарованию официанта, лёгкий завтрак, они молча ждали, когда его подадут и когда появится мистер Бэлби, оба медленно приходя в себя после полуторачасовой публичной пытки. Мистер Бэлби не замедлил явиться, предшествуемый своим носом и настроенный столь же весело, сколь они были мрачны. Ну вот! Они же добились решения о восстановлении в супружеских правах, чем же они недовольны?

— Все это так, — сказал Сомс, понизив голос, — но теперь нужно начинать все снова, чтобы представить свежие улики. Дело о разводе вторично попадёт к нему же, и, конечно, это покажется подозрительным, если обнаружится, что мы с самого начала были осведомлены о нарушении супружеской верности. Его вопросы достаточно ясно показывали, что он не очень-то поощряет эти уловки с восстановлением в правах.

— Пфа! — беспечно воскликнул мистер Бэлби. — Он забудет! Вы сами подумайте, голубчик, у него за этот промежуток будет сотня процессов. К тому же решение, которое он вынес сегодня, обязывает его утвердить развод, если будут достаточные улики. Он не будет знать, что миссис Дарти была в курсе дела, — это мы устроим. Дример прекрасно все подал — у него это так по-отечески вышло.

Сомс кивнул.

— И разрешите поздравить вас, миссис Дарти, — продолжал мистер Бэлби, — у вас прямо, можно сказать, талант давать показания. Несокрушимы, как скала.

В эту минуту появился официант, балансируя тремя приборами на одной руке.

— Я поторопился захватить пудинг, сэр. В нём сегодня много жаворонков.

Мистер Бэлби кивком носа одобрил его предусмотрительность. Но Сомс и Уинифрид растерянно взирали на этот «лёгкий» завтрак, представлявший собою плотную коричневую массу в соусе, и осторожно ковыряли пудинг вилкой в надежде извлечь крошечные тельца вкусных маленьких певцов. Однако, начав есть, они обнаружили, что проголодались больше, чем думали, и прикончили все, что было, запив завтрак стаканом портвейна.

Разговор перешёл на войну. Сомс полагал, что Ледисмит будет взят и что война может затянуться на год. Бэлби считал, что все кончится к лету. Оба сошлись на том, что нужно послать ещё войска. Драться нужно, разумеется, до полной победы, так как теперь это уже вопрос престижа. Уинифрид перевела разговор на более твёрдую почву, сказав, что ей не

хотелось бы, чтобы её процесс слушался, пока мальчиков не распустят из Оксфорда на летние каникулы, потому что за лето, к тому времени, как Вэлу придётся опять вернуться в Оксфорд, все успеют об этом забыть; кроме того, в это время и сезон в Лондоне кончится. Юристы успокоили её: по закону необходимо выждать шесть месяцев, а там чем скорее, тем лучше. В ресторане начала собираться публика, и они поднялись уходить: Сомс — в Сити, Бэлби — в свою контору, а Уинифрид взяла кэб и отправилась на Парк-Лейн сообщить матери об исходе дела. Все сошло так, благополучно, что они нашли возможным рассказать об этом Джемсу, который изо дня в день твердил, что он насчёт дела Уинифрид ничего не знает, ничего не может сказать. По мере того как жизнь его приближалась к концу, мирские дела приобретали для него все больше значения, словно он чувствовал: «Нельзя ничего пропускать, я должен поволноваться вдоволь, мне скоро не о чём будет волноваться».

Он недовольно выслушал отчёт о событиях. Это какая-то новая мода вести дела, и он ничего не знает. Но он дал Уинифрид чек и сказал:

— Я думаю, у тебя теперь будет масса расходов. Это что, новая шляпа? Почему Вэл к нам совсем не заходит?

Уинифрид пообещала, что привезёт его на днях к обеду. А вернувшись домой, она поднялась к себе в спальню, где наконец могла остаться сама с собой. Теперь, когда её супругу предложено возвратиться под её иго предложено только для того, чтобы отторгнуть его от неё навсегда, — она попытается ещё раз заглянуть в своё наболевшее одинокое сердце и узнать, чего она в конце концов хочет.

VIII. ВЫЗОВ

Утро было туманное, и слегка морозило, но пока Вал лёгкой рысью пробирался к Роухэмптон-Гейт, откуда можно было уже галопом пуститься к условленному месту встречи, выглянуло солнышко. Настроение Вэла быстро подымалось. В событиях нынешнего утра не было ничего особенно ужасного, если не считать, конечно, этого оскорбительного вмешательства в их частную жизнь. «Если бы мы были обручены, — думал он, — тогда что бы ни случилось, мне было бы все равно». Чувства его не отличались от чувств большинства людей, которые клянут брак со всеми его последствиями, а сами торопятся жениться. И он мчался галопом по засохшей прошлогодней траве Ричмондпарка, боясь опоздать. Но он снова оказался один на условленном месте, и эта вторичная измена Холли ужасно расстроила его. Он не может уехать сегодня, не повидав её! Выехав из парка, он направился к Робин-Хиллу. Он все колебался, кого ему спросить. А вдруг вернулся её отец или окажутся дома сестра или брат? Он решил рискнуть и спросить сначала про всех домашних, тогда, если ему повезёт и их не окажется дома, будет вполне естественно под конец справиться о Холли. Если же кто-нибудь из них дома, у него будет спасительный предлог, что он просто ехал верхом и решил заглянуть к ним.

— Дома только одна мисс Холли, сэр.

— О, благодарю вас. Разрешите, я поставлю лошадь на конюшню, и доложите, пожалуйста, мисс Холли: её кузен, мистер Вэл Дарти.

Когда он вернулся, она была в гостинной, смущённая, с пылающими щеками. Она повела его в дальний конец комнаты, и они уселись на широком диване у окна.

— Я так беспокоился, — вполголоса сказал Вал. — Что случилось?

— Джолли знает о наших прогулках.

— Он дома?

— Нет, но я думаю, что он скоро вернётся.

— Ну, тогда!.. — воскликнул Вал и с отчаянной решимостью схватил её за руку.

Она попыталась отнять её, ей не удалось; она перестала сопротивляться и робко посмотрела на него.

— Прежде всего, — сказал он, — мне нужно вам сказать одну вещь о моей семье. Мой отец, видите ли, не совсем... то есть я хочу сказать, что он бросил мою мать, и теперь они

хотят добиться развода, и поэтому ему предписано вернуться домой, вы понимаете, завтра об этом будет в газетах.

Глаза её потемнели, расширившись от испуга и любопытства; её рука стиснула его руку. Но Вэл уже вошёл в азарт и стремительно продолжал:

— Конечно, сейчас во всём этом пока нет ничего такого, но, наверно, ещё будет до того, как все кончится: бракоразводные процессы, вы знаете, ужасная гадость. И я хотел вам сказать, потому что, потому... чтобы вы знали... если, — и он начал заикаться, глядя в её испуганные глаза, если... если вы будете душечкой, Холли, и полюбите меня. Я вас так люблю, и я хочу, чтобы мы обручились. — У него все это вышло так нескладно, что он готов был поколотить себя; упав на колени, он старался приблизиться к этому нежному, взволнованному личику. — Вы любите меня, да? Если не любите, я...

Наступила минута молчания и ожидания, такого напряжённого, что ему казалось, он слышит где-то далеко на лужайке звук косилки, словно там ещё была трава, которую можно было косить. Потом она качнулась вперёд, её свободная рука коснулась его волос, и он вздохнул:

— О Холли!

В ответ прозвучало очень нежно:

— О Вэл!

Он представлял себе эту минуту в мечтах, но в мечтах всё это происходило всегда в повелительном наклонении, он видел себя властным юным возлюбленным, а теперь он чувствовал себя робким, растроганным, дрожащим. Он боялся подняться с колен, чтобы не нарушить очарования; боялся пошевелиться, как бы она не отшатнулась, не отреклась от своей уступчивости — вся трепещущая в его объятиях, с опущенными веками, к которым тянулись его губы. Глаза её открылись и словно увлажнились чуть-чуть; он прижался губами к её губам. Вдруг он вскочил: он слышал шаги и какой-то сдавленный возглас. Он оглянулся. Никого! Но длинные портьеры, закрывавшие выход в холл, ещё дрожали.

— Боже! Кто бы это мог быть?

Холли тоже вскочила.

— Джолли, наверно, — прошептала она.

Вэл сжал кулаки и собрал всю свою решимость.

— Отлично! — сказал он. — Мне теперь все равно, раз мы помолвлены.

И он большими шагами подошёл к портьерам и раздвинул их. В холле у камина стоял Джолли, с явной нарочитостью повернувшись к ним спиной. Вэл сделал к нему несколько шагов. Джолли обернулся.

— Прошу прощения за то, что я нечаянно слышал, — сказал он.

Вэл, сколько бы ни старался, не мог преодолеть своего невольного восхищения им в эту минуту: лицо Джолли было ясно, голос спокоен, он держался с необыкновенным достоинством, словно повинясь какому-то принципу.

— Что ж! — сказал Вэл отрывисто. — Вас это не касается.

— О! — сказал Джолли. — Идёмте-ка сюда, — и он пошёл через холл.

Вэл последовал за ним. У дверей кабинета он почувствовал, как кто-то тронул его за руку; голос Холли сказал:

— Я тоже иду.

— Нет, — сказал Джолли.

— Да, — сказала Холли.

Джолли отворил дверь, и они все трое вошли в комнату. Войдя, они стали треугольником на трех углах потёртого турецкого ковра, держась неестественно прямо, не глядя друг на друга и абсолютно неспособные усмотреть хоть что-либо комичное в этом положении.

Вэл первый прервал молчание:

— Мы с Холли обручились.

Джолли отступив на шаг и прислонился к притолоке стеклянной двери.

— Это наш дом, — сказал он, — и я не собираюсь оскорблять вас здесь. Но отца сейчас нет. И сестра оставлена на моё попечение. Вы воспользовались этим.

— Я вовсе не имел этого в виду, — заносчиво сказал Вэл.

— А я думаю, что имели, — сказал Джолли. — Если бы вы этого не имели в виду, вы бы поговорили со мной или подождали бы, пока вернётся мой отец.

— Тут были причины, — сказал Вэл.

— Какие причины?

— Касающиеся моей семьи. Я только что рассказал ей, Я хотел, чтобы она знала все прежде, чем это произойдёт.

Джолли вдруг как-то сразу несколько утратил своё великолепное достоинство.

— Вы дети, — сказал он, — и вы это сами знаете.

— Я не ребёнок, — сказал Вэл.

— Вы именно ребёнок — вам ещё нет двадцати.

— Вот как, а вам сколько?

— Мне двадцать, — сказал Джолли.

— Только что исполнилось; во всяком случае, я такой же мужчина, как вы.

Лицо Джолли вспыхнуло, потом омрачилось. В нём, очевидно, происходила какая-то борьба; Вэл и Холли смотрели на него с изумлением — так заметна была эта борьба; они даже слышали, как он тяжело дышит. Потом лицо его прояснилось и приобрело выражение какой-то странной решимости.

— Мы это сейчас увидим, — сказал он. — Я вызываю вас сделать то же, что собираюсь сделать я.

— Вы меня вызываете?

Джолли улыбнулся.

— Да, — сказал он, — и я отлично знаю, что вы этого не сделаете.

Вэла вдруг кольнуло какое-то дурное предчувствие; это была игра вслепую.

— Я не забыл ни того, что вы любитель затевать драки, — медленно сказал Джолли, — и, по-моему, вы только на это и способны, — ни того, что вы называли меня бурофилом.

Сквозь своё собственное прерывистое, дыхание Вэл услышал какой-то сдавленный вздох, увидел чуть выдвинувшееся вперёд лицо Холли, бледное, с огромными глазами.

— Да, — продолжал Джолли с какой-то странной улыбкой, — мы это сейчас увидим. Я иду добровольцем в имперскую кавалерию и вызываю вас сделать то же самое, мистер Вэл Дарти.

Голова Вэла произвольно метнулась назад. Словно его кто-то ударил по лбу — так неожиданно, невероятно, так чудовищно обрушивалось это на его мечты, и он поднял на Холли глаза, которые вдруг стали как-то трогательно растерянными.

— Сядьте! — сказал Джолли. — Не торопитесь. Подумайте хорошенько.

И сам он сел на ручку дедушкиного кресла.

Вэл не двинулся с места. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы брюк — дрожащие, стиснутые в кулаки руки. Сознание неотвратимого ужаса предстоявшего ему решения, как бы он ни поступил, стучало в его мозгу дробным стуком, как рассерженный почтальон. Если он не примет этого вызова, он будет опозорен в глазах Холли и в глазах своего врага — этого грубияна, её брата. Если же он примет его — ах! тогда прощай все: её лицо, её глаза, её волосы, её поцелуи, которые только что начались!

— Не торопитесь, — снова сказал Джолли. — Я не хочу быть несправедливым.

И они оба посмотрели на Холли. Она стояла, прислонившись к книжным полкам, которые доходили до потолка; её тёмная головка прижалась к Гиббоновой «Римской империи», её глаза сострадательно, в мучительном ожидании, были устремлены на Вэла. И его, хоть он и не отличался большой проницательностью, вдруг словно осенило. Она будет гордиться своим братом его врагом! А за него ей будет стыдно! Руки его, точно на пружинах, выскочили из карманов.

— Хорошо, — сказал он. — Идёт.

Лицо Холли — о, это было удивительно! Он видел, как она вспыхнула, шагнула вперёд. Он поступил правильно: её лицо светилось грустным восхищением. Джолли встал и отвесил лёгкий поклон, словно желая сказать: «Вы выдержали испытание».

— Итак, завтра, — сказал он, — мы отправимся вместе.

Опомнившись от этой головокружительной борьбы чувств, завершившейся столь неожиданным решением, Вал злорадно смотрел на Джолли из-под густых ресниц. «Хорошо, — подумал он, — на этот раз твоя взяла. Придётся мне идти в армию, но подожди, я ещё отыграюсь». И он с достоинством сказал:

— Я к вашим услугам.

— Мы встретимся в главном вербовочном пункте, — сказал Джолли, — в двенадцать часов.

И, открыв стеклянную дверь, он вышел на террасу, следуя тому же принципу, который заставил его удалиться, когда он застал их в гостиной.

Смятение в голове Вэла, оставшегося теперь с глазу на глаз с той, которая досталась ему так неожиданно дорого, было совершенно невообразимо. Но желание блеснуть оказалось сильнее всего. Попался в эту проклятую историю, теперь уж нужно выдержать тон до конца.

— Во всяком случае, ездить верхом и стрелять можно будет вволю, сказал он, — это всё-таки утешение.

И он испытал чувство какого-то жестокого удовольствия, услышав её вздох, который, казалось, вырвался из самой глубины её сердца.

— О, война скоро кончится, — сказал он, — может быть, нам даже и не придётся попасть на фронт. Мне, конечно, было бы все равно, если бы не вы.

И он теперь избавится от этой неприятности, от этого проклятого развода. Нет, как говорится, худа без добра. Он почувствовал, как её горячая ручка скользнула в его руку. Джолли думает, что он помешает им любить друг друга? Как бы не так! Он крепко держал её за талию, нежно глядел на неё сквозь ресницы, улыбался, стараясь ободрить её, обещая ей скоро вернуться, чувствуя себя по крайней мере на шесть дюймов выше и таким властелином с ней, каким он никогда не осмеливался себя чувствовать. И он множество раз поцеловал её, прежде чем сел на лошадь и поехал домой, в город. Вот так от маленького толчка стремительно расцветает и растёт инстинкт собственности.

IX. ОБЕД У ДЖЕМСА

На Парк-Лейн у Джемса больше не задавали званных обедов: в каждом доме наступает момент, когда у хозяина или хозяйки иссякают нужные для этого силы, и кончено — не разносят больше девяти блюд двадцати ртам над двадцатью белоснежными салфетками, и хозяйской кошке не приходится больше удивляться, почему её сегодня вдруг заперли.

И вот поэтому Эмили, которая и в семьдесят лет была непрочь вкусить кой-когда светской жизни, с чувством приятного волнения заказала обед на шесть персон вместо двух, сама написала на карточках внушительное количество иностранных слов и расставила цветы — мимозы с Ривьеры и белые римские гиацинты не из Рима. Правда, будут только, ну, конечно, Джемс и она сама. Сомс, Уинифрид, Вэл и Имоджин, но ей приятно было потешить себя немножко и поиграть в воображении величием прошлого. Она оделась так тщательно, что Джемс сказал:

— Зачем это ты надела такое платье? Ты простудишься.

Но Эмили знала, что шеи женщин защищены от простуды любовью к блеску вплоть до восьмидесяти лет, и она только сказала:

— Позволь, я надену на тебя новую манишку из тех, что я недавно купила. Джемс, тогда тебе останется только переодеть брюки и надеть свой бархатный пиджак, и ты будешь готов. Вэл любит, когда ты одет к лицу.

— Манишки! — сказал Джемс. — Вечно ты тратишь деньги на всякую чепуху.

Но он претерпел эту операцию, пока его шея тоже не засверкала, и только пробурчал невнятно:

— Боюсь, что он сумасброд, этот мальчишка!

Глаза его блестели немножко более обычного, и на щеках играл лёгкий румянец, когда он уселся в гостиной, прислушиваясь, не раздастся ли звонок у входной двери.

— Я устроила настоящий званый обед, — удовлетворённо сказала Эмили. Мне кажется, это полезно для Имоджин — ей надо привыкать к этому, раз она начала выезжать.

Джемс, пошевелив губами, издал какой-то неопределённый звук, вспомнив, как Имоджин любила забираться — к нему на колени и разрывать с ним рождественские хлопушки.

— Ока будет хорошенькая, — пробормотал он. — Можно в этом не сомневаться.

— Она и сейчас хорошенькая, — сказала Эмили. — Она может сделать отличную партию.

— Вот что у тебя на уме, — буркнул Джемс, — только лучше, если она будет сидеть дома и заботиться о своей матери.

Если ещё второй Дарти завладеет его хорошенькой внучкой, это уж доконает её! Он никак не мог простить Эмили, что Монтегью Дарти когда-то пленил её так же, как и его самого.

— Где Уормсон? — внезапно спросил он. — Я бы хотел сегодня выпить мадеры.

— Будет шампанское, Джемс.

Джемс замотал головой.

— В нём нет аромата, — сказал он. — Какая мне от неё радость!

Эмили протянула руку к камину и позвонила.

— Мистер Форсайт хочет, чтобы вы открыли бутылку мадеры, Уормсон.

— Нет, нет, — сказал Джемс, и кончики его ушей вздрогнули негодуя, а глаза словно приковались к какому-то предмету, видимому только ему одному. — Слушайте, Уормсон, выйдите во внутренний погреб и на средней полке последнего отделения налево увидите семь бутылок. Возьмите из них одну, среднюю, да только поосторожней, не взболтайте её. Это последние бутылки мадеры из тех, что мне подарил мистер Джолион, когда мы приехали сюда; её так с тех пор и не трогали, она должна была сохранить весь свой аромат; впрочем, я не знаю, не мог сказать.

— Слушаю, сэр, — сказал Уормсон, удаляясь.

— Я берег её к нашей золотой свадьбе, — неожиданно сказал Джемс, — но в моём возрасте я не протяну трех лет.

— Глупости, Джемс, — сказала Эмили, — не говори так.

— Мне надо бы самому сходить за ней, — бормотал Джемс, — ведь он её непременно тряхнёт.

И он погрузился в безмолвные воспоминания о тех далёких минутах, когда среди газовых рожков и паутины запах пропитанных вином пробок столько раз перед, зваными обедами возбуждал его аппетит. В винах его погреба можно было прочесть историю сорока с лишним лет, с того времени, как он поселился в этом доме на Парк-Лейн с молодой женой, и историю многих поколений Друзей и знакомых, которые давно ушли из этой жизни; эти поредевшие полки являлись живым свидетельством семейных торжеств — всех свадеб, рождений, смертей близких и родственников. И когда его не будет, все это останется как есть, и что будет с этими винами, он не знает. Выпьют их или растащат, что же удивительного!

Из этой глубокой задумчивости его вывело появление сына, за ним следом явилась Уинифрид с двумя старшими детьми.

Они пошли в столовую парами под руку. Джемс с дебютанткой, Имоджин (хорошенькая внучка придавала ему бодрости); Сомс с Уинифрид; Эмили с Вэлом, у которого при виде устриц заблестели глаза. Будет настоящий порядочный обед с шампанским и портвейном! И он чувствовал, что ему как раз этого и надо после того, что он

совершил сегодня и что для всех ещё было тайной. После первых двух бокалов так приятно стало сознавать, что у него припрятана эта бомба, это сногшибательное доказательство патриотизма, или, вернее, его собственной храбрости, которой он может блеснуть, ибо то, что он сделал для своей королевы и для своей родины, до сих пор доставляло ему чисто эгоистическое удовольствие. Он теперь настоящий рубака, ему только и иметь дело с оружием и лошадьми; ему есть чем похвастаться, но, конечно, он не собирается этого делать. Просто он спокойно объявит об этом, когда все замолчат. И, взглянув на меню, он решил, что самый удобный момент будет, когда подадут *bombe aux fraises*⁵³, когда они приступят к этому блюду, за столом воцарится некоторая торжественность. Раз или два, прежде чем достигли этой розовой вершины обеда, его смутило воспоминание, что деду никогда ничего не говорят. Но старик пьёт мадеру, и у него отличный вид! К тому же он должен быть доволен этим благородным поступком, который сгладит позор бракоразводного процесса. Вид его дядюшки, сидевшего напротив него, тоже подстрекал его к этому. Вот уж кто не способен ничем рискнуть; интересно будет посмотреть на его физиономию! А, кроме того, матери лучше объявить вот так, чем с глазу на глаз, а то они оба расстроятся! Ему жаль её, но в конце концов нельзя же требовать от него, чтобы он ещё огорчился за других, когда ему предстоит расстаться с Холли.

До него слабо донёлся голос деда:

— Вэл, попробуй-ка этой мадеры с мороженым. У вас в колледже такой не бывает.

Вэл смотрел, как густая жидкость медленно наполняла рюмку, как летучее масло старого вина отливало на поверхности; он вдохнул его аромат и подумал: «Ну, теперь самый момент!» Он отпил глоток, и приятное тепло разлилось по его уже разгорячённым венам. Быстро окинув всех взглядом, он сказал:

— Я записался сегодня добровольцем в имперскую кавалерию, бабушка, и залпом осушил рюмку, точно это был тост за совершенный им поступок.

— Что такое? — этот горестный возглас вырвался у его матери.

— Джолли Форсайт и я, мы ходили туда вместе.

— Но вас ещё не записали? — спросил Сомс.

— Нет, как же! Мы в понедельник отправляемся в лагерь.

— Нет, вы только послушайте! — вскричала Имоджин.

Все повернулись к Джемсу. Он наклонился вперёд, поднеся ладонь к уху.

— Что такое? — сказал он. — Что он говорит? Я не слышу.

Эмили нагнулась и похлопала Вала по руке.

— Вэл записался в кавалерию — вот и все, Джемс, это очень мило. Ему очень пойдёт мундир.

— Записался... какая глупость! — громко, дрожащим голосом воскликнул Джемс. — Вы все дальше своего носа ничего не видите. Ведь его... его отправят на фронт. Ведь он не успеет опомниться, как ему придётся воевать.

Вэл видел восхищённые глаза Имоджин, устремлённые на него, и мать, которая сидела молча, сохраняя светский вид, прикладывая платочек к губам.

Неожиданно дядя сказал:

— Ты несовершеннолетний.

— Я подумал об этом, — улыбнувшись, сказал Вэл. — Я сказал, что мне двадцать один год.

Он слышал восторженный возглас бабушки: «Ну, Вэл, ты прямо молодчина», видел, как Уормсон почтительно наливал шампанское в его бокал, и смутно уловил жалобное причитание деда:

— Я не знаю, что из тебя только выйдет, если ты будешь так продолжать.

Имоджин хлопала его по плечу, дядя смотрел искоса, только мать сидела неподвижно,

⁵³ Клубничное мороженное (фр.)

и, встревоженный её молчанием, Вэл сказал:

— Всё будет хорошо; мы их живо обратим в бегство. Я только надеюсь, что и на мою долю что-нибудь останется.

Он испытывал чувство гордости, жалости и необычайной важности — все сразу. Он покажет дяде Сомсу и всем Форсайтам, что значит настоящий спортсмен! Конечно, это геройский и совершенно необычайный поступок сказать, что ему двадцать один год!

Голос Эмили вернул его с высот на землю.

— Тебе не следует пить второго бокала. Джемс. Уормсон!

— Вот удивятся у Тимоти! — воскликнула Имоджин. — Чего бы я не дала, чтобы посмотреть на их физиономии. У тебя есть сабля, Вэл, или только пугач?

— А почему это ты вдруг надумал?

Голос дяди вызвал у Вела неприятное ощущение холодка в животе. Почему? Как ему ответить на это? Он обрадовался, услышав спокойный голос бабушки:

— Я считаю, что Вэл поступил очень мужественно. И я уверена, что из него выйдет превосходный солдат; у него такая замечательная фигура. Мы все будем гордиться им.

— И при чём тут Джолли Форсайт? Почему вы ходили вместе? — безжалостно допытывался Сомс. — Мне казалось, вы не очень-то дружны.

— Нет, — пробормотал Вэл, — но я не хочу, чтобы он надо мной верх взял.

Он увидел, что дядя смотрит на него как-то совсем иначе, словно одобряя его. И дедушка тоже закивал, и бабушка тряхнула головой. Они все одобряли, что он не дал этому кузену взять над ним верх. Тут, верно, есть какая-нибудь причина! Вэл смутно ощущал какую-то неуловимую тень вне поля своего зрения — своего рода центр циклона, неизвестно где находящийся. И, глядя в лицо дяди, он внезапно, с какой-то непостижимой отчётливостью увидел женщину с тёмными глазами, золотые волосы и белую шею, и от этой женщины всегда так хорошо пахло, и у неё были всегда такие красивые шёлковые платья, которые он любил трогать, когда был ещё совсем маленький. Ну да, конечно! Тётя Ирэн! Она всегда целовала его, а он один раз, разыгравшись, укусил её за руку, потому что это было очень приятно: такая мягкая! До него донёсся голос деда:

— Что делает его отец?

— Он в Париже, — ответил Вэл, удивлённо следя за странным выражением дядино лица — как... как у собаки, которая вот-вот бросится!

— Художники! — сказал Джемс.

Этим словом, которое, казалось, вырвалось из самой глубины его души, закончился обед.

Сидя в кэбе напротив матери, когда они возвращались домой, Вэл вкушал плоды своего героизма, напоминавшие переспелую мушмулу.

Она, правда, сказала только, что ему немедленно надо отправиться к портному и заказать приличный мундир, чтобы ему не пришлось надевать то, что ему там дадут. Но он чувствовал, что она очень расстроена. У него чуть было не сорвалось в качестве утешения, что ведь он теперь избавится от этого проклятого развода, и удержало его только присутствие Имоджин и мысль о том, что ведь мать от него не избавится. Его огорчало, что она, по-видимому, не испытывает надлежащего чувства гордости за своего сына. Когда Имоджин отправилась спать, он попробовал пустить в ход чувства:

— Мне ужасно жаль, мама, оставлять тебя сейчас одну.

— Ну что же, как-нибудь потерплю. Нам нужно постараться, чтобы тебя как можно скорей произвели в офицеры, тогда ты всё-таки будешь в лучших условиях. Ты проходил хоть немножко военное обучение, Вэл?

— Никакого.

— Ну, я надеюсь, что тебя не будут очень мучить. Мы должны поехать с тобой завтра купить всё необходимое.

Спокойной ночи. Поцелуй меня.

Ощущая на лбу её поцелуй, горячий и нежный, и все ещё слыша её слова: «Ну, я

надеюсь, что тебя не будут очень мучить», — он сел перед догорающим камином, закурив папиросу. Возбуждение его улеглось, и огонь, который воодушевлял его, когда он пускал им всем пыль в глаза, угас. Все это так отвратительно, скучно и неприятно. «Я ещё расквитаюсь с этим молодчиком Джолли», — думал он, медленно поднимаясь по лестнице мимо двери, за которой его мать лежала, кусая подушку, стараясь подавить отчаяние и не дать себе разрыдаться.

И скоро только один из обедавших у Джемса бодрствовал: Сомс в своей комнате наверху, над спальней отца.

Так, значит, этот субъект, этот Джолион, в Париже — что он там делает? Увивается около Ирэн? Последнее донесение Полтида намекало на то, что там что-то наклеивается. Неужели это? Этот тип с его бородкой, с его дурацким шутливым тоном — сын старика, который дал ему прозвище «собственника» и купил у него этот роковой дом. У Сомса навсегда осталось чувство обиды, что ему пришлось продать дом в Робин-Хилле; он не простил дяде, что тот купил его, ни своему кузену, что он живёт в нём.

Не обращая внимания на холод, он поднял раму и высунулся в окно, глядя на растилающийся перед ним парк. Холодная и тёмная январская ночь; движение на улицах замерло; морозит; голые деревья; звезда одна, другая. «Схожу-ка я завтра к Полтиду, — подумал он. — Господи! С ума я, что ли, спятил, что я всё ещё хочу её? И этот тип! Если... Гм! Нет!»

X. СМЕРТЬ ПСА БАЛТАЗАРА

Джолион, совершив ночной переезд из Кале, приехал в Робин-Хилл в воскресенье утром. Он никому не писал о своём приезде и поэтому пошёл пешком со станции и вошёл в своё владение со стороны роши. Дойдя до скамьи, выдолбленной из старого упавшего дерева, он сел, подостлав пальто. «Прострел! Вот чем кончается любовь в моём возрасте!» — подумал он. И вдруг ему показалось, что Ирэн совсем близко, рядом, как в тот день, когда они бродили по Фонтенебло, а потом уселись на спиленное дерево закусить. Так близко! Просто наваждение какое-то! Запах опавших листьев, пронизанных бледным солнечным светом, щекотал ему ноздри. «Хорошо, что сейчас не весна», — подумал он. Запах весенних соков, пение птиц, распускающиеся деревья — это было бы совсем уж невыносимо! «Надеюсь, к тому времени я как-нибудь слажу с этим, старый я идиот!» И, взяв пальто, он пошёл через луг. Он обогнул пруд и медленно стал подниматься на пригорок. Когда он уже почти взошёл наверх, навстречу ему донёсся хриплый лай. Наверху, на лужайке за папоротником, он увидел своего старого пса Балтазара. Собака, подслеповатые глаза которой приняли хозяина за чужого, предупреждала домашних. Джолион свистнул своим особенным, знакомым ей, свистом. И даже на этом расстоянии ста ярдов, если не больше, он увидел, как грузное коричнево-белое туловище оживилось, узнав его. Старый пёс поднялся, и его хвост, закрученный кверху, взволнованно задвигался; он, переваливаясь, прошёл несколько шагов, подпрыгнул и исчез за папоротниками. Джолион думал, что встретит его у калитки, но там его не оказалось, и, немножко встревоженный, Джолион свернул к зарослям папоротника. Опрокинувшись грузно на бок, подняв на хозяина уже стекленеющие глаза, лежал старый пёс.

— Что с тобой, старина? — вскричал Джолион.

Мохнатый закрученный хвост Балтазара слегка пошевелился; его покрытые плёнкой глаза, казалось, говорили: «Я не могу встать, хозяин, но я счастлив, что вижу тебя».

Джолион опустил на колени; сквозь слёзы, затуманившие глаза, он едва видел, как медленно перестаёт вздыматься бок животного. Он чуть приподнял его голову, такую тяжёлую.

— Что с тобой, дружище? Ты что, ушибся?

Хвост вздрогнул ещё раз; жизнь в глазах угасла. Джолион провёл руками по всему неподвижному тёплому туловищу. Ничего, никаких повреждений просто сердце в этом

грузном теле не выдержало радости, что вернулся хозяин. Джолион чувствовал, как морда, на которой торчали редкие седые щетинки, холодеет под его губами. Он несколько минут стоял на коленях, поддерживая рукой коченеющую голову собаки. Тело было очень тяжёлое, когда он поднял и понёс его наверх, на лужайку. Там было много опавших листьев; он разгрёб их и прикрыл ими собаку; ветра нет, и они скроют его от любопытных глаз до вечера. «Я его сам закопаю», — подумал Джолион. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он вошёл в дом на Сент-Джонс-Вуд с этим крохотным щенком в кармане. Странно, что старый пёс умер именно теперь! Может быть, это предзнаменование? У калитки он обернулся и ещё раз взглянул на рыжеватый холмик, потом медленно направился к дому, чувствуя какой-то клубок в горле.

Джун была дома. Она примчалась, как только услышала, что Джолли записался в армию. Его патриотизм победил её сочувствие бурам. Атмосфера в доме была какая-то странная и насторожённая, как показалось Джолиону, когда он вошёл и рассказал им про Балтазара. Эта новость всех объединила. Исчезло одно звено из тех, что связывали их с прошлым, — пёс Балтазар! Двое из них не помнили себя без него; у Джун с ним были связаны последние годы жизни деда; у Джолиона — тот период семейных невзгод и творческой борьбы, когда он ещё не вернулся под сень отцовской любви и богатства! И вот Балтазар умер!

На исходе дня Джолион и Джолли взяли кирки и лопаты и отправились на лужайку. Они выбрали место неподалёку от рыжеватого холмика и, осторожно сняв слой дёрна, начали рыть яму. Они рыли молча минут десять, потом решили отдохнуть.

— Итак, старина, ты решил, что должен пойти? — сказал Джолион.

— Да, — ответил Джолли. — Но, разумеется, мне этого вовсе не хочется.

Как точно эти слова выражали состояние самого Джолиона!

— Ты просто восхищаешь меня этим, мой мальчик. Я не думаю, чтобы я был способен на это в твоём возрасте, — боюсь, что я для этого слишком Форсайт. Но надо полагать, что с каждым поколением тип все больше стирается. Твой сын, если у тебя будет сын, возможно, будет чистейшим альтруистом, кто знает!

— Ну тогда, папа, он будет не в меня: я ужасный эгоист.

— Нет, дорогой мой, совершенно ясно, что ты не эгоист.

Джолли помотал головой, и они снова начали рыть.

— Странная жизнь у собаки, — вдруг сказал Джолион. — Единственное животное с зачатками альтруизма и ощущением творца.

— Ты веришь в бога, папа? Я этого не знал.

На этот пытливый вопрос сына, которому нельзя было ответить пустой фразой, Джолион ответил не сразу — постоял, потёр уставшую от работы спину.

— Что ты подразумеваешь под словом «бог»? — сказал он. — Существуют два несовместимых понятия бога. Одно — это непостижимая первооснова созидания, некоторые верят в это. А ещё есть сумма альтруизма в человеке в это естественно верить.

— Понятно. Ну, а Христос тут уж как будто ни при чём?

Джолион растерялся. Христос, звено, связующее эти две идеи! Устами младенцев! Вот когда вера получила наконец научное объяснение! Высокая поэма о Христе — это попытка, человека соединить эти два несовместимых понятия бога. А раз сумма альтруизма в человеке настолько же часть непостижимой первоосновы созидания, как и все, что существует в природе, право же, звено найдено довольно удачно! Странно, как можно прожить жизнь и ни разу не подумать об этом с такой точки зрения!

— А ты как считаешь, старина? — спросил он.

Джолли нахмурился.

— Да знаешь, первый год в колледже мы часто говорили на все эти темы. Но на втором году

перестали; почему, собственно, не знаю, ведь это страшно интересна.

Джолион вспомнил, что и он первый год в Кембридже много говорил на эти темы, а на

втором году перестал.

— Ты, наверно, думаешь, — сказал Джолли, — что у старика Балтазара было ощущение этого второго понятия бога?

— Да. Иначе его старое сердце не могло бы разорваться из-за чего-то, что было вне его.

— Но, может быть, это было попросту эгоистическое переживание?

Джолион покачал головой.

— Нет, собаки — не чистокровные Форсайты, они могут любить нечто вне самих себя.

Джолли улыбнулся.

— В таком случае, я думаю, я чистокровный Форсайт. Ты знаешь, я только потому записался в армию, чтобы вызвать на это Вэла Дарти.

— Зачем тебе это было нужно?

— Мы не перевариваем друг друга, — коротко ответил Джолли.

— А! — протянул Джолион.

Итак, значит, вражда перешла в третье поколение, но, теперь это уже новая вражда, которая ничем явно не выражается. «Рассказать ли мне ему об этом?» — думал он. Но к чему, когда о своей собственной роли во всей этой истории все равно придётся умолчать?

А Джолли думал: «Пусть Холли сама расскажет ему. Если она этого не сделает, значит она не хочет, чтобы он узнал, и тогда выйдет, что я доносчик. Во всяком случае, я приостановил это. И пока мне лучше не вмешиваться!»

И они молча продолжали рыть, пока Джолион не сказал:

— Ну, я думаю, теперь достаточно.

Опершись на лопаты, они оба заглянули в яму, куда предзакатным ветром уже занесло несколько листьев.

— Теперь я, кажется, не смогу; осталось самое мучительное, — вдруг сказал Джолион.

— Дай, папа, я сам. Он никогда особенно не любил меня.

Джолион покачал головой.

— Мы тихонько подыдем его вместе с листьями. Мне бы не хотелось видеть его сейчас. Я возьму за голову. Ну!

Они с величайшей осторожностью подняли тело старого животного; блекло-коричневая и белая шерсть проглядывала сквозь листья, шевелившиеся от ветра; они опустили его — холодного, бесчувственного, тяжёлого — в могилу, и Джолли засыпал его листьями, в то время как Джолион, боясь обнаружить свои чувства перед сыном, начал быстро забрасывать землёй это неподвижное тело. Вот и уходит прошлое! Если бы ещё впереди было светлое будущее. Словно засыпаешь землёй собственную жизнь. Они тщательно покрыли дёрном маленький холмик и, признательные друг другу за то, что каждый пощадил чувства Другого, взявшись под руку, направились домой.

XI. ТИМОТИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

На Форсайтской Бирже весть о том, что Вал и Джолли записались в армию, а Джун, которая, конечно, не могла ни в чём остаться позади, готовится стать сестрой милосердия, распространилась с необычайной быстротой. Эти события были так необычны, так противоречили духу истинного форсайтизма, что произвели объединяющее действие на родню, и у Тимоти в ближайшее воскресенье был настоящий наплыв родственников, пришедших разузнать, кто что об этом думает, и обменяться мнениями о семейной чести. Джайлс и Джесс Хаймены больше уже не будут охранять побережье, а отправляются в Южную Африку; Джолли и Вал последуют за ними в апреле; что же касается Джун, тут уж никто не может знать, что она ещё надумает сделать.

Отступление от *Спион-Коп*⁵⁴ и отсутствие благоприятных известий с театра военных

⁵⁴ *Спион-Коп* — город в Южной Африке, где 24 января 1900 г. наголову были разгромлены бурами английские войска под командованием генерала Буллера.

действий придавали всему атому характер вполне реальный, что удивительным образом подтвердил сам Тимоти.

Младший из старшего поколения Форсайтов — ему ещё не было восьмидесяти, по общему признанию похोдивший на их отца, «Гордого Доссета», даже самой популярной, наиболее характерной чертой, тем, что он пил мадеру, не показывался на людях столько лет, что стал чуть ли не мифом. Целое поколение сменилось с тех пор, как в сорокалетнем возрасте, не выдержав риска, связанного с издательским делом, он вышел из предприятия, имея всего-навсего тридцать пять тысяч фунтов капитала, и, с целью обеспечить себе существование, начал осторожно помещать деньги в процентные бумаги. Откладывая из года в год и наращивая проценты на проценты, он за сорок лет удвоил свой капитал, ни разу не испытав, что значит дрожать за судьбу своих денег. Он откладывал теперь около двух тысяч в год и чрезвычайно заботился о своём здоровье, надеясь, как говорила тётя Эстер, что проживёт ещё достаточно, чтобы вторично удвоить капитал. Что он потом с ним будет делать, когда сестры умрут и сам он умрёт, этот вопрос часто насмешливо обсуждался свободомыслящими Форсайтами, такими, как Фрэнси, Юфимия и второй сын молодого Николаев, Кристофер, свободомыслие которого зашло так далеко, что он заявил всерьёз о своём намерении поступить на сцену. Но как бы там ни было, все соглашались, что об этом лучше знать самому Тимоти, да, может быть, Сомсу, который никогда не разглашает секретов.

Те немногие из Форсайтов, которые видели его, говорили, что это плотный крепкий человек, не очень высокого роста, с седыми волосами, с коричнево-красным лицом, не отличавшимся той благородной утончённостью, которую большинство Форсайтов унаследовало от жены «Гордого Доссета», женщины красивой и кроткой. Известно было, что он проявил необычайный интерес к войне и с самого начала военных действий втыкал в карту флажки, и все очень боялись, как же будет, если англичан загонят в море и он уже не сможет правильно сажать флажки. Что же касается его осведомлённости о семейных делах и какого мнения он держался на этот счёт, об этом мало что было известно, кроме того, что тётя Эстер постоянно заявляла всем, что он очень расстроен. Поэтому всем Форсайтам показалось чем-то вроде предзнаменования, когда, съехавшись к Тимоти в воскресенье после отступления от Спидон-Копы и входя друг за дружкой в гостиную, они, один за другим, обнаруживали присутствие некой особы, которая, прикрыв нижнюю часть лица мясистой рукой, восседала в единственном удобном кресле, спиной к свету, и их встречал благоговейный шёпот тёти Эстер:

— Ваш дядя Тимоти, дорогой мой (или дорогая моя).

Тимоти же каждого входящего приветствовал одной и той же фразой, или, вернее, даже не приветствовал, а пропускал мимо себя:

— Здравствуйте, здрасте! Извините, я не встаю.

Явилась Фрэнси, Юстас приехал в своём автомобиле; Уинифрида привезла Имоджин, и лёд недовольства её судебным процессом растаял в семейном одобрении геройства Вэла; за ней явилась Мэрией Туитимен с последними известиями о Джайлсе и Джессе. Так что в этот день с тётей Джули и Эстер, молодым Николасом, Юфимией и — вообразите себе! — Джорджем, который приехал с Юстасом в автомобиле, собрание представляло собой зрелище, достойное дней процветания семьи. В маленькой гостиной не было ни одного свободного стула, и чувствовалось опасение, как бы не приехал кто-нибудь ещё.

Когда натянутость, вызванная присутствием Тимоти, немножко прошла, заговорили о войне Джордж спросил тётю Джули, когда она думает отправиться на фронт с Красным Крестом, чем даже развеселил её; затем, повернувшись к Николасу, он сказал:

— Юный Ник тоже, кажется, отважный воин. Когда же он облачится в хаки?

Молодой Николае, улыбнувшись кроткой виноватой улыбкой, нерешительно заметил, что, конечно, мать очень беспокоится.

— Два Дромио, я слышал, уже собираются в путь, — продолжал Джордж, повернувшись к Мэрией Гуитимен, — скоро мы все там будем. En avant⁵⁵, Форсайты! Бей, коли, стреляй! Кто на гауптвахту?

Тётя Джули фыркнула. Джордж такой забавный! Может быть, Эстер принесёт карту Тимоти? И тогда он всем покажет, в каком положении дело.

Тимоти издал какой-то неопределённый звук, принятый за согласие, и тётя Эстер вышла из комнаты.

Джордж продолжал изображать наступление Форсайтов, произведя Тимоти в фельдмаршалы, а Имоджин, которую он сразу отметил как «славную кобылку», — в маркитантки; и, поставив цилиндр между колен, начал бить по нему воображаемыми барабанными палочками. Это представление вызвало у аудитории разнородные чувства. Все смеялись — Джорджу все разрешалось; но все чувствовали издевательство над семьёй, и это казалось им неестественным именно теперь, когда семья отдавала пятерых своих членов на службу королеве. Джордж может зайти слишком далеко; поэтому все вздохнули с облегчением, когда он встал и, предложив руку тёте Джули, торжественно направился к Тимоти, отдал ему честь и, с комической пылкостью расцеловав тётушку, сказал:

— Я так счастлив, папаша! Идём. Юстас, — и вышел, сопровождаемый важным, невозмутимым Юстасом, который ни разу не улыбнулся.

Изумлённые возгласы тёти Джули: «Подумайте, он даже не дождался карты! Уж ты не обижайся на него, Тимоти! Он такой шутник!» — нарушили молчание, и Тимоти отнял руку ото рта.

— Не знаю, к чему все это приведёт, — раздался его голос. — Что это за разговоры о том, что все едут туда? Это не поможет победить буров.

Только у Фрэнси хватило смелости спросить:

— А что же тогда поможет, дядя Тимоти?

— Все это новомодное волонтерство — мотовство, только утечка денег из страны.

Как раз в эту минуту тётя Эстер вошла с картой, неся её бережно, точно ребёнка, покрытого сыпью. С помощью Юфимии карту разложили на рояле маленьком салонном «колвуде», на котором последний раз играли, кажется, тринадцать лет назад, летом, перед тем как умерла тётя Энн. Тимоти встал. Он подошёл к роялю и наклонился, разглядывая карту, в то время как все столпились вокруг него.

— Вот, — сказал он, — вот позиция, которую мы занимаем на сегодня, и довольно-таки скверная. Гм!

— Да, — сказала отчаянно смелая Фрэнси, — но как же её можно изменить, дядя Тимоти, если не хватает людей?

— Людей! — сказал Тимоти. — Нам не нужно людей, которые выматывают деньги из страны. Нам нужен Наполеон — он покончил бы с этим в один месяц.

— Но если его нет, дядя Тимоти?

— Это их дело, — ответил Тимоти. — А для чего же, спрашивается, мы армию сохраним? Чтобы она бездельничала в мирное время? Постыдились бы они просить помощи у страны! Каждый должен заниматься своим делом, тогда всё будет идти как нужно.

И, окинув всех взглядом, он прибавил почти гневно:

— Волонтерство — тоже! Бросанье денег на ветер! Мы копить должны! Сохранять энергию — вот единственный выход.

И, то ли засопев, то ли фыркнув, он наступил на ногу Юфимии и вышел, оставив позади себя ошеломлённых гостей и лёгкий запах ячменного сахара.

Когда что-нибудь говорится с убеждением, да ещё человеком, который явно делает над собой усилие, чтобы сказать это, впечатление получается значительное. И восемь Форсайтов, оставшихся в гостиной, все женщины, за исключением молодого Николаев, некоторое время

⁵⁵ Вперёд (фр.)

молча стояли вокруг карты. Наконец Фрэнси сказала:

— Нет, правда, знаете, по-моему, он прав. В конце концов для чего же тогда армия? Они должны были предвидеть все. А это только поощряет их.

— Но, дорогая моя, — воскликнула тётя Джули, — ведь они такие передовые! Подумать только, ведь они пожертвовали своими алыми мундирами. Они так всегда гордились ими. А теперь они все похожи на арестантов. Мы с Эстер только вчера говорили об этом, им, наверно, очень тяжело. Нет, вы подумайте, что бы сказал Железный Герцог⁵⁶!

— Новый цвет очень красивый, — сказала Уинифрид, — Вэлу очень идёт.

Тётя Джули вздохнула.

— Не могу представить себе, какой сын у Джолиона. Подумать только, что мы никогда его не видели! Наверно, отец очень гордится им.

— Его отец в Париже, — сказала Уинифрид.

Плечо тётя Эстер внезапно дёрнулось кверху, словно для того, чтобы предупредить следующую фразу сестры, потому что морщинистые щеки тётя Джули вдруг вспыхнули.

— К нам вчера заходила милая миссис Мак-Эндер, она только что вернулась из Парижа. И как бы вы думали, кого она встретила там на улице? Ни за что не угадаете!

— Мы, тётечка, не будем и пытаться, — сказала Юфимия.

— Ирэн! Вообразите себе! — После стольких лет; и она шла по улице со светлой бородкой...

— Тётечка! Я с ума сойду! Светлая бородка...

— Я хотела сказать, — строго сказала тётя Джули, — с джентльменом со светлой бородкой. И она ничуть не постарела, ведь она была очень хороша, — прибавила она словно себе в оправдание.

— Ах, расскажите нам про неё, тётечка! — вскричала Имоджин. — Я её еле-еле помню. Она точно фамильное привидение, о ней никогда не говорят. А это так интересно!

Тётя Эстер села. Ну вот, Джули договорилась!

— Она мало похожа на привидение, насколько мне помнится, — пробормотала Юфимия, — во всяком случае, с довольно округлыми формами.

— Дорогая моя! — сказала тётя Джули. — Что за странная манера выражаться — не совсем удобно!

— Ну всё-таки, какая же она была? — не отставала Имоджин.

— Я тебе скажу, детка, — сказала Фрэнси, — представь себе нечто вроде современной Венеры, роскошно одетой.

— Венера никогда ни во что не одевалась, и глаза у неё были голубые, как сапфир, — язвительно заметила Юфимия.

Тут Николае распрощался и вышел.

— Миссис Ник, должно быть, ужасно строгая, — смеясь, заметила Фрэнси.

— У неё шестеро детей, — сказала тётя Джули, — и это очень хорошо, что она так осмотрительна.

— А дядя Сомс очень любил её? — не унималась Имоджин, переводя свои тёмные блестящие глаза с одной на другую.

Тётя Эстер с отчаянием махнула рукой, как раз в ту минуту, когда тётя Джули ответила:

— Да, дядя Сомс был очень привязан к ней.

— И она, кажется, убежала с кем-то?

— Нет, вовсе нет; то есть не совсем так.

— Ну что же она такое сделала, тётечка?

— Идём, Имоджин, — сказала Уинифрид, — нам пора домой.

Но тётя Джули решительно dokonчила:

⁵⁶ Железный Герцог — Имеется в виду герцог Веллингтонский (1769—1852).

— Она... она вела себя не так, как нужно.

— Ах, боже мой! — вскричала Имоджин. — Я только это и слышу!

— Ну вот что, милочка, — сказала Фрэнси, — у неё был роман, который кончился смертью этого молодого человека, и она тогда ушла от твоего дяди. А мне она всегда очень нравилась.

— Она мне приносила шоколадки, — прошептала Имоджин, — и от неё всегда так хорошо пахло.

— Ну, разумеется, — заметила Юфимия.

— Совсем не разумеется! — возразила Фрэнси, которая сама всегда душилась очень дорогой эссенцией левкоя.

— Не понимаю, что это такое, — сказала тётя Джули, воздев руки к небу, — говорить о таких вещах!

— А она развелась с ним? — спросила Имоджин уже в дверях.

— Ну конечно нет! — воскликнула тётя Джули. — То есть... конечно нет.

У дальних дверей послышался какой-то шум. Тимоти снова вошёл в гостиную.

— Я пришёл за картой, — сказал он. — Кто с кем развёлся?

— Никто, дядя, — совершенно правдиво ответила Фрэнси.

Тимоти взял карту с рояля.

— Не доводите до этого, — сказал он, — чтобы не было подобных историй в нашей семье. Все это волонтерство уже достаточно скверно. Страна приходит в упадок. Я не знаю, до чего мы дойдём. — Он погрозил в гостиную толстым пальцем. — Слишком много женщин у нас теперь, и они сами не знают, чего им нужно.

И с этими словами он крепко ухватил карту обеими руками и вышел, точно опасаясь, как бы ему кто-нибудь не ответил.

Семь женщин, которым это было адресовано, все сразу заговорили шёпотом; прорывался только голос Фрэнси: «Нет, в самом деле, Форсайты...» и тётя Джули: «Ему надо сегодня на ночь поставить ноги в горячую воду с горчицей, непременно. Эстер, ты скажешь Джэйн? Боюсь, что ему опять бросилась кровь в голову...»

Вечером, когда они с Эстер сидели одни после обеда, она спустила петлю на своём вязанье и подняла глаза.

— Эстер, я что-то не могу вспомнить, от кого это я слышала, что милый Сомс хочет, чтобы Ирэн вернулась к нему. Кто-то рассказывал, что Джордж нарисовал такую смешную картинку и подписал: «Счастлив не будет, пока не добьётся своего».

— Юстас, — ответила тётя Эстер, не отрываясь от «Таймса». — Она у него была с собой в кармане, но он не захотел нам показать.

Тётя Джули промолчала, о чём-то задумавшись. Тикали часы, хрустели страницы «Таймса», потрескивал огонь в камине. Тётя Джули опять спустила петлю.

— Эстер, — сказала она, — какая мне ужасная мысль пришла в голову.

— Тогда лучше не говори мне, — живо отозвалась тётя Эстер.

— Ах, нет, я не могу не сказать. Ты даже представить себе не можешь, до чего это ужасно. — Голос её перешёл в шёпот: — Джолион... у Джолиона, говорят, теперь светлая борода.

XII. ОХОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Спустя два дня после обеда у Джемса мистер Полтид доставил Сомсу обильную пищу для размышлений.

— Некий джентльмен, — сказал он, заглядывая в ключ к шифру, спрятанный у него в левой руке, — 47, как мы называем его, весь этот месяц оказывал усиленное внимание 17 в Париже. Но в настоящее время нет ещё ничего определённого. Встречи происходили в общественных местах, совершенно открыто, в ресторанах, в Опере, в Лувре, в Люксембургском саду, в гостиной отеля и т.п. Ни она не встречалась с ним у него в номере,

ни наоборот. Они ездили в Фонтенебло, но ничего существенного. Короче говоря, положение вещей сулит надежды, но требует терпения. — И, внезапно подняв глаза на Сомса, он прибавил: — Одна довольно любопытная подробность: 47 носит ту же фамилию, что... и... мм... 31.

«Эта скотина знает, что я её муж», — подумал Сомс.

— Зовут его — странное имя! — Джолион, — продолжал мистер Полтид. Нам известен его адрес в Париже и его местожительство здесь. Нам, разумеется, было бы нежелательно идти по ложному следу.

— Продолжайте в этом направлении, но будьте осторожны, — упрямо сказал Сомс.

Инстинктивная уверенность, что этот профессионалсыщик проник в его тайну, заставляла его держаться ещё более скрытно.

— Простите, — сказал мистер Полтид, — я сейчас узнаю, нет ли чего-нибудь новенького.

Он вернулся, держа в руках несколько писем. Заперев за собой дверь, он бегло просмотрел конверты.

— Вот, есть письмо лично мне от 19.

— Да? — сказал Сомс.

— Гм! — пробормотал мистер Полтид. — Она пишет: «47 сегодня уехал в Англию, адрес на его багаже — РобинХилл. Расстался с 17 в Лувре в 3.30. Ничего заслуживающего внимания. Остаюсь продолжать наблюдение за 17. Вы можете проследить за 47 в Англии, если найдёте нужным». — И мистер Полтид поднял на Сомса взгляд, лишённый профессионального выражения, точно он собирал материал для книги о человеческой природе, которую решил написать, когда оставит своё дело. — Очень умная женщина 19 и замечательно гримируется. Недёшево обходится, но есть за что платить. До сих пор они не подозревают, что за ними следят, но по прошествии некоторого времени, знаете, случается иногда, что впечатлительные люди начинают чувствовать это, хотя бы у них и не было никаких подозрений. Я бы посоветовал сейчас оставить 17 в покое и понаблюдать за 47. Следить за перепиской, знаете, очень рискованно. Я не очень бы советовал делать это при настоящем положении вещей. Но вы можете передать вашему клиенту, что дела идут успешно.

И снова его прищуренные глаза блеснули на безмолвствующего посетителя.

— Нет, — внезапно сказал Сомс. — Я предпочитаю, чтобы вы, соблюдая всяческую осторожность, продолжали слежку в Париже и не занимались этим объектом здесь.

— Отлично, — сказал мистер Полтид. — Будет сделано.

— Каковы... как они себя держат друг с другом?

— Я вам прочту, что она пишет, — сказал мистер Полтид, открывая ящик стола и вынимая оттуда пачку бумаг. — Она излагает это весьма конфиденциально. Да, вот оно! «17 весьма привлекательна... что касается 47, то клыки стёрты (жаргон для определения возраста, знаете ли) ... явно неравнодушен... выжидает время, — 17, вероятно, уклоняется от объяснения, — сказать ничего нельзя, не ознакомившись ближе с делом. Но в общем можно предположить, что она находится в нерешительности — способна в один прекрасный день поддаться импульсу. Оба выдерживают стиль».

— Что это значит? — спросил Сомс, не разжимая губ.

— Это, — улыбнулся мистер Полтид, показывая два ряда белых зубов, это такое специальное выражение. Другими словами, это история не на два дня: они или столкнутся всерьёз, или совсем не столкнутся.

— Гм! — пробормотал Сомс. — Это все?

— Да, — сказал мистер Полтид, — но это сулит надежды.

«Паук!» — подумал Сомс.

— До свидания.

Он направился к Грин-парку, чтобы выйти к вокзалу Виктория и поехать подземкой в Сити. Погода стояла тёплая для последних дней января. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь

туман, горели на подёрнутой инеем траве, точно сверкающая паутина.

Маленькие паучки — большие пауки! И самый большой паук — это его собственное упорство, запутывающее все больше и больше своими нитями все пути к выходу. С какой целью этот тип увивается около Ирэн? Неужели это действительно так, как предполагает Полтид? Или, может быть, Джолион сочувствует ей в её одиночестве, как он однажды выразился, — ведь он всегда был такой сентиментальный радикал? А что, если это на самом деле так, как говорит Полтид? Сомс остановился. Этого не может быть! Этот субъект старше его на семь лет, ни внешностью он не лучше, ни богаче! Что же в нём может быть привлекательного?

«К тому же он вернулся, — подумал он, — не похоже, чтобы... Поеду-ка повидаться с ним!» И, вынув визитную карточку. Сомс написал:

"Не могли бы Вы уделить мне полчаса как-нибудь на этой неделе — я буду ждать Вас в любой день в «Клубе знатоков» от 5.30 до 6 или, если это Вам удобнее, мог бы зайти во «Всякую всячину». Мне нужно Вас видеть.

С. Ф."

Он свернул на Сент-Джемс-стрит и передал карточку швейцару клуба «Всякой всячины».

— Передайте это мистеру Джолиону Форсайту, как только он придёт, сказал он и, окликнув один из этих недавно вошедших в моду таксомоторов, сел и поехал в Сити...

Джолион получил эту записку в тот же день и отправился в «Клуб знатоков». Что нужно от него Сомсу? Не узнал ли он чего-нибудь о Париже? Переходя Сент-Джемс-стрит, Джолион решил не делать тайны из своей поездки. «Но, во всяком случае, — подумал он, — не следует ставить его в известность, что она там, если он только уже не осведомлён». В таком сложном состоянии духа он вошёл в клуб, и его провели наверх, где у небольшого окна с выступом сидел Сомс и пил чай.

— Нет, благодарю, я не хочу чаю, — сказал Джолион, — я лучше покурю, если можно.

Шторы ещё не были опущены, хотя на улице уже зажглись фонари; кузены сели, молча оглядывая друг Друга.

— Я слышал, вы были в Париже, — наконец сказал Сомс.

— Да, только что вернулся.

— Мне говорил Вал; ведь он и ваш сын, по-видимому, вместе отправляются на фронт.

Джолион кивнул.

— Скажите, вы не встречали за границей Ирэн? Она, кажется, где-то там.

Джолион окутал себя клубом дыма, прежде чем ответить.

— Да, я видел её.

— Как она себя чувствует?

— Прекрасно.

Снова наступило молчание. Затем Сомс откинулся на спинку стула.

— Когда мы с вами виделись в последний раз, — сказал он, — я находился в нерешительности. Мы с вами беседовали, и вы высказали своё мнение. Я не хочу возвращаться к этому спору. Я только, хочу сказать вот что: моё положение крайне затруднительно. Я бы не хотел, чтобы вы настраивали её против меня. То, что произошло когда-то, было очень давно. Я хочу предложить ей забыть прошлое.

— Ведь вы уже предлагали ей, — пробормотал Джолион.

— Тогда это было для неё неожиданно, это потрясло её. Но чем больше она об этом думает, тем для неё должно быть яснее, что это единственный разумный выход для нас обоих.

— Я бы сказал, что я вынес совершенно другое впечатление из разговоров с ней, — сказал Джолион с необычайным спокойствием. — И простите, если я позволю себе заметить, что вы в корне заблуждаетесь, думая, что рассудок Тут что-нибудь значит.

Он увидел, как бледное лицо его кузена стало ещё бледней: сам того не зная, он

повторил слова Ирэн.

— Очень вам благодарен, — сказал Сомс, — но я, может быть, вижу лучше, чем вы думаете. Я только хотел бы быть уверенным, что вы не воспользуетесь вашим влиянием для того, чтобы восстанавливать её против меня.

— Не знаю, из чего вы заключили, что я вообще имею на неё какое-то влияние, — сказал Джолион. — Но если бы и имел, я считал бы своим долгом употребить его лишь на то, что, по моему мнению, способствовало бы её счастью. Я, знаете ли, как теперь, кажется, принято говорить, «феминист».

— Феминист! — повторил Сомс, словно стараясь выгадать время. — Нужно ли это понимать так, что вы против меня?

— Грубо говоря, — сказал Джолион, — я против того, чтобы женщина жила с мужчиной, которого она определённо не любит. Мне это кажется отвратительным.

— И я полагаю, всякий раз, как вы видите её, вы стараетесь внушить ей эти ваши взгляды?

— Вряд ли я сейчас имею возможность видеться с ней.

— Вы не собираетесь обратно в Париж?

— Да нет, насколько мне известно, — сказал Джолион, чувствуя внимательно насторожённый взгляд Сомса.

— Отлично, это все, что я имел вам сказать. И знаете, всякий, кто становится между мужем и женой, берет на себя тяжёлую ответственность.

Джолион встал и слегка поклонился.

— До свидания, — сказал он и, не протянув руки, повернулся и пошёл.

Сомс, не двигаясь, смотрел ему вслед. «Мы, Форсайты, — думал Джолион, садясь в кэб, — очень цивилизованная публика. У людей попроще дело, наверно, дошло бы до драки. Если бы мой мальчик не отправлялся на эту войну...»

Война! Прежние сомнения зашевелились в нём. Хороша война! Порабощение народов или женщин! Стремление подчинить, навязать своё господство тем, кто вас не хочет! Отрицание самой элементарной порядочности! Собственность, священные права! И всякий, кто против них, — пария. «Но я, слава богу, всегда хоть чувствовал, что я против них», — думал он. Да! Он помнил, что даже до своей первой неудачной женитьбы его приводили в негодование жестокие расправы в Ирландии⁵⁷ или эти ужасные судебные процессы, когда женщины делали попытку освободиться от мужей, которые им были ненавистны. Это церковники считают, что свобода души и тела — два разных понятия! Пагубное учение! Можно ли так разделять душу и тело? Свободная воля — в этом сила, а не греховность любого союза. «Мне бы следовало сказать Сомсу, — подумал он, — что, на мой взгляд, он просто смешон. Ах, но он и трагичен в то же время!»

Действительно, что в мире может быть трагичнее человека, ставшего рабом своего неудержимого инстинкта собственности, человека, который ничего за этим не видит и даже неспособен просто понять чувства другого человека! «Надо написать ей, предостеречь её, — думал Джолион. — Он собирается сделать ещё попытку». И всю дорогу, пока он ехал домой в Робин-Хилл, он мысленно протестовал против этого неодолимого чувства долга по отношению к сыну, которое мешало ему уехать обратно в Париж...

А Сомс долго ещё сидел в кресле, не в силах преодолеть не менее грызущую ревнивую боль, словно ему внезапно открылось, что этот человек действительно имеет перед ним преимущество, что он успел сплести новую паутину и преградить ему путь. «Следует ли это понимать так, что вы против меня?» Он ничего не добился, задав этот хитрый вопрос. Феминист! Фразёр несчастный! «Мне только не надо торопить события, — думал он. — У меня ещё есть время: он сейчас не едет в Париж, если он только не соврал. Подождём до

⁵⁷ ...жестокие расправы в Ирландии... — Имеется в виду расправа над восставшими (так называемое восстание фениев) в Ирландии в феврале — марте 1867 г.

весны». Хотя что могла принести ему весна, он и сам не мог бы сказать, — разве только усилить его мучения. И, глядя на улицу, где фигуры прохожих возникали в кругах света то у одного, то у другого фонаря, Сомс думал: «Все кажется ненужным, все бессмысленно. Я одинок в этом все несчастье».

Он закрыл глаза; и сейчас же увидел Ирэн в тёмном переулке, за церковью. Она прошла и обернулась, и он видел, как сверкнули её глаза и её белый лоб под маленькой тёмной шляпой с золотыми блёстками и длинной развевающейся сзади вуалью. Он открыл глаза — он так ясно её видел! Женщина шла внизу, но это не она. Ах, нет, там ничего нет!

XIII. «А ВОТ И МЫ!»

Туалеты Имоджин для её первого сезона в течение всего марта месяца поглощали внимание её матери и содержимое кошелька её деда. Уинифрид с форсайтским упорством стремилась превзойти самое себя. Это отвлекло её мысли от медленно приближавшейся процедуры, которая должна была наконец вернуть ей столь сомнительно желанную свободу; это отвлекло её также и от мыслей о сыне и быстро приближавшемся дне его отъезда на фронт, откуда по-прежнему поступали тревожные известия. Точно пчелы, деловито перелетающие с цветка на цветок, или проворные оводы, что снуют и мечутся над колосистыми осенними травами, Уинифрид и её «маленькая дочка», ростом почти с мать и разве только чуть уступавшая ей в объёме бюста, сновали по магазинам Риджент-стрит, по модным мастерским на Ганновер-сквер и Бонд-стрит, разглядывая, ощупывая ткани. Десятки молодых женщин с ослепительными манерами и с прекрасной осанкой проходили перед Уинифрид и Имоджин, облачённые в «творения искусства». Модели — «самая новинка, мадам, последний крик моды», — от которых они неохотно отказывались, могли бы наполнить целый музей; модели, которые они считали себя обязанными приобрести, почти, истощили текущий счёт Джемса. «Не стоит ничего делать наполовину», — думала Уинифрид, задавшись целью создать дочери в этот первый, единственный ничем не омрачённый для неё сезон громкий успех. Терпение, которое они проявляли, испытывая терпение этих безличных созданий, плавно выступавших перед ними, даётся только людям, движимым глубокой верой. И Уинифрид, простираясь перед своей возлюбленной богиней Модой, уподоблялась ревностной католичке, простёртой перед святой девой; для Имоджин это было новое ощущение, отнюдь не лишённое приятности, она и в самом деле бывала порой просто обворожительна, и, само собой разумеется, ей всюду льстили; словом, это было очень забавно.

На исходе дня двадцатого марта, после того как они надлежащим образом очистили Скайурда, они по дороге зашли к Кэрмел и Бекеру и, подкрепившись шоколадом со сбитыми сливками, отправились домой через Берклисквер в сумерках, уже пронизанных весной. Открыв дверь, заново выкрашенную в светло-оливковый цвет (в этом году ничего не было упущено в предвидении триумфального дебюта Имоджин), Уинифрид прошла к серебряной корзине посмотреть, не был ли у них кто-нибудь днём, и вдруг ноздри её невольно вздрогнули. Что это за запах?

Имоджин, схватив роман, присланный из библиотеки, тут же углубилась в него. Уинифрид немножко резким тоном — все из-за этого странного ощущения в груди — сказала ей:

— Возьми книгу наверх, милочка, и отдохни за обедом.

Имоджин, не отрываясь от книги, поднялась по лестнице. Уинифрид слышала, как хлопнула дверь в её комнату, и глубоко потянула носом воздух. Что это? Ил" ввели взбудоражила её нервы, пробудив в ней тоску по её «паяцу», вопреки всем доводам рассудка и оскорблённой добродетели? Мужской запах! Слабый аромат сигар и лавандовой воды, которого она не слышала с той самой ночи в начале осени, шесть месяцев назад, когда она назвала его «пределом». Откуда он взялся? Или это только призрак запаха эманация памяти? Она огляделась по сторонам. Ничего, ровно ничего, ни малейшего беспорядка ни в холле, ни

в столовой. Какая-то галлюцинация запаха — обманчивая, мучительная, нелепая! В серебряной корзине оказались визитные карточки: две — мистера и миссис Полгет Том и одна — мистера Полгет Тома; она понюхала их, но они издавали строгий пресный запах. «Я просто устала, — подумала она, — пойду прилягу».

Гостиная наверху тонула в полутьме, дожидаясь, чтобы чья-нибудь рука зажгла в ней вечерний свет; Уинифрид прошла к себе в спальню. Здесь тоже шторы были полуопущены, и царил полумгла, так как было уже шесть часов. Уинифрид сбросила жакет — опять этот запах! И вдруг остановилась, точно её пригвоздили к спинке кровати. Что-то тёмное приподнялось с кушетки в дальнем углу. Слово, всегда выражавшее ужас у них в семье, сорвалось с её губ: «Боже!»

— Это я — Монти, — послышался голос.

Ухватившись за спинку кровати, Уинифрид потянулась и повернула выключатель над туалетом. Фигура Дарти выступила на самом краю светового круга, отчётливо выделяясь от нижней половины груди, где отсутствовала цепочка от часов, до изящных темно-коричневых ботинок — одного с разорванным носком. Плечи и лицо были в тени. Он очень похудел — или это игра света? Он сделал несколько шагов вперёд, освещённый теперь от кончиков ботинок до тёмной шевелюры, слегка поседевшей, несомненно. Лицо у него потемнело, пожелтело. Чёрные усы утратили свой задорный вид и мрачно висели; на лице появились морщинки, которых она раньше не замечала. В галстук не было булавки. Его костюм — ах, да, она узнает его, но какой измятый, потёртый! Она опять перевела глаза на носок его ботинка. Что-то огромное, жёсткое настигло его, смяло, исковеркало, скрутило, выпотрошило. И она стояла молча, не двигаясь, глядя на трещину на его ботинке.

— Ну вот! — сказал он. — Я получил постановление суда. Я вернулся.

Грудь Уинифрид начала бурно вздыматься. Тоска по мужу, пробудившаяся от этого запаха, боролась с такой мучительной ревностью, какой она никогда ещё не испытывала. Вот он стоит здесь — тёмная и точно загнанная тень самого себя, прежнего вылощенного и самоуверенного Монти! Какая сила сделала это с ним — выжала его, как апельсин, до самой корки! Эта женщина!

— Я вернулся, — сказал он. — Мне было очень скверно, клянусь богом! На палубе ехал. У меня нет ничего, кроме того, что на мне, да вот этого чемодана.

— А у кого же остальное? — вскричала Уинифрид, вдруг выйдя из оцепенения. — Как ты смел приехать? Ты знал, что это только для развода тебе послали этот приказ. Не трогай меня!

Они стояли по обе стороны большой кровати, где в течение стольких лет они спали вместе. Много раз — да, много раз — ей хотелось, чтобы он вернулся. Но теперь, когда он вернулся, она чувствовала только холодную, смертельную злобу. Он поднял руку к усам, но не подкрутил их, как, бывало, раньше, а просто потянул вниз.

— Господи! — сказал он. — Если бы ты только знала, что я перенёс!

— Рада, что не знаю.

— Дети здоровы?

Уинифрид кивнула.

— Как ты вошёл?

— У меня был ключ.

— Значит, прислуга не знает. Тебе нельзя здесь оставаться, Монти.

У него вырвался горький смешок.

— А где же?

— Где угодно.

— Но ты только посмотри на меня. Эта... эта проклятая...

— Если ты только скажешь слово о нём, — вскричала Уинифрид, — я сейчас же отправлюсь на Парк-Лейн и не вернусь домой!

И вдруг он сделал совсем простую вещь, но такую необычную для него, что она почувствовала жалость. Он закрыл глаза. Все равно как если бы он сказал: «Хорошо. Я умер»

для всего света».

— Ты можешь остаться переночевать, — сказала она. — Твои вещи все ещё здесь. Дома только одна Имоджин.

Он прислонился к спинке кровати.

— Ну что ж, все в твоих руках, — и его собственные руки судорожно сжались. — Я столько вытерпел! Тебе нет надобности бить слишком сильно не стоит. Я уже напуган, достаточно напуган, Фредди.

Услышав ласкательное имя, которым он не называл её много лет, Уинифрид вздрогнула.

«Что мне делать с ним? — подумала она. — Господи, что мне с ним делать?»

— У тебя есть папироска?

Она достала папиросу из маленького ящика, который держала здесь на случай бессонницы, и дала ему закурить. И этот обыденный жест вернул к жизни трезвую сторону её натуры.

— Пойди и прими горячую ванну. Я приготовлю тебе бельё и костюм в твоей комнате. Мы можем поговорить потом.

Он кивнул и поднял на неё глаза — какой-то полумёртвый взгляд, или это только казалось оттого, что веки у него словно набухли?

«Он совсем не такой, как прежде, — подумала она. — Он никогда не будет таким, как был! Но какой же он будет?»

— Хорошо, — сказал он и пошёл к двери. Он даже двигался иначе — как человек, который утратил все иллюзии и не уверен, стоит ли ему вообще двигаться.

Когда он вышел и Уинифрид услышала, как в ванной зашумела вода, она достала и разложила на кровати в его комнате полную смену белья и верхней одежды, потом спустилась вниз и принесла виски и корзину с печеньем. Снова надев жакет и секунду постояв, прислушиваясь у двери ванной, она тихонько спустилась и вышла из дому. На улице она остановилась в нерешительности. Восьмой час! Где сейчас может быть Сомс — у себя в клубе или на Парк-Лейн? Она направилась на Парк-Лейн. Вернулся! Сомс всё время боялся этого, а она — надеялась, иногда. Вернулся! Это так похоже на него — суший клоун — появляется: «А вот и мы!» И всех оставляет в дураках: и суд, и Сомса, и её самое! Но развязаться с этим судом, зная, что эта угроза не висит больше над ней, над её детьми! Какое счастье! Ах, но как примириться с его возвращением? Эта девка выпотрошила его, выбила из него пламя такой страсти, какой он никогда не проявлял к ней, на какую она даже не считала его способным. Вот что самое обидное! Её себялюбивого, самоуверенного клоуна, которого она никогда по-настоящему не волновала, растоптала, опустошила другая женщина! Унизительно! Слишком унижительно! Просто невозможно, неприлично пустить его к себе! Но ведь она же добивалась — этого, суд может теперь заставить её! Ведь он всё ещё её муж, как прежде, — она теперь ничего не может требовать от суда. А ему, разумеется, нужны только деньги, чтобы у него были сигары и лавандовая вода! Ах, этот запах! «В конце концов я же ведь не старуха, — подумала она, — ведь не старуха же я!» Но эта девка, которая довела его до таких слов: «Я столько вытерпел! Я уже напуган, достаточно напуган, Фредди!» Уинифрид подходила к дому отца, так и не совладав со всеми этими раздражающими её противоречивыми чувствами, но форсайтский инстинкт настойчиво и неотступно внушал ей, что как бы там ни было, он всё же её собственность, которую она должна оберегать ото всех, кто осмелится посягнуть на неё. В таком состоянии она вошла в дом Джемса.

— Мистер Сомс? У себя в комнате? Я поднимусь к нему; не говорите, что я здесь.

— Брат её переодевался. Она застала его перед зеркалом, он стоял и завязывал чёрный галстук с таким видом, словно глубоко презирал его концы.

— Алло! — сказал он, увидев её в зеркало. — Что случилось?

— Монти, — каменным голосом сказала Уинифрид.

Сомс круто повернулся.

— Что?

— Вернулся!

— Попались на свою же удочку! — пробормотал Сомс. — Ах, черт, почему ты не дала мне сослаться на жестокое обращение? Я с самого начала знал, что это страшно рискованно!

— Ах, не будем говорить об этом! Что мне теперь делать?

Сомс ответил глубоким-глубоким вздохом.

— Ну, что же? — нетерпеливо сказала Уинифрид.

— Что он говорит в своё оправдание?

— Ничего. У него один башмак рваный.

Сомс молча уставился на неё.

— А, — сказал он, — ну конечно! Промотал все, что мог. Теперь все опять начнётся сначала! Это просто прикончит отца.

— Нельзя ли это как-нибудь скрыть от него?

— Невозможно! У него удивительный нюх на всякие неприятности, — и Сомс задумался, заложив пальцы за свои голубые шёлковые подтяжки. — Нужно найти какой-нибудь юридический способ его обезвредить.

— Нет! — вскричала Уинифрид. — Я больше не желаю разыгрывать из себя дуру. Я скорей уж примирюсь с ним.

Они стояли и смотрели друг на друга — у обоих чувства били через край, но они не могли выразить их: для этого они были слишком Форсайты.

— Где ты его оставила?

— В ванне. — У Уинифрид вырвался горький смешок. — Единственное, что он привёз с собой, это лавандовую воду.

— Успокойся, — сказал Сомс, — ты на себя не похожа.

Я поеду с тобой.

— Какой в этом прок?

— Попробую поговорить с ним, поставлю ему условие...

— Условие! Ах, все опять пойдёт по-старому, стоит ему только прийти в себя: карты, лошади, пьянство и...

Она вдруг замолчала, вспомнив выражение лица своего мужа. Обжётся мальчик, обжётся! Кто знает...

— Прийти в себя? — переспросил Сомс. — Он что, болен?

— Нет, сгорел; вот и все.

Сомс снял со стула жилет и надел его; потом надел сюртук, надушил платок одеколоном, пристегнул цепочку от часов и сказал:

— Не везёт нам.

И хотя Уинифрид была поглощена своим собственным несчастьем, ей стало жалко его, точно этой ничтожной фразой он открыл ей своё глубокое горе.

— Я бы хотела повидаться с мамой, — сказала она.

— Она, наверно, с отцом в спальне. Пройдя незаметно в кабинет. Я позову её.

Уинифрид тихонько спустилась по лестнице и прошла в маленький тёмный кабинет, главной достопримечательностью которого был Каналетто⁵⁸; слишком сомнительный для того, чтобы его можно было повесить в другой комнате, и прекрасное собрание отчётов о судебных процессах, не раскрывавшееся много лет. Она стала спиной к плотно задёрнутым портьерам каштанового цвета и, не двигаясь, смотрела в пустой камин, пока не вошла мать и следом за ней Сомс...

— Ах, бедняжка моя, — сказала Эмили, — какой у тебя ужасный вид. Нет, в самом деле, как это возмутительно с его стороны!

В семье так тщательно воздерживались от проявления каких бы то ни было интимных

⁵⁸ Каналетто (1697—1768) — известный венецианский пейзажист.

чувств, что Эмили казалось совершенно невозможным подойти и обнять дочь. Но от её мягкого голоса, от её все ещё полных плеч, сквозивших из-под дорогого чёрного кружева, веяло утешением. Собрав всю свою гордость, Уинифрид, не желая расстраивать мать, сказала самым непринуждённым тоном:

— Все благополучно, мама, и волноваться не из-за чего.

— Не понимаю, — сказала Эмили, поворачиваясь к Сомсу, — почему Уинифрид не может сказать ему, что она подаст на него в суд, если он не удалится? Он взял её жемчуг, и если он не привёз его назад, этого уже достаточно.

Уинифрид улыбнулась. Они все теперь будут строить всякие предположения, давать советы, но она уже знает, что ей делать: просто — ничего. Чувство, что она в конце концов одержала какую-то победу, сберегла свою собственность, всё сильнее и сильнее овладевало ею. Нет! Если она захочет наказать его, она сделает это дома, без свидетелей.

— Ну что ж, — сказала Эмили, — идёмте как можно спокойней в столовую, ты должна остаться пообедать с нами. И ты уж предоставь это мне, я сама скажу папе.

И, когда Уинифрид направилась к двери, Эмили выключила свет. Тут только они заметили, какая беда их ждёт в коридоре.

Там, привлечённый светом, пробивавшимся из комнаты, которая никогда не освещалась, стоял Джемс, закутанный в свою верблюжью шаль песочного цвета, из которой он не мог высвободить рук, так что казалось, словно между его серебряной головой и ногами, одетыми в модные брюки, врезался кусок пустыни. Он стоял, бесподобно похожий на аиста, и смотрел с таким выражением, точно видел перед собой лягушку, которая была слишком велика, чтобы он мог проглотить её.

— Что все это означает? — сказал он. — «Скажу папе»? Вы мне никогда ничего не говорите.

Эмили не нашлась, что ответить. Сама Уинифрид подошла к отцу и, положив обе руки на его закутанные беспомощные руки, сказала:

— Монти не обанкротился, папа. Он просто вернулся домой.

Все трое ожидали, что случится что-то ужасное, и рады были хоть тому, что Уинифрид держит его за руки, но они не знали, как крепки корни в этом старом, похожем на тень Форсайте. Какая-то гримаса покривила его гладко выбритые губы и подбородок, какая-то тень пробежала между длинными седыми бакенбардами. Затем он твёрдо, почти с достоинством, произнёс:

— Он меня сведёт в могилу. Я знал, чем это кончится.

— Не нужно расстраиваться, папа, — сказала Уинифрид спокойно. — Я заставлю его вести себя прилично.

— Ах! — сказал Джемс. — Снимите с меня это, мне жарко.

Они размотали шаль. Он повернулся и твёрдой поступью направился в столовую.

— Я не хочу супу, — сказал он Уормсону и опустил в своё кресло.

Все тоже сели — Уинифрид все ещё в шляпе, — в то время как Уормсон ставил четвёртый прибор. Когда он вышел из комнаты, Джемс сказал:

— Что он привёз с собой?

— Ничего, папа.

Джемс устремил взгляд на своё собственное отражение в ложке.

— Развод! — бормотал он. — Вздор! О чём я думал? Мне нужно было предложить ему пенсион, чтобы он не возвращался в Англию. Сомс! Ты съезди и предложи ему это.

Это казалось таким разумным и простым выходом, что Уинифрид даже сама удивилась, когда сказала:

— Нет, пусть уж он останется теперь, раз вернулся; он должен просто вести себя прилично — вот и все.

Все посмотрели на неё. Всем было известно, что Уинифрид мужественная женщина.

— Там ведь, — не совсем вразумительно начал Джемс, — кто знает, что за бандиты! Поищи и отними у него револьвер! И не ложись спать без этого. Тебе нужно взять с собой

Уормсона, чтобы он у вас ночевал. А завтра я с ним сам поговорю.

Все были растроганы этим заявлением, и Эмили сказала ласково:

— Правильно, Джемс, мы не потерпим никаких глупостей.

— Ах! — мрачно пробормотал Джемс. — Я ничего не могу сказать.

Вошёл Уормсон с рыбой, и разговор перешёл на другую тему.

Когда Уинифрид сразу после обеда подошла к отцу поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи, он поднял на неё такие вопрошающие, такие тревожные глаза, что она постаралась собрать все своё мужество, чтобы сказать как можно непринуждённое:

— Все благополучно, папа милый, не беспокойтесь, пожалуйста; мне никого не нужно, он совсем смирный. Я только расстроюсь, если вы будете волноваться. Спокойной ночи, спасибо, папа!

Джемс повторил её слова: «Спасибо, папа!» — словно он не совсем понимал, что это значит, и проводил её глазами до двери.

Она вернулась домой около девяти часов и прошла прямо наверх.

Дарти лежал на кровати в своей комнате, переодетый с ног до головы, в синем костюме и в бальных туфлях. Руки его были закинута за голову, потухшая папироса торчала изо рта.

Уинифрид почему-то вспомнились цветы на окне в ящиках после знойного летнего дня — как они лежат, или, вернее, стоят, обессиленные от жары, но всё же чутьчуть оправившиеся после захода солнца. Казалось, словно на её опалённого супруга уже брызнуло немножко росы.

Он вяло сказал:

— Ты, наверное, была на Парк-Лейн? Ну, как старик?

Уинифрид не могла удержаться и желчно ответила:

— Не умер ещё.

Он вздрогнул, совершенно определённо вздрогнул.

— Пойми одно, Монти, — сказала она, — я не допущу, чтобы его кто-нибудь чем-нибудь расстраивал. Если ты не будешь вести себя прилично, уезжай туда, откуда приехал, или куда угодно. Ты обедал?

— Нет.

— Хочешь есть?

Он пожал плечами.

— Имоджин предлагала мне, я не стал.

Имоджин! Уинифрид в своём смятении позабыла о ней.

— Значит ты видел её? Что же она тебе сказала?

— Поп, целовала меня.

Уинифрид с чувством горькой обиды увидела, как его хмурое, желчное лицо прояснилось. «Да, — подумала она, — он любит её, а меня ни капли».

Глаза Дарти блуждали по сторонам.

— Она знает про меня? — спросил он.

И Уинифрид вдруг осенило: вот оружие, которым она может воспользоваться. *Он боится, как бы они не узнали!*

— Нет, Вал знает. А больше никто; они знают только, что ты уезжал.

Она услышала вздох облегчения.

— Но они узнают, — твёрдо сказала она, — если ты только дашь мне повод.

— Ну что же, — пробормотал он. — Добивай меня! Я уже и так уничтожен.

Уинифрид подошла к кровати.

— Послушай, Монти, — сказала она. — Я вовсе не хочу добивать тебя. И не хочу делать тебе больно. Я ни о чём не буду вспоминать. И не буду терзать тебя. Какой от этого толк? — она секунду помолчала. — Но, я так больше не могу и не буду так жить. И лучше, если ты это поймёшь. Я много страдала из-за тебя. Но я тебя любила, Ради этого...

Опущенный взгляд её зелено-серых глаз встретился со взглядом его карих глаз, глядевших из-под тяжёлых век; она вдруг дотронулась до его руки, повернулась и вышла.

У себя в спальне она долго сидела перед зеркалом, вертя машинально свои кольца, думая об этом смуглом, присмирившем, почти незнакомом ей человеке, который лежал на кровати в другой комнате; она решительно не позволяла себе «терзаться», но её грызла ревность к тому, что он пережил, а минутами сердце её сжималось от жалости.

XIV. ДИКОВИННАЯ НОЧЬ

Сомс упорно дожидался весны — занятие нелёгкое для человека, который сознаёт, что время бежит, что дело ни на волос не подвигается и что по-прежнему нет выхода из паутины. Мистер Полтид не сообщал ничего нового, кроме того, что слезка продолжается и на неё, разумеется, уходит масса денег. Вэл и его троюродный брат уехали на фронт, откуда последнее время поступали утешительные известия; Дарти пока что держал себя прилично; Джемс не хворал; дела процветали как-то даже почти невероятно, И у Сомса не было, в сущности, никаких оснований тревожиться, кроме того только, что он чувствовал себя «связанным» и не мог сделать ни шагу ни в одном направлении.

Правда, он не совсем избегал Сохо: он не мог допустить, чтобы там подумали, что он «отстал», как сказал бы Джемс, — ведь ему в любую минуту может понадобиться снова «пристать». Но ему приходилось вести себя так сдержанно, как осторожно, что он часто только проходил мимо ресторана «Бретань», даже не заглядывая туда, и сейчас же спешил выбраться из пределов этого квартала, который всегда вызывал у него ощущение, что он допустил какую-то ошибку в обращении со своей собственностью.

Так, возвращаясь однажды оттуда майским вечером, он вышел на Риджент-стрит и попал в толпу, которая произвела на него впечатление чего-то совершенно невероятного — орущая, свистящая, пляшущая, мятущаяся, неистово ликующая толпа, с фальшивыми носами, с дудками, с грошовыми свистульками, с какими-то длинными перьями и всяческими атрибутами полного идиотизма. Мейфкинг⁵⁹! Ну да, конечно, Мейфкинг отбит у буров. Но боже! Разве это может служить оправданием? Что это за люди, откуда они, как они попали в Вест-Энд? Его задевали по лицу, свистели в уши, какие-то девчонки кричали: «Чего шарахаешься, ай ты, штукатурка!» Какой-то малый сшиб с него цилиндр, так что он еле водрузил его на место. Хлопушки разрывались у него под самым носом, под ногами. Он был потрясён, возмущён до глубины души, он чувствовал себя оскорблённым. Этот людской поток нёсся со всех сторон, словно открылись какие-то шлюзы и хлынули подземные воды, о существовании которых он, может быть, когда-нибудь и слышал, но никогда этому не верил. Так это вот и есть народ, эта бесчисленная масса, живое отрицание аристократии и форсайтизма! И это, о боже, демократия! Она воняла, вопила, она внушала отвращение! В Ист-Энде или хотя бы даже в Сохо — но здесь, на Риджент-стрит, на Пикадилли! Что смотрит полиция? Дожив до 1900 года, Сомс со всеми своими форсайтскими тысячами ни разу не видел этого котла с поднятой крышкой и теперь, заглянув в него, едва мог поверить своим обожжённым паром глазам. Все это просто невообразимо! У этих людей нет никаких сдерживающих центров, и они, кажется, смеются над ним, эта орава, грубая, иступлённая, хохочущая, — и каким хохотом! Для них нет ничего священного! Он не удивился бы, если бы они начали бить стекла. По Пэл-Мэл, мимо величественных зданий, за право входа в которые люди платят по шестьдесят фунтов неслась эта орущая, свистящая,

На Пэл-Мэл расположены фешенебельные закрытые клубы, беснующаяся, как дервиш, толпа. Из окон клубов люди его класса со сдержанным любопытством разглядывали её. Они не понимают! Ведь это же очень серьёзно — это может принять какие угодно формы! Сейчас эта толпа радуется, но когда-нибудь она выйдет и в другом настроении. Он вспомнил бунт в восьмидесятых годах⁶⁰, когда он был в Брайтоне: тогда громили, произносили речи. Но

⁵⁹ *Мейфкинг* — город в Южной Африке, осаждённый бурами во время англо-бурской войны.

⁶⁰ Он вспомнил бунт в восьмидесятых годах... — Восьмидесятые годы XIX в. характерны для Англии

сейчас он испытывал не столько чувство страха, сколько глубокое удивление. Ведь это же какая-то истерика, это что-то совершенно не английское. И все это только из-за того, что отвоевали какой-то маленький городок, не больше Уотфорда, и за шесть тысяч миль отсюда. Сдержанность, умение владеть собой! Эти качества, которые для него были, пожалуй, дороже жизни, эти непременные атрибуты собственности, где они? Нет, это что-то совершенно чуждое, это не англичане! Так размышлял Сомс, продвигаясь вперёд. Казалось, он внезапно увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего, бросая вперёд свою тень. Это отсутствие солидности, почтения! Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии — чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно!

На углу Хайд-парка он столкнулся с Джорджем Форсайтом, сильно загоревшим от постоянного пребывания на ипподроме; Джордж держал в руке фальшивый нос.

— Алло, Сомс! — сказал он. — Хочешь нос?

Сомс ответил кислой улыбкой.

— Я отнял его у одного из этих спортсменов, — продолжал Джордж, который, по-видимому, только что недурно пообедал. — Дал ему здоровую взбучку за то, что он пытался сбить с меня шляпу. Нам ещё когда-нибудь придётся воевать с этими молодчиками: они что-то здорово обнаглели — все радикалы, социалисты. Им не даёт покоя наше добро. Расскажи-ка это дяде Джемсу, это ему поможет от бессонницы!

«*In vino veritas*»⁶¹, — подумал Сомс, но только кивнул и пошёл дальше по Гамильтон-Плейс. На Парк-Лейн попадались уже только редкие кучки гуляк, не очень шумные. Глядя на высокие дома, Сомс думал: «Мы, как-никак, все же оплот страны; Не так-то легко нас опрокинуть. Собственность диктует законы».

Но когда он закрыл за собой дверь отцовского дома⁶² весь этот невероятный, чудовищный уличный кошмар рассеялся бесследно, как если бы он видел его во сне и проснулся утром в своей тёплой, чистой, уютной кровати с пружинным матрацем.

Дойдя до середины громадной пустой гостиной, он остановился.

Жена! С кем можно было бы обо всём поговорить! Ведь имеет же он право на это, чёрт возьми, имеет право!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. СОМС В ПАРИЖЕ

Сомс мало путешествовал. Когда ему было девятнадцать лет, он с отцом, матерью и Уинифридом совершил «малый круг»: Брюссель, Рейн, Швейцария и обратно домой через Париж. В двадцать семь лет, когда он только что начал интересоваться живописью, он провёл пять лихорадочных недель в Италии, сосредоточив своё внимание на Ренессансе, в котором он, однако, нашёл меньше, чем ожидал, и на обратном пути две недели в Париже, сосредоточив своё внимание на самом себе, как и подобает Форсайту, окружённому столь самовлюблённым и чуждым народом, как французы. Его знакомство с их языком, приобретённое в школе, было весьма ограничено: он не понимал того, что они говорят. Молчание казалось ему лучше и для себя и для других — по крайней мере не строишь из себя дурака. Ему не нравилась ни их манера одеваться, ни эти закрытые кареты, ни театры,

значительным подъёмом рабочего движения; большое значение имела, в частности, месячная стачка многих тысяч лондонских докеров в 1889 г.

⁶¹ «Истина в вине» (лат.)

похожие на пчелиные ульи, ни музеи, в которых пахло пчелиным воском. Он был слишком осторожен и застенчив, чтобы исследовать ту сторону Парижа, которая, как предполагают Форсайты, и является его тайной приманкой; что же касалось его коллекционерских сделок, он не заключил ни одной. Французы, как, вероятно, сказал бы Николае, — прирождённые захватчики. Сомс вернулся домой недовольный и сказал, что Париж вовсе не так хорош, как говорят.

Таким образом, когда в июне 1900 года он отправился в Париж, это было его третье покушение на центр цивилизации. На этот раз, однако, гора пришла к Магомету, ибо он чувствовал себя теперь значительно более цивилизованным, чем этот Париж, и, может быть, оно так и было на самом деле. Кроме того, он ехал с определённой целью. Это уже было не какое-то там стояние на коленях в храме Безнравственности и Вкуса, но ходатайство по его собственным законным делам. Он ехал потому, что, в самом деле, все это давно уже вышло за пределы шутки. Слежка все продолжалась, но ничего, ровно ничего! Джолион в Париж не возвращался, и никого больше не было на подозрении. Занятый сейчас новыми и весьма конфиденциальными делами, Сомс более, чем когда-либо, сознавал всю важность безупречной репутации для поверенного. Но ночью и в часы досуга ему не давала покоя мысль, что время бежит, деньги текут к нему, а будущность его все в той же петле, что и прежде. После той мейфкингской ночи он случайно узнал, что около Аннет увивается какой-то юный балбес доктор. Он дважды заставал его у них: весёлый молодой идиот лет тридцати, не больше. Ничто так не раздражало Сомса, как весёлость — неприличное и какое-то экстравагантное свойство, вне всякой связи с действительностью. Одним словом, вся эта смесь желаний и надежд становилась для него настоящей пыткой; а кроме того, последнее время у него мелькала мысль, не догадалась ли Ирэн, что за ней следят. Это-то в конце концов и заставило его решиться поехать и посмотреть самому; прийти к ней, попробовать ещё раз сломить её сопротивление, её нежелание выйти с ним на ровную дорогу и создать себе и ему относительно сносное существование. Если это ему опять не удастся — ну что же, он, во всяком случае, узнает, как она на самом деле живёт.

Он остановился в отеле на улице Комартен — в отеле, весьма рекомендуемом Форсайтам, где почти не говорили по-французски. У него не было никакого плана. Он не хотел застать её врасплох; нужно было только что-то придумать, чтобы помешать ей уклониться от свидания и обратиться в бегство. И на следующее же утро, в хороший, ясный день, он пустился в путь.

Париж казался каким-то ликующим, словно над звездообразным городом стояло сияние, которое почти раздражало Сомса. Он шёл медленно, поглядывая по сторонам с явным любопытством. Ему хотелось теперь понять сущность французов. Ведь Аннет француженка! Можно многое извлечь из этой поездки, если он только сумеет сделать это. В таком похвальном настроении он три раза чуть было не угодил под колеса на площади Согласия. Он оказался на Кур-ля-Рэн, где находился отель, в котором жила Ирэн, как-то почти неожиданно для самого себя, ибо он ещё не решил, как ему поступить. Выйдя на набережную, он увидел белое приветливое здание с зелёными маркизами, выглядывающее сквозь густую листву платанов. И решив, что, пожалуй, гораздо лучше встретиться с Ирэн на улице, якобы случайно, чем рисковать заходить к ней, он уселся на скамью, откуда можно было наблюдать за входом в отель. Ещё не было одиннадцати часов, так что вряд ли она уже успела выйти. Несколько голубей чинно расхаживали и чистили пёрышки на солнечных дорожках, протянувшихся в тени платанов. Какой-то рабочий в синей блузе прошёл и вытряхнул им крошки из бумаги, в которую был завернут его завтрак. Нянька в чепце с лентами вывела гулять двух маленьких девочек с косичками и в панталончиках с гофрированными оборками. Мимо проехал экипаж, им правил кучер в синем долгополом сюртуке и чёрной блестящей шляпе. Сомсу казалось, что все это отдаёт бутафорией, какая-то преувеличенная живописность, которая совсем не современна. Театральный народ эти французы! Он закурил папиросу, что позволял себе только в редких случаях; он испытывал чувство горькой обиды, что судьба закинула его в какие-то чужеземные края. Он ничуть не

удивился бы, если бы узнал, что Ирэн нравится эта чужеземная жизнь: она никогда не была истинной англичанкой, даже по внешности. И он начал гадать, какие из этих окон под зелёными маркизами её окна. Сумеет ли он найти слова для того, что ему надо сказать ей, чтобы пробить броню её гордого упрямства? Он бросил окуроч в голубя и подумал: «Не могу же я вечно сидеть здесь и гадать на пальцах. Пожалуй, лучше уйти, а попозже днём зайти к ней в отель». Но он всё же продолжал сидеть, слышал, как пробило двенадцать, половина первого. «Подожду до часу, — подумал он, — раз уж я просидел столько». И в ту же минуту он вскочил и, отпрянув, снова опустился на скамью. Из отеля вышла женщина в платье кремового цвета, под палевым зонтиком, и направилась в противоположную сторону. Ирэн! Он подождал, пока она не отошла настолько, что не могла бы узнать его, и последовал за ней. Она шла медленно, по-видимому, без всякого дела, направляясь, если он не ошибался, к Булонскому лесу. Полчаса по крайней мере он шёл за ней, держась на значительном расстоянии, пока она не вошла в самый лес. Может быть, она всё же идёт на свидание с кем-нибудь? С кем-нибудь из этих дурацких французов, каким-нибудь таким *Bel Ami*⁶², которым нечего и делать больше, как бегать за женщинами, — Сомс прочёл эту книгу с трудом, но в то же время с каким-то брезгливым любопытством.

Он упорно шёл за ней по тенистой аллее, иногда теряя её из виду, когда дорожка заворачивала. И вспоминал, как однажды, давно когда-то, вечером в Хайд-парке он крался от дерева к дереву, от стула к стулу в безумной, слепой, яростной ревности, выслеживая её с Боснии. Дорожка круто завернула, и он, прибавив шагу, очутился лицом к лицу с Ирэн, сидевшей перед маленьким фонтаном — миниатюрной зеленовато-бронзовой Ниобеей⁶³ с распущенными волосами, окутывающими её до стройных бёдер, которая смотрела на заплаканный ею прудок. Он так внезапно налетел на Ирэн, что даже прошёл мимо и лишь потом повернулся и снял шляпу, чтобы поклониться ей. Она не шевельнулась, не вздрогнула. Она всегда отличалась большим самообладанием — одно из её качеств, которым он больше всего восхищался и которое в то же время больше всего огорчало его, так как он никогда не мог понять, что она думает. Может быть, она заметила, что он шёл за ней? Её самообладание разозлило его, и, не прибегая ни к каким объяснениям, которые могли бы оправдать его присутствие, он кивнул на заплаканную Ниобею и сказал:

— Недурная статуя!

И тут он заметил, что она делает усилие над собой, чтобы сохранить спокойствие.

— Я не хотел испугать вас. Это что, одно из ваших излюбленных мест?

— Да.

— Не слишком ли уединённо?

В это время проходившая мимо дама остановилась посмотреть на фонтан, затем прошла дальше.

Ирэн проводила её взглядом.

— Нет, — сказала она, чертя по земле зонтиком. — У человека всегда есть спутник — его тень.

Сомс понял и, мрачно взглянув на неё, воскликнул:

— Что же, вы сами виноваты. Вы можете освободиться от этого в любой момент. Ирэн, вернитесь ко мне, и вы будете свободны.

Ирэн засмеялась.

— Не смейтесь! — вскричал Сомс, топнув ногой. — Это бесчеловечно! Выслушайте меня.

⁶² Милый друг (фр.). *Bel Ami* — молодой человек, напоминающий героя романа Мопассана «Милый друг».

⁶³ *Ниобея* — в греческой мифологии жена фиванского царя и мать четырнадцати детей, которая за насмешку над богиней Лето, имевшей только одного сына, Аполлона, и одну дочь, Артемиду, лишилась всех своих детей и была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы.

Существует ли какое-нибудь условие, на котором вы могли бы согласиться вернуться ко мне? Если я обещаю вам отдельный дом и только иногда буду приходить к вам...

Ирэн вскочила. В её лице, во всей фигуре появилось что-то исступлённое.

— Нет, нет, нет! Вы можете преследовать меня до могилы. Я не вернусь к вам.

Оскорблённый, едва сдерживая себя, Сомс отступил.

— Не устраивайте сцен! — сказал он резко.

И они продолжали стоять неподвижно, глядя на маленькую Ниобею, зеленоватое тело которой сверкало на солнце.

— Итак, это последнее ваше слово, — пробормотал Сомс, сжимая кулаки. — Вы обрекаете нас обоих.

Ирэн опустила голову.

— Я не могу вернуться. Прощайте.

Сомс задыхался от чувства чудовищной несправедливости.

— Стойте, — сказал он, — выслушайте меня ещё минуту. Вы дали мне священный обет, вы пришли ко мне нищая. Вы имели все, что я мог дать вам. Вы без всякого повода с моей стороны нарушили этот обет; вы сделали меня посмешищем, лишили меня ребёнка; вы связали меня по рукам и по ногам, и вы — вы все ещё держите меня так, что я не могу без вас, не могу. Скажите, что вы после всего этого думаете о себе?

Ирэн обернулась, лицо её было смертельно бледно, тёмные глаза горели.

— Бог сделал меня такой, какая я, есть, — сказала она, — порочной, может быть, если вам так хочется думать, но не настолько, чтобы второй раз отдаться мужчине, которого я ненавижу.

Солнце заиграло в её волосах, когда она пошла, и, словно лаская, заскользило по всему плотно облегающему её кремовому платью.

Сомс не мог выговорить ни слова, не мог двинуться с места. От этого слова «ненавижу», такого грубого, такого примитивного, Форсайт в нём весь содрогнулся. С глухим проклятием он сорвался с этого места, откуда она только что исчезла, и чуть не попал в объятия дамы, возвращавшейся обратно. Идиотка, идиотка-сыщица!

Обливаясь потом, он шёл вперёд, углубляясь в самую гущу леса.

«Хорошо же! — думал он. — Я могу теперь не церемониться с ней, она со мной ни капли не считается. Я ей сегодня же покажу, что она всё ещё моя жена!»

Но, повернув обратно домой, он должен был признаться себе, что сам не знает, что он хотел этим сказать. Нельзя же устроить публичную сцену, а, кроме публичной сцены, что он может сделать? Он готов был проклинать свою щепетильность. Её, конечно, можно бы не щадить, но себя — увы! себя он должен пощадить! И, сидя в холле отеля, где мимо него ежеминутно проходили туристы с Бедкером в руках, забыв заказать завтрак, он предавался мрачным размышлениям. В петле! Вся его жизнь, со всеми естественными инстинктами и разумными стремлениями, затянута петлёй, задавлена, а все потому, что судьба толкнула его семнадцать лет назад увлечься этой женщиной так слепо, без оглядки, что даже и теперь у него не лежит сердце ни к кому, кроме неё. Проклятье дню, когда он встретил её, и его глазам за то, что они что-то увидели в ней, когда на самом деле она только жестокая Венера — и ничего больше. И, снова видя её перед собой в залитом солнечным светом, плотно облегающем шёлковом платье, он застонал так, что проходивший мимо турист подумал: «Вот скрутило человека! Гм, что это мы ели за завтраком?»

Попозже, сидя в открытом кафе недалеко от Оперы, за стаканом холодного чая с лимоном и опущенной в стакан соломинкой, он с каким-то злорадством решил пойти пообедать в её отель. Если она окажется там, он поговорит с ней, если нет, он оставит ей записку. Он тщательно оделся и написал следующее:

"Ваша идиллия с этим субъектом Джозлионом Форсайтом, во всяком случае, известна мне. Если Вы будете продолжать её, имейте в виду, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы сделать его положение невыносимым.

С. Ф."

Он запечатал записку, но оставил без адреса: ему не хотелось ни писать девичью фамилию Ирэн, к которой она так бесстыдно вернулась, ни ставить на конверте имя Форсайт, из опасения, как бы она не разорвала письмо не читая. Затем он вышел и зашагал по ярко освещённым улицам, запруженным вечерней толпой, жаждущей развлечений и зрелищ. Войдя в её отель, он занял столик в дальнем углу ресторана, откуда ему были видны все двери. Её не было. Он ел мало, торопливо, держась всё время настороже. Она не шла. Он выжидал, томясь над своим кофе, выпил две рюмки ликёра. Но она все не шла. Он подошёл к доске, на которой висели ключи, и стал читать фамилии. Номер двенадцатый, бельэтаж! И Сомс решил, что сам пойдёт и отнесёт записку. Он поднялся по покрытой красным ковром лестнице, мимо маленькой гостиной: восьмой — десятый — двенадцатый! Постучать, подсунуть записку под дверь или... Он быстро огляделся по сторонам и нажал ручку. Дверь отворилась, но за ней в тёмном закоулке оказалась другая дверь; он постучал — ответа не было. Дверь была заперта. Она очень плотно прилегала к полу — подсунуть записку было нельзя. Он положил её обратно в карман и минуту постоял, прислушиваясь. Почему-то он был уверен, что её там нет. Внезапно он повернулся и пошёл обратно, мимо маленькой гостиной, вниз по лестнице. Он остановился у конторки и сказал:

— Не будете ли вы так добры передать миссис Эрон эту записку.

— Мадам Эрон уехала сегодня, мсье, совершенно неожиданно, так часов около трех дня. У неё кто-то заболел в семье.

Сомс поджал губы.

— О! — сказал он. — Вы не знаете адреса?

— Нет, мсье! Кажется. Англия.

Сомс снова сунул записку в карман и вышел. Он окликнул проезжавший мимо экипаж:

— Везите меня куда-нибудь!

Кучер, который, по-видимому, не понял его, улыбнулся и взмахнул кнутом. И маленькая с жёлтыми колёсами виктория покатила Сомса по всему звездообразному Парижу, останавливаясь иногда, когда кучер спрашивал: «C'est paf ici, monsieur?»⁶⁴ — «Нет, поезжайте дальше», — пока тот, наконец отчаявшись, перестал спрашивать, и коляска с жёлтыми колёсами Помчалась, не останавливаясь, мимо высоких плоских домов с закрытыми ставнями и проспектов, обсаженных платанами, — не коляска, а маленький Летучий голландец!

«Точно моя жизнь, — думал Сомс, — вперёд и вперёд без всякой цели!»

II. В ПАУТИНЕ

Сомс вернулся в Англию на следующий день, а на третий день утром к нему явился мистер Полтид с цветком в петличке и в коричневом котелке. Сомс указал ему на кресло.

— Вести с войны, кажется, не так уж плохи? — сказал мистер Полтид. Надеюсь, вы в добром здравье, сэр?

— Благодарю вас... Вполне.

Мистер Полтид наклонился вперёд, улыбнулся, повернул руку ладонью вверх, посмотрел на неё и сказал мягко:

— Кажется, мы наконец уладили ваше дело, сэр.

— Что? — воскликнул Сомс.

— "Девятнадцать" совершенно неожиданно сообщила нечто, что мы, как мне кажется, вполне основательно можем назвать бесспорной уликой.

И мистер Полтид сделал паузу.

— Да? Так что же именно?

⁶⁴ Сюда, мсье? (фр.)

— Десятого сего месяца, после того как она днём была очевидицей свидания между 17 и неким лицом, 19 — она готова подтвердить это клятвенно — видела этого человека выходящим из спальни 17 около десяти часов вечера. При известном умении представить факты этого будет вполне достаточно, тем более что 17 покинула Париж несомненно с вышеупомянутым лицом. Они, в сущности, оба исчезли, и мы ещё не напали на их след, но мы их разыщем, разыщем. «Девятнадцать» очень усердно работала и при очень трудных обстоятельствах, и я рад, что она наконец добилась успеха.

Мистер Полтид вынул папиросу, постучал ею по столу, посмотрел на Сомса и положил её обратно. Выражение лица его клиента было далеко не ободряющее.

— Кто же это новое лицо? — спросил Сомс отрывисто.

— Этого мы не знаем. Она может клятвенно подтвердить самые факты, и она даёт точное описание его наружности.

Мистер Полтид достал письмо и начал читать:

— "Средних лет, среднего роста, днём в синем костюме, вечером во фраке, бледный, волосы тёмные", маленькие тёмные усики, впалые щеки, выдающийся подбородок, глаза серые, маленькие ноги, виноватый вид..."

Сомс встал и отошёл к окну. Он стоял, охваченный бешеной злобой. Идиот, форменный идиот, запутавшийся в собственной паутине! В течение семи месяцев платить по пятнадцати фунтов в неделю, чтобы быть выслеженным в качестве любовника собственной жены! Виноватый вил! Он распахнул окно.

— Жарко здесь! — сказал он и вернулся на своё место.

Закинув ногу на ногу, он смерил мистера Полтида спокойно-презрительным взглядом.

— Я сомневаюсь, чтобы этого было вполне достаточно, — сказал он, растягивая слова, — ни имени, ни адреса. Мне кажется, вы можете оставить эту леди в покое на время, а заняться нашим другом 47.

Узнал ли Полтид, что речь шла о нём самом. Сомс не мог сказать, но он вдруг представил его себе в кругу приятелей безудержно покатывающимся с хохоту. «Виноватый вид!» Проклятье!

Мистер Полтид убедительно, чуть не с пафосом сказал:

— Уверяю вас, сэр, нам удавалось устраивать дела с меньшими данными, чем эти. Ведь это же Париж, знаете, интересная женщина, живёт одна. Почему не рискнуть, сэр? Мы могли бы представить это так, что это не вызывало бы никаких сомнений.

Сомса вдруг осенило: у этого типа затронута профессиональная струнка. «Величайший триумф моей карьеры: устроил одному клиенту развод из-за посещения спальни его же собственной жены! Об этом долго будут вспоминать, когда я уйду со сцены!» И на одно неистовое мгновение у Сомса мелькнуло: «А почему нет? В конце концов есть тысячи людей среднего роста с маленькими ногами и виноватым видом!»

— Я не уполномочен рисковать, — сухо сказал он.

Мистер Полтид взглянул на него.

— Жаль, — сказал он, — очень жаль. То, первое дело может оказаться очень затяжным.

Сомс встал.

— Это не имеет значения. Следите, пожалуйста, за 47 и постарайтесь не попасть пальцем в небо.

При словах «пальцем в небо» глаза мистера Полтида сверкнули.

— Отлично. Мы будем держать вас в курсе дела.

И Сомс снова остался один. Грязное, смешное, паучье дело! Положив локти на стол, он лёг головой на руки. Так он просидел целых десять минут, пока старший клерк не вывел его из этого оцепенения, явившись к нему с проектом выпуска новых акций, подающим большие надежды. В этот день он рано ушёл из конторы и отправился в ресторан «Бретань». Он застал только мадам Ламот. Не выпьет ли мсье чашечку чаю?

Сомс поклонился.

Когда они уселись в маленькой комнатке, заняв позицию под прямым углом друг к

другу, он отрывисто сказал:

— Я хочу поговорить с вами, мадам.

Быстрый взгляд её ясных карих глаз сказал ему, что она уже давно ждала этой фразы.

— Прежде всего я хочу вас кое о чём спросить. Этот молодой доктор как его зовут? — есть ли что-нибудь между ним и Аннет?

Она вся вдруг сделалась похожей на стеклярус — скользкая, чёрная, твёрдая, блестящая.

— Аннет молода, — сказала она, — так же как и *monsieur le docteur*⁶⁵. Между молодыми людьми все совершается быстро; но Аннет хорошая дочь! Ах, что за редкостная натура!

Чуть заметная улыбка мелькнула на губах у Сомса.

— Так, значит, ничего определённого?

— Определённого? О нет! Молодой человек очень мил, но что вы хотите? Сейчас у него нет денег.

Она подняла свою чашку с синим китайским рисунком. Сомс сделал то же. Их глаза встретились.

— Я женатый человек, — сказал он, — и уже много лет живу врозь с женой. Я намерен развестись с ней.

Мадам Ламот опустила свою чашку. В самом деле! Какие трагедии бывают на свете! Полнейшее отсутствие в ней какого бы то ни было чувства вызвало в Сомсе что-то вроде презрения.

— Я богатый человек, — сказал он, чувствуя, что это замечание не очень хорошего тона. — В настоящий момент бесполезно говорить больше, но, я полагаю, вы понимаете.

Глаза мадам, раскрытые так широко, что, из-под век были видны белки, посмотрели на него в упор.

— Ah, ça! Mais nous avons le temps⁶⁶.

Это было все, что она сказала. Ещё чашечку? Сомс отказался и, простившись с ней, отправился в западную часть города.

На этот счёт можно быть теперь спокойным. Она не позволит Аннет скомпрометировать себя с этим весёлым молодым ослом, пока... Но какова вероятность того, что он когда-нибудь сможет сказать: «Я свободен»? Вероятность? Будущее потеряло всякое подобие реальности. Он чувствовал себя, как муха, запутавшаяся в волокнах паутины, жадно взирающая беспомощными глазами на желанную свободу.

Ему хотелось двигаться, и он прошёл до Кенсингтонского сада и оттуда по Куинс-Гейт в Челси. Может быть, она вернулась в свою квартиру. Это он, во всяком случае, может выяснить, ибо после её последнего, самого унижительного, отказа его уязвлённое самолюбие снова пыталось утешиться тем, что у неё, несомненно, есть любовник. Был обеденный час, когда Сомс подошёл к знакомому дому. Нет надобности справляться! В её окне какая-то седая дама поливала цветы в ящике. Очевидно, квартира сдана. И он медленно прошёл мимо дома и побрёл обратно вдоль реки, в сумерках такой чистой невозмутимой красоты, такой гармонии и покоя всюду, за исключением его собственного сердца.

III. РИЧМОНД-ПАРК

В день, когда Сомс отплывал во Францию, Джолиону пришла каблограмма в Робин-Хилл:

«Ваш сын заболел дизентерией непосредственной опасности нет будем

⁶⁵ Господин доктор (фр.)

⁶⁶ Ну что же, у нас ещё много времени (фр.)

телеграфировать». Это известие пришло в семью, уже сильно взволнованную предстоящим отъездом Джун, для которой была заказана каюта на пароходе, отходившем на следующий день. Джун как раз поручала заботам отца Эрика Коббли и его семейство, когда пришла эта каблограмма.

Решение стать сестрой милосердия, принятое под впечатлением поступка Джолли, было честно выполнено с тем раздражением и досадой, которые испытывают все Форсайты, когда что-нибудь ограничивает их личную свободу. Воодушевлённая сначала «необыкновенной» работой, Джун через месяц начала находить, что сама может научиться большему, чем её могут научить другие. И если бы Холли не настояла на том, чтобы последовать её примеру и тоже не начала учиться, она, несомненно, бросила бы это. Отъезд Джолли и Вэла с их полком в апреле снова укрепил, её ослабевшую было решимость. Но теперь, накануне отъезда, мысль о том, что она оставляет Эрика Коббли с женой и двумя детьми на произвол судьбы в холодных волнах равнодушного мира, так угнетала её, что она каждую минуту могла пойти, на попятный. Каблограмма с тревожным сообщением решила дело. Джун уже видела себя ухаживающей за Джолли — ведь позволят же ей, конечно, ухаживать за родным братом! Джолион, отличавшийся более широким взглядом на вещи и более скептическим, не надеялся на это. Бедная Джун! Мог ли кто-нибудь из Форсайтов её поколения представить себе, какая жестокая и грубая штука жизнь? С тех пор как Джолион узнал о прибытии Джолли в Капштадт, мысль о сыне преследовала его, словно постоянно возвращающаяся боль. Он не мог примириться с сознанием, что Джолли всё время подвергается опасности. Каблограмма, как ни печально было это известие, вызвала почти чувство облегчения. По крайней мере ему сейчас хоть не грозят пули. Но и дизентерия опасная штука! В «Таймсе» бесконечные сообщения о смертных случаях от этой болезни. Почему он не лежит там, в этом чужеземном лазарете, а мальчик его не дома, в безопасности? Эта нефорсайтская самоотверженность всех его троих детей прямо поражала Джолиона. Он с радостью поменялся бы местами с Джолли, потому что он любил своего мальчика; но они-то ведь руководствовались не такими личными мотивами. Ему не оставалось думать ничего другого, как то, что это свидетельствовало о вырождении форсайтского типа.

В этот день Холли после обеда пришла к нему под дуб. Она очень повзрослела за два месяца своего ученья на курсах сестёр. И сейчас, увидев её, Джолион подумал: «Она рассудительнее, чем Джун, а ведь она ещё ребёнок; у неё больше мудрости. Слава богу, что хоть она не уезжает». Она уселась на качели молчаливая и притихшая. «Она переживает все это не меньше, чем я», — подумал Джолион. И, встретив её взгляд, устремлённый на него, он сказал:

— Не принимай это так близко к сердцу, девочка. Если бы он не заболел, он, может быть, был бы в ещё большей опасности.

Холли встала с качелей.

— Я хочу тебе что-то сказать, папа. Это из-за меня Джолли записался и пошёл на войну.

— Как это так?

— Когда ты был в Париже, Вэл Дарти и я — мы полюбили друг друга. Мы с ним катались верхом в Ричмондпарке; потом мы обручились. Джолли об этом узнал и решил, что он должен помешать этому; и тогда он вызвал Вэла Дарти записаться добровольцем. И во всём этом виновата только я, папа, и я тоже хочу поехать туда. Потому что, если с кем-нибудь из них что-нибудь случится, мне будет ужасно. И ведь я совсем так же подготовлена, как Джун.

Джолион смотрел на неё ошеломлённый, но в то же время не мог не усмехнуться про себя. Так вот ответ на загадку, которую он сам себе выдумал, — итак, все трое его детей в конце концов истинные Форсайты. Разумеется, Холли могла бы рассказать ему все это раньше. Но он удержался от этого иронического замечания. Бережное отношение к юности было, пожалуй, одной из самых священных заповедей его веры. Он, несомненно, получил то,

что заслужил. Обручились! Так вот почему она стала какой-то чужой! И с Валом Дарти, племянником Сомса, из враждебного лагеря! Всё это было ужасно неприятно. Он сложил мольберт и прислонил свой этюд к дереву.

— Ты говорила с Джун?

— Да, она говорит, что может устроить меня в своей каюте. Это одноместная каюта, но одна из нас может спать на полу. Если ты согласишься, она сегодня же съездит в город и достанет разрешение.

«Согласишься? — подумал Джолион. — Немножко поздно спрашивать об этом!» Но он опять сдержался.

— Ты слишком молода, дорогая; тебе не дадут разрешения.

— У Джун есть знакомые, которым она помогла уехать в Капштадт. А если мне сразу не позволят ухаживать за ранеными, я могу продолжать там учиться. Пусти меня, папа.

Джолион улыбнулся, потому что готов был заплакать.

— Я никогда никому ничего не запрещаю, — сказал он.

Холли обвила руками его шею.

— Ах, папочка, ты лучше всех на свете!

«Это значит хуже всех», — подумал Джолион. Если он когда-нибудь раскаивался в своей терпимости, так это сейчас.

— Я не поддерживаю никаких отношений с семьёй Вэла, — сказал он. Вэла я не знаю, но Джолион его недолюбливал.

Холли посмотрела куда-то в пространство и сказала:

— Я люблю его.

— Этим, по-видимому, все сказано, — сухо произнёс Джолион, но, увидев выражение её лица, поцеловал её. «Есть ли в мире что-нибудь более трогательное, чем юношеская вера?»

Так как он, в сущности, не запрещал ей ехать, то само собой выходило, что он должен был постараться устроить все как можно лучше, поэтому он отправился в город вместе с Джун. Благодаря ли её настойчивости или тому, что чиновник, к которому они обратились, оказался школьным товарищем Джолиона, они получили разрешение для Холли разделить каюту Джун. На следующий день вечером Джолион проводил их на Сэрбитонский вокзал, и затем они уехали от него, снабжённые деньгами, консервами и аккредитивами, без которых не путешествует ни один Форсайт.

Он возвращался в Робин-Хилл; над ним было небо, усеянное звёздами. Когда он приехал, ему с особенным усердием, стараясь выразить своё сочувствие, подали поздний обед, который он с преувеличенной добросовестностью съел, чтобы показать, что ценит это сочувствие. Но он только тогда вздохнул свободно, когда вышел с сигарой на террасу, выложенную каменными плитами, искусно подобранными Босини по цвету и по форме, и ночь обступила его со всех сторон — такая прекрасная ночь, чуть шепчущая в листве деревьев и благоухающая так сладко, что у него защемило сердце. Трава была пропитана росой; он зашагал по каменным плитам взад и вперёд, пока ему не начало казаться, что он не один, а их трое и что, дойдя до конца террасы, они каждый раз поворачивают так, что отец всегда остаётся ближе к дому, а сын ближе к краю террасы. И оба они с обеих сторон тихонько держат его под руки; он не смел поднять руку из страха потревожить их, и сигара дымилась, осыпая его пеплом, пока наконец не упала из его губ, которым уже стало горячо держать её. И тут они покинули его и рукам сразу стало холодно. Вот здесь они ходили, три Джолиона в одном!

Он стоял, не двигаясь, прислушиваясь к звукам: экипаж проехал по шоссе, поезд где-то далеко, собака лает на ферме Гейджа, шепчут деревья, конюх играет на своей дудочке. Какое множество звёзд наверху — яркие, спокойные и такие далёкие! А месяца ещё нет! Света как раз столько, что можно различить тёмные каменные плиты и лезвия ирисов вдоль террасы любимые его цветы, у которых на изогнутых и съёжившихся лепестках краски самой ночи. Он повернул к дому. Громадный, неосвещённый, и ни души, кроме него, во всём этом крыле!

Полное одиночество! Он больше не может так жить здесь, совсем один. Но почему же, если существует красота, почему человек чувствует себя одиноким? Ответ — как на какую-нибудь идиотскую загадку: потому что чувствует. Чем больше красота, тем больше одиночество, потому что красота зиждется на гармонии, а гармония на единении. Красота не может утешать, если из неё вынули Душу. Эта ночь, мучительно прекрасная, с зацветающими деревьями, в звёздном свете, с запахом трав и мёда, — он не может наслаждаться ею, пока между ним и той, которая для него сама красота, её воплощение, её сущность, возвышается стена — он чувствовал это, — глухая стена ненарушимых законов благопристойности...

Он долго не мог уснуть в мучительных попытках принудить себя к тому безропотному смирению, которое туго даётся Форсайтам, ибо они привыкли следовать во всём собственным желанием, пользуясь независимостью, щедро предоставленной им их предками. Но на рассвете он задремал, и ему приснился необыкновенный сон.

Он был на сцене с неимоверно высоким пышным занавесом, уходившим ввысь до самых звёзд и образывавшим полукруг вдоль рампы. Сам он был очень маленьким — крошечная беспокойная чёрная фигурка, снующая взад и вперёд, — но самое странное было то, что он был не совсем он, а также и Сомс, и он не только переживал, но и наблюдал. Фигурка — он и Сомс старалась найти выход в занавесе, но занавес, тяжёлый и тёмный, не пускал их. Несколько раз он прошёл вдоль него в ту и в другую сторону, пока вдруг с чувством восторга не увидел узкую щель: глубокий просвет неизъяснимой красоты, цвета ирисов, словно видение рая, непостижимое, несказанное. Быстро шагнув, чтобы пройти туда, он увидел, что занавес снова сомкнулся. С горьким разочарованием он — или это был Сомс — отступил, и в раздвинувшемся занавесе снова появился просвет, но опять он сомкнулся слишком рано. Так повторялось без конца, пока он не проснулся с именем Ирэн на губах. Этот сон очень расстроил его, особенно это отождествление себя с Сомсом.

Утром, убедившись, что из работы ничего не выйдет, Джолион несколько часов ездил верхом на лошади Джолли, стремясь как можно больше устать. А на второй день он решил отправиться в Лондон и попытаться достать разрешение последовать за своими дочерьми в Южную Африку. Он только начал укладываться, как ему принесли письмо:

*"Отель "Зелёный коттедж".
Ричмонд, 13 июня.*

*Мой дорогой Джолион,
Вы будете удивлены, узнав, что я так близко от Вас.
В Париже стало невыносимо, и я приехала сюда, чтобы быть поближе к
Вашиим советам. Я буду так рада снова увидеться с Вами. С тех пор как Вы
уехали из Парижа, у меня, кажется, ни разу не было случая по-настоящему
поговорить с кем-нибудь. Все ли у вас благополучно и как Ваш мальчик? Сейчас,
кажется, ни одна душа не знает, что я здесь.*

Всегда Ваш друг Ирэн".

Ирэн в трех милях от него! И опять спасается бегством! Он стоял, и губы у него расплывались в какую-то очень загадочную улыбку. Это больше того, на что он смел надеяться!

Около полудня он вышел и пошёл пешком через Ричмонд-парк и дорогой думал: «Ричмонд-парк! Честное слово, он так подходит нам, Форсайтам!» Не то чтобы, Форсайты здесь жили — здесь никто не жил, кроме членов королевской фамилии, лесничих и ланей, — но в Ричмонд-парке природе разрешено проявляться до известных пределов, не далее, и она изо всех сил старается быть естественной и словно говорит: «Полнуйся на мои инстинкты, это почти страсти — того и гляди вырвутся наружу, но, разумеется, не совсем! Истинная ценность обладания — это владеть собой». Да, Ричмонд-парк, несомненно, владел собой даже в этот сияющий июньский день со звонкими голосами кукушек, внезапно

раздававшимися то там, то тут среди листвы, и лесных голубей, возвещавших разгар лета.

Отель «Зелёный коттедж», куда Джолион пришёл к часу дня, стоял почти напротив знаменитой гостиницы «Корона и скипетр»; он был скромен, в высшей степени респектабелен; здесь всегда можно было найти холодный ростбиф, пироги с крыжовником и двух-трех титулованных вдов, так что у подъезда редко когда не стояла коляска, запряжённая парой.

В комнате, обитой ситцевыми обоями, столь расплывчатыми, что, казалось, самый вид их не допускал никаких переживаний, на табурете, покрытом ручной вышивкой, сидела Ирэн и играла по ветхим нотам «Гензель и Гретель»⁶⁷. Над ней на стене висела гравюра, изображавшая королеву на маленькой лошадке, среди охотничьих собак, охотников в шотландских шапочках и убитых оленей; около неё на подоконнике красовалась в горшке розовобелая фуксия. Весь этот викторианский дух комнаты был так красноречив, что Ирэн в плотно облегающем её платье показалась Джолиону Венерой, выступающей из раковины прошлого столетия.

— Если бы у хозяина были глаза, он вас выставил бы отсюда, — сказал он, — вы точно брешь пробили в этих его декорациях.

Так, шуткой, он разрядил напряжённость этого волнующего момента. Поев холодного ростбифа с маринованными орехами и пирога с крыжовником и выпив имбирного пива из глиняного графинчика, они пошли в парк. И тут шуточный разговор сменился молчанием, которого так боялся Джолион.

— Вы мне ничего не рассказали о Париже, — сказал он наконец.

— Да. За мной долгое время следили; к этому, знаете, привыкаешь. Но потом приехал Сомс, и около маленькой Ниобеи повторилась та же история: не вернусь ли я к нему?

— Невероятно!

Она говорила, не поднимая глаз, но теперь посмотрела на него. Эти тёмные глаза, льнущие к его глазам, говорили, как не могли бы сказать никакие слова: «Я дошла до конца; если ты хочешь меня, бери».

Была ли у него за всю его жизнь — а ведь он уже почти старик — минута, подобная этой по силе переживания?

Слова: «Ирэн, я обожаю вас», — едва не вырвались у него. И вдруг с отчётливостью, которую он счёл бы недоступной воображению, он увидел Джолли, который лежал, повернувшись белым как мел лицом к белой стене.

— Мой мальчик очень болен, — спокойно произнёс он.

Ирэн взяла его под руку.

— Идёмте дальше; я понимаю.

Не пускаться ни в какие жалкие объяснения! Она поняла! И они пошли дальше меж папоротников, кроличьих норок, старых дубов, разговаривая о Джолли. Он простился с нею через два часа у ворот Ричмонд-парка и отправился домой.

«Она знает о моём чувстве к ней, — думал он. — Ну конечно! Разве можно скрыть это от такой женщины?»

IV. ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

Джолли до смерти замучили сны. Сейчас они оставили его; он слишком обессилел для снов, они оставили его, и он лежал в оцепенении и смутно вспоминал что-то очень далёкое; у него хватало сил только на то, чтобы повернуть глаза и смотреть в окно рядом с койкой, на медленное течение реки, струившейся среди песков, на раскинувшуюся за ней сухую равнину Кару, поросшую чахлым кустарником. Теперь он знал, что такое Кару, даже если он и не видел буров, улепётывающих, как кролики, и не слышал свиста летящих пуль. Болезнь

⁶⁷ «Гензель и Гретель» (1893) — детская опера немецкого композитора Гумпердинка.

свалила его прежде, чем он успел понюхать пороху. Знойный день, напился сырой воды или заразился через фрукты — кто знает? Не он, у которого не было даже сил огорчаться тем, что болезнь одержала победу, — их едва хватало на то, чтобы сознавать, что здесь рядом с ним лежат другие, что его замучил лихорадочный бред, да на то, чтобы смотреть на медленное течение реки и смутно вспоминать что-то очень далёкое...

Солнце уже почти зашло. Скоро станет прохладнее. Ему приятно было бы знать, который час, потрогать свои старые часики, такие гладкие, послушать, как бьёт репетир. Это было бы так уютно, как дома. У него не было даже сил вспомнить, что старые часы были заведены в последний раз в тот день, как его положили сюда. Мозг его пульсировал так слабо, что лица приходивших и уходивших сестёр, докторов, санитаров не отличались для него одно от другого — просто какое-то лицо; и слова, произносившиеся над ним, все значили одно и то же, то есть почти ничего. Вот то, что он когда-то делал раньше, как это ни далеко и смутно, гораздо отчётливее а Хэрроу, мимо старой лестницы, что ведёт в бильярдную, — сюда, сюда, сэр! — заворачивает ботинки в «Вестминстерскую газету», бумага зеленоватая, блестящие ботинки — дедушка откуда-то из темноты — запах земли парник с шампиньонами! Робин-Хилл! Беднягу Балтазара засыпали листьями! Папа! Дом...

Сознание снова вернулось: он заметил, что в реке нет воды, и ещё кто-то заговорил около него. «Вы, может, хотите чего-нибудь?» Чего можно хотеть? Слишком слаб, чтобы хотеть, — разве только услышать, как бьют те часы...

Холли! Она не сумеет подать. Ах, поддавай, поддавай! Не вези битой... Давай назад, второй, и ты, первый! Эта он, второй!..

Сознание ещё раз вернулось: он увидел лиловый сумрак за окном и поднимающийся на небе кроваво-красный серп луны. Глаза его приковались к нему, замороженные; в эти долгие-долгие минуты абсолютной пустоты в сознании серп подымался выше, выше...

«Кончается, доктор!» Уж больше не заворачивать ботинки? Никогда?.. Подтянись, второй! Не плачьте! Спокойно иди на ту сторону реки — спать. Темно? Если б кто-нибудь... пустил... бой... его... часы!..

V. СОМС ДЕЙСТВУЕТ

Конверт с сургучной печатью, надписанный почерком мистера Полтида, оставался невскрытым в кармане у Сомса в течение двух часов, пока его внимание было целиком поглощено делами «Новой угольной компании», компании, которая с момента ухода старого Джолиона с поста председателя постепенно шла к упадку, а за последнее время пришла в такое состояние, что не оставалось ничего Другого, как её ликвидировать. Он взял письмо с собой, когда отправился завтракать в свой клуб в Сити, который был дорог для него тем, что он бывал там ещё с отцом в начале семидесятых годов, и Джемсу тогда было приятно, что сын его приглядывается к жизни, в которую ему предстоит вступить.

Сидя в глубине в углу, перед тарелкой жареной баранины с картофельным пюре, он прочёл:

"Дорогой сэр,

Согласно Вашему предложению, мы подошли к делу с другого конца и достигли желанных результатов. Наблюдение за 47 позволило нам установить местопребывание 17: Ричмонд, отель «Зелёный коттедж». Мы проследили, что в течение последней недели они встречаются ежедневно в Ричмонд-парке. Ничего, так сказать, решительного до сих пор не было замечено. Но, учитывая данные из Парижа, относящиеся к началу этого года, я полагаю, мы теперь можем удовлетворить требования суда. Мы, разумеется, будем продолжать наши наблюдения впредь до получения от Вас новых распоряжений.

С совершенным почтением Клод Полтид".

Сомс прочёл это письмо два раза, затем подозвал лакея:

- Возьмите жаркое, оно остыло.
- Прикажете подать другое, сэр?
- Нет. Дайте мне кофе в другую комнату.

И, уплатив за жаркое, к которому он не притронулся, он вышел из комнаты, пройдя мимо двух знакомых и сделав вид, что не узнает их.

«Удовлетворить требования суда!» — думал он, сидя у круглого мраморного столика, на котором стоял кофейный прибор. Этот Джолион! Он налил себе кофе, положил сахару, выпил. Он его опозорит в глазах собственных детей! И, поднявшись с этим решением, которое жгло его, Сомс впервые понял, как неудобно быть своим собственным поверенным. Не может же он вести это скандальное дело в своей конторе! Он должен доверить свою честь, свою интимную жизнь какому-нибудь незнакомому человеку, профессионалу, специалисту по делам семейного бесчестья! К кому же обратиться? Может быть, к «Линкмену и Лейверу» на Бэдж-Роу — контора солидная, не очень известная, и у него с ними только шапочное знакомство. Но прежде чем обращаться к ним, нужно ещё раз повидать Полтида. И при этой мысли Сомс почувствовал настоящее малодушие. Открыть свою тайну! Да разве у него повернётся язык сказать это? Выставить себя на глумление, чувствовать смешки у себя за спиной! Впрочем, этот мальй, наверно, уже знает — ну конечно знает! И, чувствуя, что с этим надо покончить теперь же, Сомс взял кэб и отправился в Вест-Энд.

В этот жаркий день окно в кабинете мистера Полтида было совершенно явно открыто, и единственной мерой предосторожности была проволочная сетка, преграждавшая доступ мухам. Две-три пытались пробраться сквозь неё, застряли, и казалось, что они липнут к этой сетке в надежде на то, что их тут же немедленно съедят. Мистер Полтид, проследив направление взгляда своего клиента, встал и, извинившись, закрыл окно.

«Позёр, осел!» — подумал Сомс. Как все, кто незыблемо верит в себя, он в решительный момент сразу обретал привычную твёрдость и теперь с обычной своей кривой усмешкой сказал:

— Я получил ваше письмо. Я намерен действовать. Я полагаю, вы знаете, кто та дама, за которой вам поручено было следить.

Выражение лица мистера Полтида в эту минуту было поистине великолепно. Оно так ясно говорило: «Ну, а как вы думаете? Но это чисто профессиональная осведомлённость, уверяю вас, простите, пожалуйста». Он сделал какой-то неопределённый жест и помахал рукой, как бы говоря: «С кем из нас, с кем из нас этого не случилось!»

— Отлично, — сказал Сомс, проводя языком по губам, — в таком случае говорить больше нечего. Я поручу вести дело «Линкмену и Лейверу» с Бэдж-Роу. Мне ваши сведения не нужны, но я попрошу вас представить ваш отчёт им, в пять часов, и по-прежнему держать все это в величайшем секрете.

Мистер Полтид полузакрыв глаза, словно соглашаясь со всем.

— Дорогой сэр... — сказал он.

— Вы убеждены, что этих улик достаточно? — с внезапной настойчивостью спросил Сомс.

Плечи мистера Полтида чуть заметно приподнялись и опустились.

— Можете смело рискнуть, — сказал он. — С тем, что у нас имеется, и принимая во внимание человеческую природу, можете смело рискнуть.

Сомс встал.

— Вы спросите мистера Линкмена. Благодарю вас, не беспокойтесь.

Он не желал, чтобы мистер Полтид, по обыкновению, очутился между ним и дверью. Выйдя на солнце на Пикадилли, он отёр лоб. Самое тяжёлое позади — с чужими будет легче. И он вернулся в Сити, чтобы сделать то, что ему ещё предстояло.

В этот вечер на Парк-Лейн, глядя за обедом на отца, он почувствовал, как его снова охватывает прежнее неутолённое желание иметь сына — сына, который будет смотреть, как он ест, когда он состарится, сына, которого он будет сажать к себе на колени, как когда-то

его сажал Джемс; сына, который родится от него, который будет понимать его, потому что он будет его собственной плотью и кровью, будет понимать и утешать его и будет богаче и образованнее его, потому что он начнёт с большего. Состариться — вот как эта седая, исхудавшая, беспомощная фигура, и остаться в совершенном одиночестве со всеми своими капиталами, которые будут все расти; не интересоваться ничем, потому что впереди нет ничего, и все его богатство должно перейти в руки и рты тех, кто ему совершенно безразличен! Нет! Он теперь добьётся своего, он будет свободен и женится, и у него будет сын, которого он вырастит, прежде чем станет таким старым, как его отец, который сейчас смотрит одинаково задумчивым взглядом и на сына и на тарелку с печёнкой.

В этом настроении Сомс отправился спать. Но, лёжа в тепле между тонкими полотняными простынями из комода Эмили, он снова почувствовал себя во власти мучительнейших воспоминаний. Воспоминание об Ирэн, почти живое ощущение её тела, преследовало его. Как он был глуп, что позволил себе увидеть её затем только, чтобы все это снова нахлынуло на него, и теперь — это такая пытка — думать, что она с этим субъектом, с этим вором, который отнял её у него!

VI. ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Мысль о сыне почти не покидала Джолиона со времени его первой прогулки с Ирэн в Ричмонд-парке. Он не имел о нём никаких известий; справки в военном министерстве ни к чему не приводили; а от Холли и Джун он не надеялся получить что-нибудь раньше, чем через три недели. В эти дни он почувствовал, как неполны его воспоминания о Джолли и каким он, в сущности, был дилетантомотцом. Не было ни единого воспоминания о том, как ктонибудь из них рассердился, ни одного примирения, потому что не было никаких ссор; ни одного душевного разговора, даже когда умерла мать Джолли. Ничего, кроме полуиронической привязанности. Он слишком боялся связать себя чем-нибудь, лишиться своей свободы или помешать свободе своего мальчика.

Только в присутствии Ирэн он испытывал чувство облегчения, но и к этому чувству примешивалось все усиливающееся ощущение того, как он раздваивается между нею и сыном. С Джолли связывались чувство непрерывности бытия и те общественные устремления, которые так глубоко волновали Джолиона в юности и позже, когда мальчик его учился в школе, а затем поступил в университет, — это чувство обязательства перед ним, которое требовало, чтобы отец и сын взаимно оправдали то, чего они ждут друг от друга. С Ирэн было связано все его преклонение перед Красотой и Природой. И он, казалось, все больше и больше переставал понимать, что говорит в нём сильнее. От этого оцепенения чувств его однажды грубо пробудил некий молодой человек со странно знакомым лицом, который, ведя рядом с собой велосипед и улыбаясь, подошёл к нему на дороге, когда он как раз собирался в Ричмонд.

— Мистер Джолион Форсайт? Благодарю вас.

Сунув в руку Джолиона конверт, он вскочил на велосипед и уехал. Джолион, удивлённый, распечатал письмо.

«Отдел завещаний и разводов. Форсайт против Форсайт и Форсайта». За чувством отвращения и стыда мгновенно последовала реакция: «Как, ведь это как раз то, чего ты жаждешь, и ты недоволен! Она, вероятно, тоже получила такое извещение, и нужно поскорее увидеть её». Дорогой он пытался обдумать все это. Забавное все же дело! Ибо, что бы там ни говорилось про сердце в священном писании, всё-таки, чтобы удовлетворить закон, требуется нечто большее, чем простое вожделение. Они могут отлично защищаться в этом процессе или по крайней мере с полным правом попробовать сделать это. Но мысль об этом была противна Джолиону. Если он фактически не был её любовником, мысленно он был им, и он знал, что она готова принадлежать ему. Это говорило ему её лицо. Не то чтобы он преувеличивал её отношение к себе. Она уже пережила свою большую любовь, и он в его возрасте не мог надеяться внушить ей такое чувство. Но она ему доверяет, она привязалась к

нему и чувствует, что он будет ей опорой в жизни. И, конечно, она не заставит его защищаться в этом процессе, зная, что он обожает её! Нет, слава богу, у неё нет этой невыносимой британской щепетильности, которая отказывается от счастья ради удовольствия отказаться! Она будет рада возможности почувствовать себя свободной после семнадцати лет умирания заживо. Что же касается огласки, этого уж не избежать! И, если они будут защищаться, это их не спасёт от позора. Джолион чувствовал то, что должен чувствовать настоящий Форсайт, когда его частной жизни угрожает опасность: если по закону его полагается повесить, пусть это по крайней мере будет за дело! А давать показания под присягой, что ни единого жеста, ни даже слова любви никогда не было между ними, казалось ему более унижительным, чем молча признать себя виновным в адюльтере, гораздо более унижительным, принимая во внимание его чувство, и не менее мучительным и тягостным для его детей. Мысль о том, что он должен будет отчитываться перед судьёй и двенадцатью английскими обывателями в своих встречах с нею в Париже и в прогулках в Ричмонд-парке, внушала ему отвращение. Лицемерие и жестокость всей этой церемонии; вероятность того, что им не поверят, и одна только мысль о том, что она, которая для него была самым воплощением Красоты и Природы, будет стоять там под всеми этими подозрительными, жадными взглядами, — все это казалось совершенно нестерпимым. Нет, нет! Защищаться — это только доставить удовольствие Лондону и повисить тираж газет! В тысячу раз лучше принять то, что посылает Сомс и боги!

«Кроме того, — думал Джолион, стараясь быть честным с самим собой, кто знает, долго ли я мог бы выдержать это положение вещей даже ради моего мальчика? Во всяком случае, она-то хоть наконец высвободит шею из петли!» Поглощённый всеми этими размышлениями, он почти не замечал удушливого зноя. Небо нависло низко, багровое, с резкими белыми просветами. Тяжёлая дождевая капля шлёпнулась и оставила маленький звездообразный след в пыли на дороге, когда он входил в парк. «Фью, — протянул Джолион, — и гром! Я надеюсь, что она не вышла мне навстречу; сейчас польёт как из ведра!» Но в ту же минуту он увидел Ирэн, подходившую к воротам парка. «Нам нужно бегом спасаться в Робин-Хилл», — подумал он.

Гроза пронеслась над Полбри в четыре часа дня, доставив приятное развлечение клеркам во всех конторах. Сомс пил чай, когда ему принесли письмо:

*"Дорогой сэр!
Форсайт против Форсайт и Форсайта.
Согласно Вашим указаниям, имеем честь сообщить Вам, что мы сегодня
лично уведомили в Ричмонде и в Робин-Хилле ответчицу и соответчика по сему
делу.*

С совершенным почтением Линкмен и Денвер".

Сомс несколько минут тупо смотрел на письмо. С той самой минуты, как он отдал эти указания, он всё время порывался отменить их. Такая скандальная история, такой позор! И улики — то, что он слышал от Полтида, казались ему вовсе не убедительными; он, во всяком случае, все меньше и меньше верил в то, что эти двое переступили известный предел. Но вручение повестки безусловно послужит для них толчком; и эта мысль не давала ему покоя. Этому типу достанется любовь Ирэн, тогда как он потерпел полное поражение! Неужели уже слишком поздно? Теперь, когда он так серьёзно предостерёг их, не может ли он воспользоваться своей угрозой для того, чтобы их разъединить? «Но если я Не сделаю этого сейчас же, — подумал он, — потом уже будет поздно, раз они получили извещение. Я сейчас поеду к нему и повидаюсь с ним; сейчас же поеду к нему».

И в горячке нервного нетерпения он послал за «новомодным» таксомотором. Понадобится, может быть, немало времени, чтобы сейчас разыскать этого типа, и бог знает к какому они решению пришли после такого удара. «Если бы я был какой-нибудь театральный осел, — подумал он, — мне бы нужно было, я полагаю, взять с собой хлыст, или пистолет, или что-нибудь в этом роде!» Вместо этого он взял с собой связку бумаг по делу Медженти

против Уэйка, намереваясь посмотреть их дорогой. Он даже не развернул их и сидел не двигаясь, только подпрыгивая и сотрясаясь от толчков, не замечая ни того, что ему дует в затылок, ни запаха бензина. Он будет держать себя в зависимости от поведения того; самое главное — сохранять спокойствие!

Лондон уже начал изрыгать рабочих из своих недр, когда Сомс подъехал к Пэтнейскому мосту. Муравейник растекался по улицам. Какое множество муравьёв, и все борются за существование, и каждый старается уцелеть в этой великой толчее! Должно быть, в первый раз в своей жизни Сомс подумал: «Я-то мог бы плюнуть на все, если бы захотел! Ничто бы меня не касалось. Послал бы все к чёрту, жил бы, как хотел, наслаждался бы жизнью!» Нет! Нельзя, человек не может жить так, как жил он, и вдруг все бросить, поселиться где-нибудь в Италии, сорить деньгами, потерять репутацию, которую себе создал. Человеческая жизнь — это то, что человек приобрёл и что он стремится приобрести. Только дураки думают иначе, дураки и ещё социалисты... да распутники!

Машина, прибавляя ходу, неслась мимо загородных вилл. «Мы делаем миль пятнадцать в час! — подумал Сомс. — Теперь с этими машинами люди будут селиться за городом». И он задумался над тем, как это отзовется на участках Лондона, которыми владел его отец; сам он никогда не интересовался этим способом помещения денег, — скрытый в нём азарт игрока находил выход в коллекционировании картин. А автомобиль мчался, спускаясь с горы, пронёсся мимо Уимблдонского луга. Ах, это свидание!

Конечно, человек в пятьдесят два года со взрослыми детьми и пользующийся некоторой известностью не станет действовать опрометчиво. «Не захочет же он позорить свою семью, — думал Сомс, — он ведь любил своего отца так же, как я люблю своего, а они были братья. Эта женщина всюду несёт с собой разрушение. Что в ней такое? Никогда не мог понять». Автомобиль свернул в сторону и поехал вдоль леса, и Сомс услышал позднюю кукушку, чуть ли не в первый раз за это лето. Они сейчас ехали как раз мимо того участка, который Сомс сначала было выбрал для своего дома, но который Босини так бесцеремонно отверг, остановив свой выбор на другом. Сомс несколько раз вытер платком лицо и руки и несколько раз глубоко перевёл дыхание, словно запасаясь решимостью. «Не выходить из себя, — думал он, — сохранять спокойствие!»

Машина свернула на въездную аллею, которая могла бы принадлежать ему, и до него донеслись звуки музыки. Он и забыл про его дочерей.

— Возможно, я сейчас же вернусь, — сказал он шофёру, — но, может быть, задержусь некоторое время.

И он позвонил.

Проходя вслед за горничной в гостиную за портьеры, он утешался мыслью, что тягость этой встречи в первую минуту будет смягчена присутствием Холли или Джун, словом, кого-то из них, кто там играет на рояле. И он был совершенно ошеломлён, увидев за роялем Ирэн, и Джолиона в кресле, слушающего музыку. Они оба встали. Кровь бросилась Сомсу в голову, и все его твёрдые намерения сот образоваться с тем-то или с тем-то разлетелись в прах. Угрюмые черты его предков, фермеров Форсайтов, живших у моря, предшественников «Гордого Доссета», обнажились в его лице:

— Очень мило! — сказал он.

Он услышал, как тот пробормотал:

— Здесь не место, пройдёмте в кабинет, если вы не возражаете.

И они оба прошли мимо него за портьеру.

В маленькой комнатке, куда он вошёл вслед за ними, Ирэн стала у открытого окна, а «этот тип» рядом с ней у большого кресла. Сомс с треском захлопнул за собой дверь, и этот звук воскресил перед ним через столько лет тот день, когда он хлопнул дверью перед Джолионом — хлопнул дверью ему в лицо, запретив ему мешаться в их дела.

— И так, — сказал он, — что вы можете сказать в своё оправдание?

У «этого типа» хватило наглости улыбнуться.

— То, что мы получили сегодня, лишает вас права задавать нам вопросы. Я полагаю,

что вы должны быть рады высвободить шею из петли.

— О! — сказал Сомс. — Вы так полагаете? Я пришёл сказать вам, что я разведусь с ней и не постою ни перед чем, чтобы предать позору вас обоих, если вы не поклянетесь мне прекратить с этого дня всякие отношения.

Он удивлялся тому, что так связно говорит, потому что мысли у него путались и руки дрожали. Никто из них не ответил ни слова, но ему показалось, что на их лицах изобразилось что-то вроде презрения.

— Так вот, — сказал он, — Ирэн, вы?..

Губы её шевельнулись, но Джолион положил руку ей на плечо.

— Оставьте её! — в бешенстве крикнул Сомс. — Ирэн, вы поклянетесь в этом?

— Нет.

— Ах, вот как, а вы?

— Ещё менее.

— Так, значит, вы виновны?

— Да, виновны.

Это сказала Ирэн своим ясным голосом и с тем неприступным видом, который так часто доводил его до бешенства. И, потеряв всякое самообладание, не помня себя Сомс крикнул:

— Вы — дьявол!

— Вон! Уходите из этого дома, или я должен буду; прибегнуть к насилию!

И он говорит о насилии! Да знает ли этот тип, что он мог бы сейчас схватить его за горло и задушить?

— Попечитель, — сказал Сомс, — присваивающий то, что ему доверено! Вор, не останавливающийся перед тем, чтобы украсть жену у своего двоюродного брата!

— Называйте меня, как хотите. Вы избрали свою долю, мы — свою. Уходите отсюда!

Если бы у Сомса было при себе оружие, он в эту минуту пустил бы его в ход.

— Вы мне за это заплатите! — сказал он.

— С величайшим удовольствием.

Это убийственное извращение смысла его слов сыном того, кто прозвал его «собственником», заставило Сомса остолбенеть от ярости. Это бессмысленно!

Так они стояли, сдерживаемые какой-то тайной силой. Они не могли ударить друг друга и не находили слов, чтобы выразить то, что они сейчас переживали. Но Сомс не мог и не знал, как он сможет повернуться и уйти. Глаза его были прикованы к лицу Ирэн: в последний раз видит он это роковое лицо, можно не сомневаться, в последний раз!

— Вы... — вдруг сказал он. — Я надеюсь что вы поступите с ним так же, как поступили со мной, — вот и все.

Он увидел, как она передёрнулась, и со смутным чувством не то торжества, не то облегчения толкнул дверь, прошёл через гостиную, вышел и сел в машину. Он откинулся на подушки, закрыв глаза. Никогда в жизни он не был так близок к убийству, никогда до такой степени не терял самообладания, которое было его второй натурой. У него было какое-то обнажённое, ничем не защищённое чувство, словно все его душевные силы, вся сущность улетучились из него: жизнь утратила всякий смысл, мозг перестал работать. Солнечные лучи падали прямо на него, но ему было холодно. Сцена, которую он только что пережил, уже отошла куда-то, то, что ждало впереди, не имело очертаний, не материализовалось; он ни за что не мог ухватиться, и он испытывал чувство страха, словно висел на краю пропасти, словно ещё один маленький толчок — и рассудок изменит ему. «Я не гожусь для таких вещей, — думал он. — Нельзя мне, я для этого не гожусь». Автомобиль быстро мчался по шоссе, и мимо, в механическом мелькании, проносились дома, деревья, люди, но всё это было лишено всякого значения. «Как-то странно я себя чувствую, — подумал он, — не поехать ли мне в турецкую баню? Я... я был очень близок к чему-то страшному. Так нельзя». Автомобиль с грохотом пронёсся по мосту, поднялся по Фулхем-Род и поехал вдоль Хайд-парка.

— В Хаммам⁶⁸, — сказал Сомс.

Чудно, что в такой жаркий летний день тепло может успокоить! Входя в парильню, он встретил выходявшего оттуда Джорджа Форсайта, красного, лоснящегося.

— Алло, — сказал Джордж. — А ты зачем тренируешься? Ты, кажется, не страдаешь от излишков.

Шут! Сомс прошёл мимо со своей кривой усмешкой. Лёжа на спине и растираясь, чтобы вызвать испарину, он думал: «Пусть себе смеются. Я не хочу ничего чувствовать. Мне нельзя так волноваться. Мне это очень вредно!»

VII. ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

После ухода Сомса в кабинете наступило мёртвое молчание.

— Благодарю вас за вашу прекрасную ложь, — внезапно сказал Джолион. Идёмте отсюда, здесь уже воздух не тот.

Вдоль высокой, длинной, выходявшей на юг стены, у которой шпалерами росли персики, они молча прогуливались взад и вперёд. Старый Джолион посадил здесь несколько кипарисов, между этой покрытой дёрном насыпью и отлогой лужайкой, поросшей лютиками и желтоглазыми ромашками; двенадцать лет росли они, пока их тёмные веретенообразные контуры не стали такими же, как у их итальянских собратьев. Птицы возились и порхали в мокрых от дождя кустах; ласточки чертили круги — быстрые маленькие тельца, отливающие стальной синевой; трава под ногами скрипела упруго, красуясь освежённой зеленью; бабочки гонялись друг за дружкой. После этой мучительной сцены мирная тишина природы казалась сладостной до остроты. Под нагретой солнцем стеной тянулась узкая грядка с резедой и анютиными глазками, а над нею гудели пчелы, и в этом глухом гуле тонули все другие звуки — мычанье коровы, у которой отняли телёнка, голос кукушки с вяза по ту сторону лужайки. Кто бы мог подумать, что в каких-нибудь десяти милях отсюда начинается Лондон — Лондон Форсайтов с его богатством и нищетой, грязью и шумом, с редкими островками каменного великолепия среди серого океана отвратительного кирпича и штукатурки! Этот Лондон, который видел трагедию Ирэн и тяжёлую жизнь молодого Джолиона; эта паутина, этот роскошный дом призрения, опекаемый инстинктом собственности!

И в то время как они прогуливались здесь, Джолион думал об этих словах: «Я надеюсь, что вы поступите с ним так же, как поступили со мной». Это будет зависеть от него. Может ли он поручиться за себя? Способен ли Форсайт по своей натуре не сделать рабой ту, что внушает ему обожание? Может ли Красота довериться ему? И не лучше ли ей быть только гостьей, что приходит, когда ей вздумается, позволяя обладать собой лишь недолгое мгновение, к уходит и возвращается, когда захочет? «Мы из поводы захватчиков, — думал Джолион; — грубых и алчных, цветок жизни не может быть в безопасности в наших руках. Пусть она придёт ко мне, когда захочет, как захочет, или, если не захочет, не придёт совсем. Пусть я буду ей опорой, насестом, но никогда, никогда не буду клеткой!»

Она была тем просветом Красоты, который он видел во сне. Пройдёт ли он теперь сквозь занавес и обретёт ли её? Этот пышный покров врождённой привычки владеть, тесная смыкающаяся завеса инстинкта собственности преградит ли она путь этой маленькой чёрной фигурке — ему и Сомсу — или занавес раздвинется и он сможет проникнуть в своё видение и найти в нём не только то, что доступно одним грубым чувствам? «Ах, если бы мне только постичь одно, — думал он, — только одно: как не завладеть, не погубить!»

За обедом нужно было обсудить план действий. Сегодня она вернётся в отель, но завтра им придётся поехать в Лондон. Ему нужно будет дать указания своему поверенному Джеку Хэрингу. Пусть он не вздумает и пальцем шевельнуть, с их стороны не должно быть

⁶⁸ *Хаммам* — известные в Лондоне турецкие бани недалеко от Пика-дилли.

никакого вмешательства в этот процесс. Возмещение убытков, судебные издержки — что угодно, пусть соглашается на все с самого начала, только бы наконец ей вырваться из этой петли! Он завтра же, увидит Хэринга — они с Ирэн вместе поедут к нему. А потом за границу, так, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы там могли собрать сколько угодно улик, чтобы ложь, произнесённая ею, стала правдой. Он поднял на неё глаза, и его благоговейному взору представилось, что против него сидит не просто женщина, а сама душа Красоты глубокая, загадочная, которую старые мастера — Тициан, Джорджоне⁶⁹, Боттичелли — умели находить и запечатлевать на своих полотнах в лицах женщин, — эта неуловимая красота, казалось, осеняла её лоб, её волосы, её губы, смотрела из её глаз.

«И это будет моим! — подумал он. — Мне страшно!»

После обеда они вышли на террасу пить — кофе. Они долго сидели — был такой чудесный вечер — и смотрели, как медленно спускается летняя ночь. Было все ещё жарко, и в воздухе пахло цветущей липой — так рано этим летом. Две летучие мыши с таинственным, чуть слышным шуршанием носились по террасе. Он поставил стулья против стеклянной двери в кабинет, и мотыльки летели мимо них, на слабый свет в комнате. Не было ни ветра, ни малейшего шороха в листве старого дуба в двадцати шагах от них! Луна вышла из-за роши, уже почти полная, и два света вступили в борьбу друг с другом, и лунный свет победил, он одел весь сад в другой цвет, сделал его неузнаваемым, скользя по каменным плитам, подкрался к их ногам, поднялся и изменил их лица.

— Ну что же, — сказал наконец Джолион, — я боюсь, что вы очень устанете, дорогая; нам уже пора идти. Девушка вас проводит в комнату Холли, — и, войдя в кабинет, он позвонил.

Вошла горничная и подала ему телеграмму. Глядя, как она уходит с Ирэн, он подумал: «Наверно, телеграмму принесли час назад, если не больше, и она не подала её нам! Это знаменательно! Похоже, что нас скоро повесят за дело!» И, распечатав телеграмму, он прочёл:

«Джолиону Форсайту. Робин-Хилл. — Ваш сын скончался безболезненно двадцатого июня. Глубоко сочувствуем» — и какая-то неизвестная фамилия. Он выронил телеграмму, повернулся и замер. Луна светила на него, бабочка ударилась ему в лицо. Это первый день за всё время, что он непрерывно не думал о Джолли. Ничего не видя, он шагнул к окну, наткнулся на старое кресло — кресло отца — и опустился на ручку. Он сидел сгорбившись, нагнувшись вперёд, глядя перед собой в темноту. Сгорел, как свеча, вдали от дома, от любви, совсем один, в темноте! Его мальчик! С раннего детства такой добрый с ним, такой ласковый! Двадцать лет — и вот скошен, как трава, не успев и пожить! «Я, в сущности, не знал его, — думал Джолион, — и он меня не знал; но мы любили друг друга. Ведь только любовь и имеет значение».

Умереть там, одному, вдали от них, вдали от дома! Это казалось его форсайтскому сердцу более мучительным, более ужасным, чем сама смерть! Ни крова, ни заботы, ни любви в последние минуты! И все: глубоко заложенное в нём чувство родства, любовь к семье и крепкая привязанность к своей плоти и крови, которая так сильна была в старом Джолионе, так сильна во всех Форсайтах, — надрывалось в нём, пришибленное, раздавленное этой одинокой кончиной его мальчика. Лучше бы он умер в сражении, чтобы у него не было времени тосковать о них, звать их, быть может, в предсмертном бреду!

Луна зашла за дуб, и он как-то странно ожил и, казалось, наблюдал за ним — этот дуб, на который так любил взбираться его мальчик, а однажды он упал оттуда и разбился, но не заплакал!

Дверь скрипнула. Он увидел, как вошла Ирэн, подняла телеграмму и прочла её. Он услышал лёгкий шелест её платья. Она опустилась на колени около него, и он заставил себя улыбнуться ей. Она протянула руки и положила его голову к себе на плечо. Её аромат и

⁶⁹ Джорджоне (1477—1510) — выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения.

тепло охватили его; и медленно она завладела всем его существом.

VIII. ДЖЕМС В ОЖИДАНИИ

Вспотев до восстановления душевного равновесия. Сомс пообедал в клубе «Смена» и отправился на Парк-Лейн. Отец в последнее время чувствовал себя хуже. Эту историю придётся скрыть от него! Никогда до этой минуты Сомс не отдавал себе отчёта в том, какое большое место в его чувствах занимал страх опозорить седины Джемса и свести его преждевременно в могилу; как тесно это было связано с его собственной боязнью скандала. Его привязанность к отцу, всегда очень глубокая, за последние годы ещё усилилась, ибо он чувствовал, что отец смотрит на него как на единственную опору своей старости. Ему казалось ужасным, что человек, который всю свою жизнь так заботился, так много сделал для того, чтобы возвысить имя семьи, что оно теперь стало почти синонимом благосостояния и незыблемой респектабельности, должен при последнем издыхании увидеть своё имя во всех газетах. Это было все равно, что помогать смерти, этому исконному врагу Форсайтов. «Придётся сказать матери, — думал он, — а когда все это начнётся, нужно будет как-нибудь прятать от него газеты. Ведь он теперь почти никого не видит». Открыв дверь своим ключом. Сомс только начал подниматься по лестнице, как вдруг услышал какой-то шум на площадке второго этажа. Голос матери говорил:

— Но ведь ты же простудишься, Джемс. Почему ты не можешь подождать спокойно?

И голос отца отвечал:

— Подождать? Я всегда жду. Почему он не возвращается?

— Ты можешь поговорить с ним завтра утром, вместо того чтобы торчать таким пугалом на лестнице.

— Он может пройти прямо к себе, не зайдя к нам, а я всю ночь не засну.

— Ну иди же в постель. Джемс!

— Ах, да ну, почём ты знаешь, что я не умру до завтра!

— Тебе не придётся ждать до завтра. Я сойду вниз и приведу его. Можешь не волноваться.

— Вот ты всегда так, тебе все нипочём. А может быть, он и совсем не придёт!

— Ну хорошо, если он не придёт, какой толк будет от того, что ты будешь сторожить здесь в халате?

Сомс сделал последний поворот и увидел высокую фигуру отца в коричневом шёлковом стёганом халате, перегнувшуюся через перила. Свет падал на его серебряные волосы и баки, образуя как бы сияние вокруг его головы.

— Вот он! — услышал он его голос, прозвучавший возмущённо, и спокойный ответ матери из спальни:

— Ну, вот и хорошо. Иди, я расчешу тебе волосы.

Джемс поманил его длинным согнутым пальцем — казалось, словно поманил скелет — и скрылся за дверь спальни.

«Что это с ним? — подумал Сомс. — Что бы он такое мог узнать?»

Отец сидел перед туалетом, повернувшись боком к зеркалу, а Эмили медленно проводила оправленными в серебро щётками по его волосам. Она делала это по несколько раз в день, так как это оказывало на него почему-то такое же действие, как почёсывание за ушами — на кошку.

— Наконец-то ты пришёл! — сказал он. — Я тебя ждал.

Сомс погладил его по плечу и, ваяв с туалета серебряный крючок для застегивания обуви, начал рассматривать на нём пробу.

— Ну как? — сказал он. — Вид у вас, кажется, лучше.

Джемс помотал головой.

— Мне нужно тебе что-то сказать. Мама об этом не знает.

Он сообщил об этом незнании Эмили того, чего он ей не говорил, как будто это была

горькая обида.

— Папа сегодня в необыкновенном волнении весь вечер. И я право, не знаю, в чём тут дело.

Мерное «уиш-уиш» щёток вторило её спокойному, ласковому голосу.

— Нет! Ты ничего не знаешь, — сказал Джемс, — Мне может сказать только Сомс, — и, устремив на сына свои серые глаза, в которых было какое-то мучительное напряжение, он забормотал: — Я старею. Сомс. В моём возрасте... я ни за что не могу ручаться. Я могу умереть каждую минуту. После меня останется большой капитал. У Рэчел и Сиси ли детей нет. Вэл на позициях, а этот молодчик, его отец, загребёт все, что только можно. И Имоджин, того и гляди, кто-нибудь приберёт к рукам.

Сомс слушал рассеянно — все это он уже слышал и раньше. «Уиш-уиш!» шелестели щётки.

— Если это все... — сказала Эмили.

— Все! — подхватил Джемс. — Я ещё ничего не сказал. Я только подхожу к этому, — и опять его глаза с жалобным напряжением устремились на Сомса.

— Речь о тебе, мой мальчик, — внезапно сказал он. — Тебе нужно получить развод.

Услышать эти слова из этих вот уст было, пожалуй, слишком для самообладания Сомса. Он быстро перевёл глаза на обувной крючок, а Джемс, словно оправдываясь, продолжал:

— Я не знаю, что с ней стало, говорят, она за границей. Твой дядя Суизин когда-то восхищался ею — он был большой чудак. — Так Джемс всегда отзывался о своём покойном близнеце. «Толстый и тощий», называли их когда-то. — Она, надо полагать, живёт не одна.

И, закончив свою речь этим умозаключением о воздействии красоты на человеческую природу, он замолчал, глядя на сына недоверчивыми, как у птицы, глазами. Сомс тоже молчал. «Уиш-уиш!» — шелестели щётки.

— Да будет тебе. Джемс! Сомсу лучше знать, как ему быть. Это уж его дело.

— Ах! — протянул Джемс, и, казалось, это восклицание вырвалось из самых недр его души. — Но ведь речь идёт обо всём моем состоянии и об его тоже, — кому все это достанется? А когда он умрёт — даже имя наше исчезнет.

Сомс положил крючок обратно на розовый шёлк плетёной туалетной салфетки.

— Имя? — сказала Эмили. — А все остальные Форсайты?

— Как будто мне легче от этого, — прошептал Джемс. — Я буду в могиле, и если он не женится, никого после него не останется.

— Вы совершенно правы, — спокойно сказал Сомс. — Я подал о разводе.

Глаза у Джемса чуть не выскочили из орбит.

— Что? — вскричал он. — Вот, и мне никогда ничего не рассказывают!

— Ну, кто бы мог знать, что ты хочешь этого, — сказала Эмили. — Мой дорогой мальчик, но это действительно неожиданно, после стольких лет!

— Будет скандал, — бормотал Джемс, словно рассуждая сам с собой, — но тут уж я ничего не могу поделать. Не нажимай так сильно щёткой. Когда же это будет?

— До летнего перерыва. Та сторона не защищается.

Губы Джемса зашевелились, производя какие-то тайные вычисления.

— Я не доживу до того, чтобы увидеть моего внука, — прошептал он.

Эмили перестала водить щётками.

— Ну конечно доживёшь. Джемс. Сомс поторопится, можешь быть уверен.

Наступило долгое молчание, наконец Джемс протянул руку.

— Дай-ка мне одеколон, — и, поднеся флакон к носу, он повернулся к сыну, подставляя ему лоб.

Сомс нагнулся и поцеловал этот лоб как раз в том месте, где начинали расти волосы. Лицо Джемса дрогнуло и разгладилось, словно мучительное беспокойство, грызущее его, вдруг сразу улеглось.

— Я иду спать, — сказал он. — Я не буду читать газет, когда все это случится. Это

такая клика; мне не годится обращать на них внимание, я слишком стар.

Глубоко растроганный. Сомс повернулся и пошёл к двери; он услышал, как отец сказал:

— Я очень устал сегодня; я помолюсь в постели.

А мать ответила:

— Вот и хорошо. Джемс; тебе так будет удобнее.

IX. ВЫПУТАЛСЯ ИЗ ПАУТИНЫ

На Бирже Форсайтов известие о смерти Джолли, погибшего рядовым солдатом среди кучки других солдат, вызвало противоречивые чувства. Станным казалось прочесть, что Джолион Форсайт (пятый носитель этого имени по прямой линии) умер от болезни на службе родине, и не иметь возможности переживать это, как личное несчастье. Это оживило старую обиду на его отца за то, что он так откололся от них. Ибо столь велик был престиж старого Джолиона, что никому из остальных Форсайтов не приходило в голову заикнуться, хотя этого и можно было бы ожидать, что они сами отвернулись от его потомков за предосудительное поведение. Разумеется, это известие увеличило общий интерес к Вэлу и беспокойство о нём; но Вэл носил имя Дарти, и если бы он даже был убит на войне или получил крест Виктории, всё-таки это было бы совсем не то, как если бы он носил имя Форсайт. Ни несчастье, ни слава Хэйменов тоже никого бы не удовлетворили. Семейной гордости Форсайтов не на что было опереться.

Как возникли слухи о том, что готовится — ах, моя дорогая, что-то такое ужасное! — никто не мог бы сказать, и меньше всех Сомс, который всегда всё держал в секрете. Возможно, чей-нибудь глаз увидал в списке судебных дел: «Форсайт против Форсайт и Форсайта», — и прибавил к этому: «Ирэн в Париже со светлой бородкой». Может быть, у какой-нибудь из стен на Парк-Лейн были уши. Но факт оставался фактом — это было известно: старики шептались об этом, молодёжь обсуждала — семейной гордости готовился удар.

Сомс, явившись однажды с воскресным визитом к Тимоти, причём он шёл туда с чувством, что, как только начнётся процесс, эти визиты прекратятся, — едва только вошёл, понял, что здесь уже всё известно. Никто, разумеется, не осмеливался заговорить при нём об этом, но все четыре присутствовавших Форсайта сидели как на углях, зная, что ничто не может помешать тётке Джули поставить их всех в неловкое положение. Она так жалостно смотрела на Сомса, так часто обрывала себя на полуслове, что тётка Эстер извинилась и ушла, сказав, что ей нужно пойти промыть глаз Тимоти: у него начинается ячмень. Сомс держал себя невозмутимо и несколько надменно и оставался недолго. Он вышел, едва сдерживая проклятье, готовое сорваться с его бледных чуть улыбающихся губ.

К счастью для своего рассудка, жестоко терзавшегося надвигающимся скандалом. Сомс день и ночь занимал его проектами своего ухода от дел, ибо он в конце концов пришёл к этому мрачному решению. Продолжать встречаться со всеми этими людьми, которые считали его предусмотрительным, тонким советчиком, после этой истории, — нет, ни за что! Щепетильность и гордость, которые так странно, так тесно переплетались в нём с бесчувствием собственника, восставали против этого. Он уйдёт от дел, будет жить своей жизнью, покупать картины, составит себе имя как коллекционер, у него, в сущности, к этому всегда больше сердце лежало, чем к юридической деятельности. Но, чтобы осуществить это, ныне бесповоротное решение, он должен позаботиться о слиянии своей фирмы с другим предприятием и так, чтобы это произошло втайне, ибо такой шаг, разумеется, может вызвать всеобщее любопытство и только заранее бросит на него тень унижения. Он остановил свой взор на фирме «Кэткот, Холидей и Кингсон», два компаньона которой умерли. Полное название объединённой фирмы должно было бы "быть: «Кэткот, Холидей, Кингсон, Форсайт, Бастард и Форсайт». Но после споров о том, кто из покойников пользуется большим влиянием среди живых, решили сократить название, оставив только: «Кэткот,

Кингсон и Форсайт», причём Кингсон будет действующей, а Сомс немой фигурой. За своё имя, престиж и клиентуру Сомс должен был получать изрядный доход.

Однажды вечером он, как подобало человеку, достигшему столь важной ступени в своей жизненной карьере, занялся подсчётом того, какой цифры достигла стоимость его персоны, и, скостив некоторую сумму на понижение ценностей по случаю войны, нашёл, что она равняется приблизительно ста тридцати тысячам фунтов. После смерти отца, которая, увы, не за горами, он получит ещё по меньшей мере тысяч пятьдесят, а его годовой расход пока ещё не превышает двух тысяч. Стоя посреди своих картин, Сомс видел перед собой будущность, богатую выгодными приобретениями, которые были ему обеспечены благодаря его безошибочной способности угадывать лучше, чем другие. Продавая то, что должно упасть в цене, придерживая то, что ещё растёт, и учитывая с осторожной проницательностью будущие требования вкуса, он составит редчайшую коллекцию, которая после его смерти отойдёт государству как «дар Форсайта».

Если процесс окончится благополучно, он уже решил, как ему поступить с мадам Ламот. Он знал, что её заветной мечтой было жить на ренту в Париже, около своих внуков. Он откупит ресторан «Бретань» за громадную цену. Мадам будет жить, как королева-мать, в Париже, на доходы от капитала, который уж она сумеет поместить, как нужно (между прочим Сомс подумывал о том, чтобы поставить на её место хорошего управляющего, и тогда ресторан, будет приносить ему немалый процент на уплаченную сумму. В Сохо скрыты богатые возможности). За Аннет он пообещает закрепить пятнадцать тысяч фунтов — намеренно или случайно, как раз ту сумму, которую старый Джолион завещал «той женщине».

Из письма поверенного Джолиона к его поверенному выяснилось, что «эти двое» в Италии. Кроме того, они дали всем полную возможность установить, что до этого жили в отеле в Лондоне. Дело ясно как белый день, и разберут его в каких-нибудь полчаса; но за эти полчаса Сомс испытает все муки ада; а после того как эти полчаса пройдут, все носители имени Форсайт почувствуют, что роза утратила свой аромат. У него не было иллюзий, как у Шекспира, что роза, как её ни назови, благоухает все так же. Имя — это то, чем человек владеет: реальное, ничем не забракованное имущество, и ценность его упадёт по крайней мере на двадцать процентов. Если не считать Роджера, который однажды отказался выставить свою кандидатуру в парламент, и — о, ирония! — Джолиона, завоевавшего себе известность как художник, не было ни одного чем-нибудь заметного Форсайта. Но именно это отсутствие гласности и было величайшим достоянием их имени. Это было частное имя, в высшей степени индивидуальное, и оно было его личной собственностью; оно никогда ни с доброй, ни с худой целью не было использовано назойливой молвой. Он и каждый член его семьи владели им нераздельно, строго конфиденциально, не делая его объектом любопытства публики чаще, чем того требовали события — их рождения, браки, смерти. И в течение этих недель ожидания, когда сам он готовился сложить с себя звание служителя закона, Сомс проникся горькой ненавистью к этому закону — так глубоко возмущало его это неминуемое насилие над его именем, насилие, которое он должен был претерпеть во имя естественной потребности законным образом увековечить своё имя. Чудовищная несправедливость всего этого вызывала в нём постоянную глухую злобу. Он не хотел ничего другого, как только жить честной семейной жизнью, и вот теперь, после всех этих бесплодных, одиноких лет, он должен явиться в суд и публично признаться в своей несостоятельности — в том, что он не может удержать жену, — вызвать жалость, удовольствие или презрение себе подобных. Все перевернулось вверх ногами. Страдать должны бы она и этот субъект, а они в Италии. И этот Закон, которому Сомс так верно служил, на который он с таким благоговением взирал как на оплот собственности, за эти недели стал казаться ему жалким убожеством. Что может быть бессмысленнее, чем сказать человеку: «Владей своей женой», а потом наказать его, если кто-нибудь незаконным образом отнимет её у него. Или Закон не знает, что для человека имя — это зеница ока и что гораздо тяжелее прослыть обманутым мужем, чем обольстителем чужой жены? Он положительно

завидовал этой репутации Джолиона, одержавшего победу там, где он, Сомс, проиграл. Вопрос о денежной компенсации тоже не давал ему покоя. Ему хотелось наказать этого субъекта, но ему вспоминались его слова: «С величайшим удовольствием», — и он чувствовал, что взыскание денег причинит неприятность не Джолиону, а ему; он смутно угадывал, что Джолиону даже приятно будет заплатить деньги, — это такой распущенный человек! Кроме того, предъявлять денежные претензии было как-то не совсем удобно. Но это произошло само собой, почти механически; однако, по мере того как час испытания приближался, Сомсу начинало казаться, что и это тоже всего лишь какая-то уловка этого бесчувственного, противоестественного Закона — для того чтобы выставить его. Сомса, в смешном виде; чтобы люди могли смеяться и говорить: «Да, да, он получил за неё изрядную сумму!» И он отдал распоряжение своему поверенному, чтобы тот заявил, что деньги будут пожертвованы на убежище для падших женщин. Он долго раздумывал, какое из благотворительных учреждений будет самым подходящим, и остановился на этом, но теперь, просыпаясь по ночам, думал: «Это не годится, слишком мрачно, это только привлечёт внимание. Что-нибудь поскромнее, попримечнее». Он был равнодушен к собакам, а то бы, наверно, перенёс свой выбор на них; в конце концов, в полном отчаянии, ибо его осведомлённость в делах благотворительности была весьма ограничена, он решил остановиться на слепых. Это не может показаться неприличным, и это, разумеется, заставит суд назначить более высокую сумму.

Целый ряд процессов снимался со списка, который этим летом и так был очень невелик, и дело Сомса должно было слушаться уже в июле. В эти дни единственным утешением Сомса была Уинифрид. Она относилась к нему сочувственно, как человек, который сам побывал в такой передрыге, и он мог ей довериться, зная, что она не станет откровенничать с Дарти. Этот негодяй только поразился бы! В конце июля, накануне процесса. Сомс вечером пришёл к ней. Они ещё не выехали за город, так как Дарти уже истратил деньги, отложенные на летний отдых, а Уинифрид не решалась идти просить у отца, пока тот ждал, чтобы ему ничего не сказали об этом деле Сомса.

Она встретила его с письмом в руке.

— От Вэла? — мрачно спросил он. — Что он пишет?

— Он пишет, что женился, — сказала Уинифрид.

— На ком это, господи боже?

Уинифрид подняла на него глаза.

— На Холли Форсайт, дочери Джолиона.

— Что?

— Получил разрешение и женился. Я даже не знала, что он знаком с нею. Как это все неудобно, правда?

Сомс отрывисто засмеялся на эту её характерную манеру употреблять ничего не значащие слова.

— Неудобно! Ну, я не думаю, что они об этом что-нибудь узнают прежде, чем вернуться. Да и лучше им оставаться там. Её отец даст ей денег.

— Но я хочу, чтобы Вэл вернулся, — сказала Уинифрид почти жалобно. Мне его недостаёт. Мне легче, когда он со мной.

— Я знаю, — пробормотал Сомс. — А как Дарти ведёт себя теперь?

— Могло быть и хуже; вечные истории с деньгами. Ты хочешь, чтобы я завтра поехала в суд. Сомс?

Сомс протянул ей руку. Этот жест так явно изобличал его одиночество, что она крепко пожала его руку обеими руками.

— Ничего, голубчик, зато тебе будет гораздо легче, когда все это кончится.

— Я не знаю, что я такого сделал, — хрипло сказал Сомс. — И никогда не знал. Все как-то перевернулось вверх ногами. Я любил её, я её всегда любил.

Уинифрид увидела, как кровь выступила на его губе, и это её страшно потрясло.

— Ну конечно, — сказала она, — это все очень гадко с её стороны. Но что же мне

делать с этой женитьбой Вэла, Сомс? Я не знаю, что ему написать в связи с этой историей? Ты видел эту девочку — хорошенькая она?

— Да, она хорошенькая, — сказал Сомс. — Брюнетка, и в ней есть что-то аристократическое.

«Не так уж плохо, — подумала Уинифрид. — У Джолиона всегда был стиль!»

— Всё-таки это какая-то путаница, — сказала она. — Что скажет папа?

— Ему незачем говорить об этом, — сказал Сомс. — Война теперь скоро кончится, и хорошо было бы, если бы Вэл купил там участок земли и обзавёлся хозяйством.

Это было равносильно тому, как если бы он сказал ей, что считает племянника погибшим.

— Монти я ничего не говорила, — упавшим голосом прошептала Уинифрид.

Дело начало слушаться на следующий день около двенадцати часов и заняло, немногим больше, получаса. Сомс, с грустными глазами, бледный, элегантный, стоял перед судом; он столько перестрадал до этого, что теперь уже ничего не чувствовал. Как только объявили решение суда, он покинул зал.

Через каких-нибудь четыре часа его имя делается достоянием публики! Бракоразводный процесс присяжного поверенного! Глухая, горькая злоба сменила чувство мёртвого равнодушия. «Будь они все прокляты! — думал он. — Я не буду прятаться. Я буду вести себя так, как если бы ничего не случилось». И по нестерпимо знойной Флитстрит и Лэдгейт-Хилл он отправился пешком в свой клуб в Сити, позавтракал и затем пошёл в контору. Там, не отрываясь, работал до вечера.

Когда, собравшись идти домой. Сомс вышел из кабинета, он увидел, что клерки уже все знают, но он встретил, их недовольные взгляды таким саркастическим взглядом, что они немедленно отвели глаза. У собора св. Павла он остановился купить самую аристократическую из вечерних газет. Да! Вот оно! «Бракоразводный процесс известного, присяжного, поверенного. Соответчик — двоюродный брат. Взысканная с ответчика компенсация, жертвуется в пользу слепых!» — значит, они всё-таки напечатали это! Глядя на встречные лица, он думал: "Интересно, знаете вы или нет? ", И вдруг он почувствовал себя, как-то странно, словно у него что-то завертелось в голове.

Что это такое? Он не должен поддаваться этому! Не должен! Ведь так можно заболеть. Не нужно думать! Он поедет к себе за город, на реку, будет грести, ловить рыбу. «Я не позволю себе заболеть!» — подумал он.

Вдруг он вспомнил, что ему необходимо сделать что-то очень важное, прежде чем уехать из города. Мадам Ламот! Он должен объяснить ей предусмотренный законом порядок. Ещё шесть месяцев должно пройти, прежде чем он будет действительно свободен. Только ему не хочется видеть Аннет! И он провёл рукой по голове: она была горячая.

Он свернул и пошёл по Ковент-Гарден. В этот знойный июльский день воздух старого рынка, заражённый запахом гниющих отбросов, вызывал у него отвращение, а Сохо, более чем когда-либо, казался безотрадным притоном всякого сброда. Только ресторан «Бретань», чистенький, нарядно выкрашенный, со своими голубыми кадками карликовыми деревцами, сохранял независимое, типично французское достоинство и самоуважение. Сейчас были часы затишья, и бледные, опрятно одетые официантки накрывали столики к обеду. Сомс прошёл в жилую половину. К его великому огорчению, на стук его открыла Аннет. Она тоже была бледная, изнемогающая от жары.

— Вы нас совсем забыли, — вяло сказала она.

Сомс улыбнулся.

— Это не моя вина; я был очень занят. Где ваша матушка, Аннет? Мне нужно ей кое-что сообщить.

— Мамы нет дома.

Сомсу показалось, что она как-то странно смотрит на него. Что ей известно? Что ей рассказала мать? Старание угадать это вызвало мучительно-болезненное ощущение у него в голове. Он ухватился за край стола и смутно увидел, что Аннет подошла к нему, глядя на

него прояснившимися от удивления глазами. Он закрыл глаза и сказал:

— Ничего, сейчас пройдёт. У меня, наверно, был лёгкий солнечный удар!

Солнечный! Уж если что и ударило его, так это мрак! Голос Аннет, сдержанный голос француженки, сказал:

— Сядьте, у вас скорей пройдёт.

Её рука нажала на его плечо, и Сомс опустился в кресло. Когда ощущение мрака прошло и он открыл глаза, он увидел, что она смотрит на него. Какое непостижимое и странное выражение для двадцатилетней девушки!

— Вам лучше теперь?

— Все прошло, — сказал Сомс.

Инстинкт подсказывал ему, что, обнаруживая перед ней слабость, он не выигрывает: возраст и без того достаточное препятствие. Сила воли — вот что возвысит его в глазах Аннет. Все эти последние месяцы он отступал из-за нерешительности, больше он уже не будет отступать... Он встал и сказал:

— Я напишу вашей матушке. Я уезжаю в свой загородный дом на довольно продолжительное время. Я бы хотел, чтобы вы обе приехали погостить ко мне. Сейчас там самое лучшее время. Вы приедете, не правда ли?

— Мы будем очень рады.

Такое изящное грассирование этого "р", но ни малейшего энтузиазма. И с некотором огорчением он прибавил:

— Вы тоже страдаете от жары, Аннет? Вам будет очень полезно побыть на реке. До свидания.

Аннет наклонилась вперёд. В этом движении промелькнуло что-то вроде раскаяния.

— А вы в состоянии идти? Может быть, вы выпьете кофе?

— Нет, — твёрдо сказал Сомс. — Дайте мне вашу руку.

Она протянула ему руку, и Сомс поднёс её к губам. Когда он поднял глаза, то опять увидел то же странное выражение в её лице. «Непонятно, думал он, выходя от неё, — но не надо думать, не надо мучиться».

Но он всё же мучился, идя по направлению к Пэл-Мэл. Англичанин, чужой для неё религии, человек в летах, в прошлом семейная трагедия — что он может дать ей? Только богатство, положение в обществе, обеспеченную жизнь, успех! Это много, но достаточно ли это для красивой двадцатилетней девушки? Он так мало знает Аннет. Кроме того, у него был какой-то необъяснимый страх перед этим французским характером её матери, да и её самой. Они так хорошо знают, чего хотят. Это почти Форсайты! Они никогда не погонятся за тенью, не упустят реальной возможности!

Невероятное усилие, которое ему пришлось сделать над собой для того, чтобы, придя в клуб, написать коротенькую записку мадам Ламот,шний раз показало ему, что он окончательно выдохся.

"Сударыня (писал он).

Из прилагаемой газетной вырезки Вы увидите, что я сегодня получил развод. Но по английским законам я не имею права вторично вступить в брак, пока, по истечении шести месяцев, развод не будет утверждён. В настоящее время я прошу Вас считать меня официальным претендентом на руку Вашей дочери. Я напишу Вам снова через несколько дней и попрошу Вас обеих приехать погостить в мой загородный дом.

Преданный Вам Сомс Форсайт".

Запечатав и отослав письмо, он прошёл в столовую. Двух-трех ложек супа было достаточно для того, чтобы убедиться, что он не может есть; он послал за кэбом, отправился на Пэддингтонский вокзал и там сел на первый отходящий в Рэдинг поезд. Он приехал к себе, когда солнце только что зашло, и вышел на лужайку. Воздух был насыщен ароматом махровой гвоздики, росшей на грядках. Мягкой прохладой тянуло с реки.

Отдыха, покоя! Дайте отдохнуть бедняге! Пусть перестанут тревога, стыд и злоба метаться, подобно зловещим ночным птицам, в его сознании. Как голуби, прикорнувшие в полусне в своей голубятне, как пушистые звери в лесах на том берегу, и бедный люд в мирных хижинах, и деревья, и эта белеющая в сумерках река, и тёмное васильково-синее небо, на котором уже загораются звезды, — пусть он отрешится от себя и отдохнёт!

Х. ВЕК УХОДИТ

Свадьба Сомса с Аннет состоялась в Париже в последний день января 1901 года, и так конфиденциально, что даже Эмили сообщили только после того, как это уже произошло. На следующий день после свадьбы он привёз её в Лондон, в один из тех скромных отелей, где за большие деньги получаешь меньше, чем где бы то ни было в другом месте. Её красота, оправленная в лучшие парижские туалеты, доставляла ему больше удовлетворения, чем если бы он приобрёл какой-нибудь редкий фарфор или драгоценную картину. Он предвкушал момент, когда покажет её на Парк-Лейн, на Грин-стрит и у Тимоти.

Если бы кто-нибудь в то время спросил его: «Скажите откровенно, вы действительно влюблены в эту девушку?» — он ответил бы: «Влюблён? Что такое любовь? Если вы хотите сказать, чувствую ли я к ней то, что я когда-то чувствовал к Ирэн, когда я впервые встретил её и она отвергла меня, и я вздыхал, и изнывал, и не знал ни минуты покоя, пока она не согласилась, — нет! Если вы хотите сказать, люблюсь ли я её молодостью и красотой и испытываю ли некоторое волнение чувств, когда я смотрю на неё, да! Думаю ли я, что она оправдывает мои надежды, будет мне достойной женой и хорошей матерью моим детям, я опять скажу — да! А что же мне ещё нужно? И что другое получают от мужчин три четверти женщин, выходя замуж?» И если бы собеседник продолжал допытываться: «А как вы думаете, честно ли было соблазнить эту девушку отдаться вам на всю жизнь, если вы на самом деле не затронули её сердца?» — он ответил бы: «Француженки иначе смотрят на эти вещи. Для них брак — это возможность устроиться, завести детей, и я по собственному опыту скажу: я совсем не уверен, что эта точка зрения не есть самая разумная. На этот раз я не жду больше того, что я могу получить, ни того, что она может дать. Я не удивлюсь, если через несколько лет у меня будут какие-нибудь неприятности с ней; но я к тому времени буду уже стар, у меня будут дети. Я просто закрою глаза на это. Я уже испытал большое чувство, ей, может быть, ещё предстоит испытать его, и вряд ли это чувство будет ко мне. Я даю ей многое, а взамен жду совсем немного — только детей или хотя бы одного сына. Но в одном я совершенно уверен — это в том, что она обладает большим здравым смыслом».

И если бы неотвязчивый собеседник, все ещё не удовлетворившись, спросил: «Значит, вы не ищете в этом браке духовного общения?» — Сомс усмехнулся бы своей кривой усмешкой и ответил: "Это уж как придётся. Если чувства будут удовлетворены и моё "я" будет увековечено в потомстве, если Дома у меня будет хороший тон и хорошее настроение — это все, чего я могу желать в моём возрасте. Я вовсе не склонен мечтать о каких-то преувеличенных чувствах". После этого собеседник, если он обладает достаточным тактом, должен прекратить свой допрос.

Королева умерла, и в воздухе величайшей столицы Мира стояла серая мгла непролитых слез. В меховом пальто, в цилиндре. Сомс с Аннет, укутанной в тёмные меха, пробравшись сквозь толпу на Парк-Лейн в это утро похоронного шествия, остановился у ограды Хайд-парка. Хотя обычно всякие происшествия общественного характера мало волновали Сомса, это глубоко символическое событие, это завершение длительной блестящей эпохи произвело на него впечатление. В 37-м году, когда королева взошла на престол, «Гордый Досеет» ещё строил дома, уродовавшие Лондон, а Джемс, двадцатипятилетний юноша, только закладывал фундамент своей юридической карьеры. Ещё ходили почтовые кареты, мужчины носили пышные галстуки, брили верхнюю губу, ели устрицы прямо из бочонков, на запятках карет красовались грумы, женщины на все говорили: «Скажите!» — и не имели прав на собственное имущество. В стране царила учтивость, для нищих строили закуты,

бедняков вешали за ничтожные преступления, и Диккенс только что начинал писать. Без малого два поколения сменилось с тех пор, а за это время — пароходы, железные дороги, телеграф, велосипеды, электричество, телефоны и вот теперь эти автомобили — такое накопление богатств, что восемь процентов превратились в три, а Форсайты насчитываются тысячами. Изменились нравы, изменились манеры, люди ещё на одну ступень отошли от обезьян, богом стал Маммона — Маммона такой уважаемый, что сам себя не узнавал. Шестьдесят четыре года покровительства собственности⁷⁰ создали крупную буржуазию, приглаживали, шлифовали, поддерживали её до тех пор, пока она манерами, нравами, языком, внешностью, привычками и душой почти не перестала отличаться от аристократии. Эпоха, так позолотившая свободу личности, что если у человека были деньги, он был свободен по закону и в действительности, а если у него не было денег — он был свободен только по закону, но отнюдь не в действительности; эпоха, так канонизировавшая фарисейство, что для того, чтобы быть уважаемым, достаточно было казаться им. Великий век, всеизменяющему воздействию которого подверглось все, кроме природы человека и природы вселенной.

И для того чтобы посмотреть, как уходит этот век, Лондон, его любимец и баловень, вливал потоки своих граждан сквозь все ворота в Хайд-парк, этот оплот викторианства, заповедный остров Форсайтов. Под серым небом, которое вот-вот, казалось, брызнет мелким дождём, тёмная толпа собралась посмотреть на пышное шествие. Хорошая старая королева, богатая добродетелью и летами, в последний раз вышла из своего уединения, чтобы устроить Лондону праздник. Из Хаундсдича, Эктона, Илинга, Хэмстеда, Излингтона и Бетнел-Грина, из Хэрни, Хорнси, Лейтонстона, Бэттерси и Фулхема и с тех зелёных пастбищ, где расцветают Форсайты, — Мейфера и Кенсингтона, Сент-Джемса и Белгрэви, Бэйсуотер и Челси и Риджент-парка стекался народ на улицы, по которым сейчас с мрачной помпой и в пышном параде пройдёт смерть. Никогда больше не будет ни одна королева царствовать так долго, и народу не придётся больше поглядеть, как хоронят такую долгую эпоху. Какая жалость, что война все ещё тянется и нельзя возложить на гроб венки победы! Но, кроме этого, в проводах будет все: солдаты, матросы, иностранные принцы, приспущенные знамёна и похоронный звон, а главное — огромная, волнующаяся, одетая в траур толпа, в которой, может быть, не одно сердце под чёрной одеждой, надетой ради этикета, сжимается лёгкой грустью. В конце концов, это не только королева уходит на покой, это уходит женщина, которая мужественно терпела горе, жила, как умела, честно и мудро.

В толпе перед оградой парка Сомс, стоя под руку с Аннет, ждал. Да! Век уходит! Со всем этим тред-юнионизмом и с этими лейбористами в парламенте, с этими французскими романами и ощущением чего-то такого в воздухе, чего не выразишь словами, всё пошло совсем по-другому; он вспомнил толпу в ночь взятия Мейфкинга и слова Джорджа Форсайта: «Они все социалисты, они зарятся на наше добро». Сомс, подобно Джемсу, ничего не знал, ничего не мог сказать, что будет, когда на престол сядет этот Эдуард⁷¹. Никогда уж больше не будет так спокойно, как при доброй, старой Викки! Он, вздрогнув, прижал руку своей молодой жены. Это по крайней мере было что-то его собственное, что-то, наконец, снова его неотъемлемо-домашнее, то, ради чего стоит иметь собственность, что-то действительно реальное. Крепко прижимая её к себе и стараясь отгородить от других. Сомс чувствовал себя довольным. Толпа шумела вокруг них, ела бутерброды, стряхивала крошки; мальчишки, взобравшись на платаны, болтали, как мартышки, бросались сучьями и апельсиновыми корками. Время уже прошло, процессия должна вот-вот показаться! И вдруг

⁷⁰ *Шестьдесят четыре года покровительства собственности...* — Имеются в виду шестьдесят четыре года царствования королевы Виктории (1837—1901).

⁷¹ *...когда на престол сядет этот Эдуард.* — Имеется в виду английский король Эдуард VII (1901—1910), сын Виктории.

чуть-чуть левее позади он увидел высокого мужчину в мягкой шляпе, с короткой седеющей бородкой и высокую женщину в маленькой круглой меховой шапочке под вуалью. Джолион и Ирэн, болтая, улыбаясь, стояли, тесно прижавшись друг к другу, как он и Аннет! Они не видели его; и украдкой, с каким-то очень странным чувством, Сомс наблюдал за ними. Они кажутся счастливыми! Зачем они пришли сюда, эти двое отвернувшиеся от всех законов, восставшие против идеалов викторианства? Что нужно им в этой толпе? Каждый из них дважды изгнан приговором морали — и вот они здесь, точно хвастаются своей любовью и беспутством. Он как зачарованный следил за ними, признавая с завистью даже и теперь, когда рука Аннет покоилась в его руке, что она, Ирэн... Нет! Он этого не признает, и он отвёл глаза. Он не хочет видеть их, не хочет, чтобы прежняя горечь, прежнее желание снова вспыхнули в нём! Но тут Аннет повернулась к нему и сказала:

— Вот эти двое, Сомс, они знают вас, я уверена. Кто они такие?

Сомс покосился.

— Где? Кто?

— Да вот, видите; они как раз уходят. Они вас знают.

— Нет, — ответил Сомс, — вы ошибаетесь, дорогая.

— Очаровательное лицо! И какая походка! Elle est tres distinguee⁷².

Тогда Сомс посмотрел им вслед. Вот так, этой спокойной походкой, она вошла в его жизнь и ушла из неё — прямая, недоступная, далёкая, всегда уклонявшаяся от духовного общения с ним! Он резко отвернулся от этого удаляющегося видения прошлого.

— Смотрите-ка лучше сюда, — сказал он, — идут!

Но, стоя рядом с ней, крепко прижимая к себе её руку и как будто с интересом следя за приближающейся процессией, он содрогался от чувства невозвратимой утраты, от острого сожаления, что они не принадлежат ему обе.

Медленно приближалась музыка и погребальное шествие, и наконец среди всеобщей тишины длинная процессия влилась в ворота парка. Он услышал, как Аннет прошептала: «Как печально и как прекрасно!» — почувствовал, как она крепко сжала его руку, приподнимаясь на цыпочки, и волнение толпы захватило его. Вот он, катафалк королевы, — медленно плывущий мимо гроб Века! И, по мере того, как он медленно двигался, из сомкнутых рядов толпы, следившей за ним, подымался глухой стон; никогда в жизни Сомс не слышал такого звука, это было что-то такое бессознательное, первобытное, глубокое, безудержное, что ни он, ни кто другой не отдавали себе отчёта, не исходит ли он от каждого из них. Непостижимый звук! Дань Века собственной своей смерти!.. А-а-а!... А-а-а!.. Исчезает опора жизни! То, что казалось вечным, уходит? Королева — упокой её, господи!

Он плыл вместе с катафалком, этот неуправляемый стон, как огонь плывёт по траве узенькой полоской. Не отставая, шаг за шагом он следовал за ним по сомкнутым рядам толпы, из ряда в ряд. Это был человеческий и в то же время нечеловеческий стон, исторгаемый животным подсознанием, сокровеннейшим прозрением того, что все умирает, все изменяется. Никто из нас, никто из нас не вечен!

Когда он смолк, наступила тишина, не надолго, очень не надолго, пока тут же не развязались языки, спеша обсудить интересное зрелище. Сомс постоял ещё немножко, чтобы доставить удовольствие Аннет, потом вывел её из парка и отправился с нею на Парк-Лейн завтракать к отцу...

Джемс провёл утро, не отходя от окна своей спальни; Последнее пышное зрелище, которое ему суждено увидеть... — последнее из всех! Итак, она умерла! Конечно, она уже была старая женщина. Суизин и он присутствовали при её коронации: тоненькая, стройная девочка, моложе Имоджин! Она потом очень располнела. Они с Джолионом видели, как её венчали с этим немцем⁷³, её супругом; он оказался вполне порядочным, а потом умер,

⁷² У неё очень благородная внешность (фр.)

⁷³ ...как её венчали с этим немцем... — Имеется в виду супруг английской королевы Виктории принц

оставив её с сыном. И Джемс вспоминал, как, бывало, вечерами собирались братья и друзья и как, сидя после обеда за бутылкой вина, они, покачивая головами, беседовали меж собой об этом юнце. И вот теперь он вступил на престол. Говорят, он остепенился — вот этого уж он не знает, не может сказать! Наверно, будет сорить деньгами. Какая масса повсюду! Кажется, совсем не так давно они с Суизином стояли в толпе перед Вестминстерским аббатством, когда её короновали, а потом Суизин повёз его к Креморну⁷⁴ — весёлый был этот Суизин; кажется, будто это было почти так же недавно, как юбилейный год⁷⁵, когда они с Роджером сняли сообща балкон на Пикадилли⁷⁶. Джолион, Суизин, Роджер — все умерли, а ему в августе будет девяносто! И вот теперь Сомс женился на этой француженке. Французы странный народ, но он слышал, что француженки хорошие матери. Времена меняются! Говорят, этот германский император приехал на похороны⁷⁷; а ведь его телеграмма тогда старику Крюгеру⁷⁸ была прямо-таки неприличного тона. И он не удивится, если когда-нибудь этот молодчик наделает хлопот. Все меняется! Гм! И придётся им самим заботиться о себе, когда он умрёт: что с ним будет, он не знает! И вот сегодня Эмили пригласила Дарти к завтраку с Уинифрид и Имоджин, чтобы принять всей семьёй жену Сомса. Вечно она что-нибудь придумает! А Ирэн, говорят, живёт с этим Джолионом. Верно, он теперь на ней женится.

«Брат Джолион, — подумал Джемс, — что бы он сказал на всё это?» И полная невозможность представить себе, что сказал бы его старший брат, к мнению которого он всегда так прислушивался, так расстроила Джемса, что он поднялся со своего кресла и медленно, с усилием начал ходить взад и вперёд по комнате.

«А какая была красotka! — думал он. — И я так к ней привязался. Может быть. Сомс не подходил ей, не знаю, не могу сказать. У нас никогда не было никаких неприятностей с нашими жёнами». Женщины изменились, всё изменилось! И вот теперь королева умерла — что ты скажешь! Он заметил какое-то движение в толпе и остановился у окна, прижавшись к холодному стеклу, так что кончик носа у него сразу побелел. Они уже выходят с ней из-за угла Хайд-парка, сейчас они пройдут мимо! Почему Эмили не идёт сюда наверх посмотреть, вместо того чтобы суетиться с этим завтраком? Ему недоставало её в эту минуту, недоставало! Сквозь голые сучья платанов ему видно было, как двигалась процессия, как толпа обнажила головы, наверно, масса народу простудится! Голос позади него сказал:

— Оказывается, тебе здесь отлично все видно. Джемс!

— Наконец-то! — пробормотал Джемс. — Почему ты раньше не пришла? Ты ведь могла все пропустить!

И он замолчал, глядя напряжённо и пристально.

— Что это за шум? — вдруг спросил он.

Альберт (1819—1861), который происходил из немецкой княжеской династии.

⁷⁴ *Креморн* — лондонский сад с увеселительными заведениями, закрытый в 1877 г.

⁷⁵ *Юбилейный год* — Имеется в виду 1897 г., когда праздновалось шестидесятилетие царствования королевы Виктории (1837—1901).

⁷⁶ *...сняли сообща балкон на Пикадилли.* — Для желающих наблюдать за церемониями на соответствующих улицах Лондона за плату сдавались окна, балконы и места на специально построенных подмостках.

⁷⁷ *...германский император приехал на похороны...* — Имеется в виду германский император Вильгельм II, внук королевы Виктории.

⁷⁸ *...телеграмма... старику Крюгеру...* — Имеется в виду поздравительная телеграмма германского императора Вильгельма II президенту Трансвааля Крюгеру по поводу успешного отражения набега Джемсона в 1896 г.

— Никакого нет шума, — сказала Эмили, — ты что думаешь, ведь не может быть никаких приветствий!

— Но я слышу.

— Глупости, Джемс!

Ни малейшего звука не доносилось сквозь двойные рамы. То, что Джемс слышал, это был стон его собственного сердца, в то время как он взирал на то, как уходит его Век.

— Пожалуйста, никогда не говори мне, где меня похоронят, — неожиданно сказал он. — Я не хочу этого знать.

И он отошёл от окна. Вот она и ушла, старая королева; у неё было много неприятностей — наверно, она рада, что избавилась от них!

Эмили взяла с туалета головные щётки.

— Тебе нужно причесаться, — сказала она, — пока они не пришли. Ты должен сегодня быть как можно красивее, Джемс!

— Ах! — вздохнул Джемс. — Говорят, она хороша собой!

Встреча Джемса с его новой невесткой состоялась в столовой. Джемс сидел у камина, когда они вошли. Он опёрся обеими руками на ручки кресла и медленно поднялся ей навстречу. Слегка согнувшийся, безукоризненный в своём сюртуке, тонкий, как линия у Евклида⁷⁹, он взял руку Аннет в свою руку. Изрезанное морщинами лицо, с которого уже сошёл румянец, склонилось над нею, и озабоченные глаза пытливо устремились на неё. Словно блеском её цветущей молодости вспыхнули и его глаза и щеки.

— Как поживаете? — сказал он. — Вы, наверно, ходили смотреть на королеву? Хорошо ли вы перенесли переезд морем?

Так приветствовал он ту, от которой ждал внука.

Аннет, глядя на него, такого старого, худого, белого как лунь, безукоризненно одетого, пролепетала что-то по-французски, чего Джемс не понял.

— Да, да, — сказал он. — Я думаю, вы проголодались.

Сомс, позвони, пожалуйста. Мы не будем дожидаться этого Дарти.

Но как раз в эту минуту они пожаловали. Дарти не пожелал изменять своим привычкам ради того, чтобы посмотреть на «старушку». Заказав себе с утра коктейль, он любовался этим зрелищем из окна курительной «АйсиумКлуба», так что Уинифрид с Имоджин пришлось зайти за ним в клуб из парка. Его карие глаза остановились на Аннет почти с изумлённым восхищением. Вторую красавицу подцепил этот Сомс! И что только женщины находят в нём! Конечно, она сыграет с ним такую же шутку, как та; но пока что ему повезло? И Дарти подкрутил усы: за девять месяцев семейного благоденствия на Гринстрит он почти в полной мере обрёл и свою былую полноту и свою самоуверенность. Несмотря на ласковые хлопоты Эмили, спокойную выдержку Уинифрид, дружелюбную приветливость Имоджин, самодовольную развязность Дарти и заботы Джемса о том, чтобы Аннет ела. Сомс чувствовал, что этот завтрак не очень удачный дебют для его жены. Он скоро увёз её.

— Этот мсье Дарти, — сказала Аннет, когда они сели в кэб, — *je n'airne pas ce type la!*⁸⁰.

— Упаси боже, нет! — сказал Сомс.

— У вас очень милая сестра, и дочка у неё очень хорошенькая. А ваш отец очень старый. Мне кажется, вашей матери должно быть с ним много хлопот, я бы не хотела быть на её месте.

Сомс кивнул, одобряя проницательность и ясное, твёрдое суждение своей молодой жены; но оно как-то немножко смущало его. Может быть, у него мелькала мысль: «Когда

⁷⁹ ...тонкий, как линия у Евклида... — то есть как линия в Евклидовой геометрии. Евклид — прославленный греческий математик, живший в Александрии в IV — III вв. до н. э.

⁸⁰ Мне не нравятся такие люди! (фр.)

мне будет восемьдесят, ей будет только пятьдесят пять, и ей тоже будет со мной много хлопот».

— Мы теперь должны побывать ещё в одном доме у моих родственников, они вам покажутся чужаками, но с этим уж нужно примириться; а потом мы пообедаем и поедem в театр.

Так он готовил её к знакомству с обитателями дома Тимоти. Но у Тимоти всё было совсем по-другому. Они были так рады увидеть дорогого Сомса после такого долгого перерыва; ах, вот она какая. Аннет!

— Вы такая красавица, моя милочка; пожалуй, даже чересчур молоды и хороши для дорогого Сомса, не правда ли? Но он такой внимательный и заботливый, такой хороший...

Тётя Джули чуть было не сказала «муж», но удержалась и приложилась губами к щёчкам Аннет, чуть пониже глаз, которые она потом расписывала Фрэнси, когда та заехала к ней: синие, как васильки, такие красивые, мне так и хотелось расцеловать их. Я должна сказать, что милый Сомс действительно знаток. В таком французском стиле, впрочем не совсем французском, и такая же красавица — правда, не такая интересная, не такая обаятельная, как Ирэн. Потому что ведь, правда же, Ирэн была обаятельна эта её молочная кожа, тёмные глаза и эти волосы couleur de... как это, я всегда забываю?

— *Feuille morte*, — подсказала Фрэнси.

— Да, да, опавших листьев — как странно! Я помню, когда я была девушкой, перед тем как мы приехали в Лондон, у нас был маленький щенок, гончая, не для охоты, а просто мы с ним ходили гулять, у него было рыжеватое пятно на голове и белая грудь и замечательные темно-карие глаза, и это была особа женского пола.

— Да, тётка, — сказала Фрэнси, — но я не понимаю, при чём это тут.

— Ах! — вскрикнула тётя Джули в каком-то экстазе. — Она была очаровательная, эти глаза и это пятно, ну, знаешь... — она замолчала, словно боясь о чём-то проговориться. — *Feuille morte*, — прибавила она неожиданно. — Эстер, запомни, пожалуйста!..

Сестры долго и оживлённо обсуждали вопрос, позвать или не позвать Тимоти, чтобы он пришёл посмотреть на Аннет.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал Сомс.

— Но здесь нет никакого беспокойства, только разве то, что Аннет француженка, и это, может быть, расстроит его. Он так напуган этой историей с Фашодой. Я думаю, нам лучше не рисковать, Эстер. Так приятно, что она побудет здесь запросто с нами. А как ты поживаешь. Сомс? Ты теперь совсем покончил с твоим...

Эстер живо вмешалась:

— Как вам понравился Лондон, Аннет?

Сомс с некоторой тревогой ждал, что она ответит. Разумно, сдержанно она сказала:

— О! Я знаю Лондон. Я бывала здесь раньше.

Он до сих пор не решился поговорить с ней насчёт ресторана, У французов несколько другое представление о хорошем тоне, и, может быть, ей покажется странным, что можно стесняться таких вещей; он хотел поговорить с ней об этом после того, как они поженятся, и теперь жалел, что забыл это сделать.

— А какую часть Лондона вы лучше всего знаете? — спросила тётя Джули.

— Сохо, — просто сказала Аннет.

Сомс стиснул зубы.

— Сохо? — повторила тётя Джули. — Сохо?

«Теперь это обойдёт всех», — подумал Сомс.

— Это действительно квартал во французском духе и очень любопытный, сказал он.

— Да, — протянула тётя Джули. — У твоего дяди Роджера когда-то были там дома, я помню, ему всегда приходилось выселять оттуда жильцов.

Сомс перевёл разговор на Мейплдерхем.

— Ну конечно, — сказала тётя Джули. — Вы теперь, наверно, отправитесь туда и будете там жить. Мы все ждём не дождемся, когда у Аннет будет милый маленький...

— Джули! — вскричала тётя Эстер с отчаянием в голосе. — Позвони, чтобы дали чаю.

Сомс не решился ждать чаю и увёз Аннет.

— Я бы на вашем месте не стал упоминать о Сохо, — сказал он, когда они сели в кэб. — Этот квартал пользуется довольно сомнительной репутацией; а вы теперь выше того круга, в котором вы вращались, будучи в этом ресторане. Понимаете, — прибавил он, — я хочу ввести вас в хорошее общество, а англичане ужасные снобы.

Ясные глаза Аннет широко раскрылись; на губах мелькнула улыбка.

— Да? — сказала она.

«Гм! — подумал Сомс. — Это на мой счёт», — и он строго посмотрел на неё. «У неё очень трезвый взгляд на вещи, — подумал он. — Я должен раз навсегда заставить её понять».

— Послушайте, Аннет, это очень просто, нужно только вникнуть. У нас люди, занимающиеся свободной профессией, и богатые люди, живущие на свой капитал, считают себя выше людей, занимающихся какой-нибудь коммерческой, деятельностью; исключение, конечно, для очень богатых. Может быть, это и глупо, но это так. В Англии не рекомендуется сообщать людям, что вы держали ресторан или лавку или вообще занимались какой-нибудь торговлей. Может быть, это и очень достойное занятие, но это кладёт известное клеймо; вы уже не сможете бывать в таком хорошем обществе и вести такую светскую жизнь — вот и все.

— Я понимаю, — сказала Аннет, — это так же, как и во Франции.

— О да! — пробормотал Сомс, несколько озадаченный, но в то же время с облегчением. — Разумеется, класс — это все.

— Да, — сказала Аннет. — *Comme vous etes sage!*⁸¹

«Все это так, — подумал Сомс, глядя на её губы, — только она всё-таки очень цинична». Его знание языка было не настолько велико, чтобы он мог огорчиться тем, что она и по-французски не сказала ему «tu». Он обнял её и, старательно выговаривая слова, прошептал:

— *Et vous etes ma belle femme*⁸².

Аннет расхохоталась.

— *Oh, non!* — сказала она. — *Oh, non! ne parlez pas francais*⁸³, Сомс. А чего это ждёт не дожждётся эта старая дама, ваша тётя?

Сомс закусил губу.

— Бог её знает, — сказал он, — она вечно что-нибудь скажет.

Но он знал лучше бога.

XI. ЗАТИШЬЕ

Война затягивалась. Рассказывали, будто Николае утверждал, что она обойдётся по крайней мере в триста миллионов, пока её доведут до конца! Подоходный налог грозил чрезвычайно повыситься. Зато теперь они получают за свои денежки Южную Африку, раз и навсегда. И хотя собственнический инстинкт в три часа утра подвергался тяжёлой встряске, он приободрялся за завтраком, утешаясь тем, что в этой жизни ничего не даётся даром. Так что в общем, люди занимались своими делами, как будто не было ни войны, ни концентрационных лагерей, ни несговорчивого Девета⁸⁴, ни недовольства на континенте,

⁸¹ Какой вы умный! (фр.)

⁸² А вы моя красавица жена (фр.)

⁸³ Ах нет, не говорите по-французски (фр.)

⁸⁴ *Девет Христиан (1854—1922)* — бурский генерал и политический деятель, руководитель партизанской

ничего неприятного. В сущности, настроение Англии можно было уподобить карте Тимоти, на которой теперь наступило затишье, потому что Тимоти больше не переставлял флажков, а сами они не могли двигаться ни взад, ни вперёд, как бы им подошло.

Затишье чувствовалось не только здесь; оно захватило Биржу Форсайтов и вызывало чувство всеобщей неуверенности относительно того, что же будет дальше. Объявление в столбце браков в «Таймсе»: «Джолион Форсайт с Ирэн, единственной дочерью покойного профессора Эрона» — вызвало сомнение, правильно ли была названа в газете Ирэн. Но в общем все почувствовали облегчение, что не было напечатано: «Ирэн, бывшая жена», — или: «Разведённая жена Сомса Форсайта». Можно даже сказать, что отношение семьи к этой «истории» с самого начала носило возвышенный характер. Как говорил Джемс, «дело сделано». И нечего волноваться. Что проку признавать, что это была, как теперь принято выражаться, «прескверная история».

Но что будет теперь, когда Сомс и Джолион оба снова женились? Это вот очень интересно. Говорили, что Джордж держал с Юстасом пари, что маленький Джолион появится раньше маленького Сомса. Джордж такой комик! Рассказывали ещё, что у него было пари с Дарти, доживёт ли Джемс до девяноста лет, хотя кто из них держал за Джемса, неизвестно.

Как-то в начале мая заехала Уинифрид и рассказала, что Вэл ранен в ногу пулей на излёте и теперь выбыл из строя. За ним ухаживает его жена. Он будет чуть-чуть прихрамывать; но это даже не будет заметно. Он просит дедушку купить ему там участок земли и ферму, он хочет разводить лошадей. Отец Холли даёт ей восемьсот фунтов в год, они будут жить вполне обеспеченно, потому что Вэлу дедушка обещал давать пятьсот; что же касается фермы, он заявил, что не знает, ничего не может сказать; он не хочет, чтобы Вэл бросал деньги на ветер.

— Ну, вы посудите сами, — сказала Уинифрид, — должен же он что-нибудь делать.

Тётя Эстер высказала мнение, что дедушка рассуждает правильно, потому что, если он ему не купит фермы, то, во всяком случае, это ничем дурным не кончится.

— Но Вэл любит лошадей, — сказала Уинифрид, — это было бы для него таким подходящим занятием.

Тётя Джули заметила, что лошади очень ненадёжные разве этого не испытал Монтегью?

— Вэл совсем другой, — возразила Уинифрид, — он весь в меня.

Тётя Джули высказала уверенность, что голубчик Вал очень умный.

— Я всегда вспоминаю, — прибавила она, — как он однажды подал нищему фальшивую монетку. Дедушке это очень понравилось. Он сказал, что это доказывает большую находчивость. Я помню, он тогда говорил, что Вэла нужно отдать во флот.

Тётя Эстер поддержала её: разве Уинифрид не согласна, что молодым людям лучше жить на верный доход и не пускаться ни в какие рискованные предприятия в таком возрасте?

— Все это так, — сказала Уинифрид, — может быть, это действительно верно, если бы они жили в Лондоне: в Лондоне приятно ничего не делать. Но там, конечно, это ему надоест до смерти.

Тётя Эстер согласилась, что, разумеется, было бы очень мило, если бы он нашёл себе занятие, только такое, чтобы не было никакого риска. Конечно, если бы у них не было денег!.. Вот Тимоти тогда как хорошо поступил, что вышел из дела. Тётя Джули поинтересовалась, что говорит об этом Монтегью.

Уинифрид промолчала, потому что Монтегью только к сказал: «Подожди, пока умрёт старик».

Как раз в эту минуту доложили о Фрэнси. Глаза её так и сияли улыбкой.

— Ну, — сказала она, — что вы думаете об этом?

— О чём, дорогая?

— Да о том, что сегодня в «Таймсе»?

— Мы его ещё не видели. Мы всегда читаем его после обеда. А до тех пор он у Тимоти. Фрэнси закатила глаза.

— А ты считаешь, что нам необходимо знать? Что же там такое было?

— У Ирэн родился сын в Робин-Хилле.

Тётя Джули чуть не задохнулась.

— Но ведь они только в марте поженились!

— Да, тётечка, правда, как интересно!

— Ну что ж, я очень рада, — сказала Унифрид. Мне было жаль Джолиона, что он потерял сына. Ведь это мог быть и Вэл.

Тётя Джули, казалось, о чём-то глубоко задумалась.

— Интересно, — прошептала она, — что думает об этом дорогой Сомс. Ему так всегда хотелось сына. Это я по секрету знаю.

— Ну, он его скоро и получит, если ничего не случится, — сказала Унифрид.

Тётя Джули посмотрела на неё восхищённым взглядом.

— Какое счастье! — сказала она. — Когда же?

— В ноябре.

Такой счастливый месяц! Но ей бы хотелось, чтобы это было пораньше. А то Джемсу уж очень долго ждать в его возрасте!

Ждать! Им было страшно за Джемса, но сами они так к этому привыкли. По правде сказать, это было для них большое развлечение. Ждать «Таймса», когда можно будет его прочесть; племянника или племянницу, которые зайдут навестить и развлечь их; известий о здоровье Николаев; о решении Кристофера, который собирается поступить на сцену; каких-нибудь новостей о рудниках племянника миссис Мак-Эндер; доктора к Эстер из-за того, что она очень рано просыпается; книг из библиотеки, которые всегда у кого-нибудь на руках; неизбежной простуды Тимоти; хорошего тихого дня, не очень жаркого только, чтобы им можно было погулять в Кенсингтонском саду. Ждать, сидя в гостиной, когда пробьют между ними часы на камине; в худых, узловатых, с синими прожилками руках мелькают спицы, волосы, подобно волнам Канута⁸⁵, укрощены и больше не меняют цвета. Ждать в своих чёрных шёлковых или атласных платьях, когда придворный этикет позволит Эстер облачиться в темно-зелёное, а Джули в темно-коричневое, ждать — медленно пережёвывать в старенькой памяти мелкие радости, и огорчения, и надежды крошечного семейного мирка, — так терпеливо жуют жвачку коровы на своём привычном лугу. А это новое событие, уж как его будет приятно ждать! Сомс всегда был их любимцем, он им дарил картины и чуть ли не каждую неделю навещал их, чего им теперь так не хватало, и он нуждался в их сочувствии Из-за этого несчастного первого брака. Это новое событие — рождение наследника Сомса — ведь это так важно для него и для его дорогого батюшки, чтобы Джемсу не пришлось умереть, когда все так неопределённо впереди. Джемс терпеть не может всякой неопределённости, да и разве он может быть по-настоящему доволен, когда у него нет других внуков, кроме маленьких Дарти? В конце концов самое важное — это своё имя! И по мере того как приближался день девяностолетия Джемса, они все больше беспокоились о том, какие меры предосторожности соблюдает Джемс, чтобы сохранить своё здоровье. Он будет первым из Форсайтов, который достигнет этого возраста и установит, так сказать, новую норму долголетия. И это так важно для них в их годы — в восемьдесят семь и в восемьдесят пять лет, хотя им вовсе и не хочется думать о себе, пока у них есть Тимоти, которому нет ещё и восьмидесяти лет. Конечно, за гробом нас ждёт лучший мир. «В доме отца моего обителей много»⁸⁶ — это было любимое изречение тёти Джули, оно всегда

⁸⁵ *Канут (995—1035)* — король Дании и Англии, которому, по преданию, повиновались даже морские волны.

⁸⁶ «В доме отца моего обителей много» — евангельское изречение (Евангелие от Иоанна, XIV, 2).

очень утешало её, напоминая ей о тех домах, на покупке которых так разбогател дорогой Роджер. Библия, разумеется, была большим подспорьем, а по воскресеньям в очень хорошую погоду они отправлялись утром в церковь; а иногда Джули прокрадывалась в кабинет Тимоти, когда она наверно знала, что его там нет, и клала ему на столик между книг раскрытое евангелие — он, разумеется, очень любил читать, потому что ведь он когда-то был издателем. Но она заметила, что Тимоти потом всегда бывал очень сердит за обедом. А Смизер не раз говорила им, что ей случается подбирать книги с полу, когда она подметает его комнату. Ну, конечно, всё-таки им казалось, что на небе вряд ли они будут чувствовать себя так уютно, как в этих комнатках, где они с Тимоти так давно живут ожиданием. В особенности тётя Эстер терпеть не могла думать о чем-нибудь утомительном. Всякая перемена или, вернее, мысль о какой-нибудь перемене — ибо перемен никогда никаких не бывало — ужасно её расстраивала. Тёте Джули, которая была предприимчивее её, казалось иногда, что это будет очень даже интересно; как весело было тогда, когда она ездила в Брайтон, в год смерти дорогой Сьюзен. Но, правда, все знают, что Брайтон очень приятное место, а ведь так трудно сказать, каково-то там покажется, на небе, так что в общем она, пожалуй, даже рада ещё подождать.

В день рождения Джемса, пятого августа, они ужасно волновались и посылали друг другу через Смизер маленькие записочки во время утреннего завтрака, который им подали в постели. Смизер должна пойти туда и передать от них привет и маленькие подарочки и узнать, как мистер Джемс себя чувствует и хорошо ли он спал накануне такого выдающегося события. А на обратном пути пусть Смизер зайдёт на Грин-стрит — это немножко не по дороге, но она потом может сесть в омнибус на Бонд-стрит (для неё это будет маленькое развлечение) и попросит дорогую миссис Дарти непременно заехать к ним, пока она ещё в городе.

Все это Смизер исполнила — она была незаменимая служанка, которую когда-то ещё тётя Энн вытренировала так, что она стала образцом недостижимого ныне совершенства. Мистер Джемс, велела передать миссис Джемс, превосходно спал ночь и посылает привет; миссис Джемс сказала ещё, что мистер Джемс очень удивился и жаловался, что он не понимает, из-за чего такой шум подняли. Вот, а миссис Дарти передаёт привет, она будет к чаю.

Тёти Джули и Эстер, несколько задетые тем, что их подарки не были удостоены особого упоминания (они каждый год забывали, что Джемс терпеть не может подарков: «швыряют деньги попусту» — так он выражался), были в «страшном восторге»; значит, Джемс в хорошем настроении, а это для него так важно. И они стали поджидать Уинифрид. Она приехала в четыре часа и привезла с собой Имоджин и Мод, которая только что вернулась из школы и «тоже стала такой хорошенькой девочкой», и поэтому было ужасно трудно расспросить как следует про Аннет. Тётя Джули все же набралась храбрости и спросила, не слышала ли чего-нибудь Уинифрид, и как Сомс — доволен, ждёт с нетерпением?

— Дяде Сомсу всегда чего-нибудь недостаёт, тётечка, — вмешалась Имоджин. — Как он может быть доволен, раз он уже добился своего!

Эта фраза что-то напомнила тёте Джули. Ах да! Эта картинка, которую нарисовал Джордж и которую им так и не показали! Но что, собственно, хочет сказать Имоджин? Что её дядя всегда хочет получить больше, чем у него есть? Совсем нехорошо так думать.

Звонкий, ясный голос Имоджин продолжал:

— Вы только подумайте! Ведь Аннет всего на два года старше меня, как это, должно быть, ужасно для неё выйти замуж за, дядю Сомса.

Тётя Джули в ужасе всплеснула руками.

— Дорогая моя, ты просто сама не знаешь, что ты говоришь. Такого мужа, как дядя Сомс, можно пожелать всякой. Он очень умный человек, и красивый, и богатый, и такой

внимательный и заботливый, и совсем даже не старый, если принять все во внимание.

Имоджин только улыбалась, переводя свои блестящие влажные глаза с одной «старушки» на другую.

— Я надеюсь, — строго сказала тётя Джули, — что ты выйдешь замуж за такого же хорошего человека.

— Я не выйду за хорошего человека, тётечка, — ответила Имоджин, — они все очень скучные.

— Если ты так будешь рассуждать, — возразила совершенно потрясённая тётя Джули, — ты совсем не выйдешь замуж. И лучше мы не будем говорить об этом, — и, повернувшись к Уинифриду, она спросила, как поживает Монтегью.

Вечером, когда они ждали обеда, она тихонько сказала:

— Я велела Смизер подать полбутылки сладкого шампанского, Эстер. Я думаю, нам нужно выпить за здоровье дорогого Джемса и за здоровье жены Сомса, только пусть это будет наш секрет. Я просто скажу: «Ты знаешь, за что, Эстер», — и мы выпьем. А то как бы Тимоти не стало дурно.

— Пожалуй, это скорее нам с тобой станет дурно, — сказала тётя Эстер. — Но, конечно, всё-таки нужно, ради такого случая.

— Да, — восторженно подхватила тётя Джули, — уж это случай! Ты только представь себе, если у него будет милый маленький мальчик, продолжатель рода! Мне теперь это кажется особенно важным, с тех пор как у Ирэн родился сын. Уинифрида рассказывала, что Джордж называет Джолиона «Трехпалубник», из-за того, что у него три семьи! Джордж такой шутник! И подумать только! Ирэн всё-таки живёт в том доме, который Сомс построил для себя, чтобы жить с ней. Как это, наверно, тяжело бедному Сомсу, а ведь он всегда был такой корректный.

Вечером в постели, взволнованная и слегка разгорячённая шампанским и этим секретным вторым тостом, она лежала, держа открытый молитвенник и устремив глаза в потолок, освещённый жёлтым светом ночника. Малютки! Как это приятно для всех! И она была бы так счастлива увидеть дорогого Сомса счастливым. Но, конечно, он теперь счастлив, что бы там ни говорила Имоджин. У него будет все, чего он желал: богатство и жена, и дети! И он доживёт до глубокой старости, как его дорогой отец, и забудет и Ирэн и этот ужасный развод. Если бы только ей ещё дожить до того, чтоб купить его деткам их первую лошадку-качалку! Смизер сможет выбрать вместо неё в магазине, красивую, в яблоках. Ах! Как, бывало, Роджер качал её, пока она не падала кувырком! Ах, боже мой! Как давно это было! А было! «В доме отца моего обитателей много» (лёгкий скребущий звук донёлся до её слуха), «но это не мыши», — как-то машинально подумала она. Шум усиливался. Ну конечно, мыши! Как нехорошо со стороны Смизер утверждать, что у них нет мышей! Не успеешь и опомниться, как они прогрызут обшивку, и тогда придётся звать плотников. Это такие разрушители! И тётя Джули лежала, медленно водя глазами по потолку, прислушиваясь к этому лёгкому скребущему шуму и ожидая сна, который набавит её от него.

XII. РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙТА

Сомс вышел из сада, пересёк лужайку, постоял на тропинке около реки, повернулся и снова пошёл к калитке сада, не замечая, что он двигается. Шум колёс, проскрипевших по аллее, дошёл до его сознания, и он понял, что прошло уже сколько-то времени, как доктор уехал. Что же он, собственно, сказал?

— Вот каково положение, мистер Форсайт. Я могу вполне поручиться за её жизнь, если я сделаю операцию, но ребёнок в этом случае родится мёртвым. Если же я не сделаю операции, ребёнок, по всей вероятности, останется жив, но для матери это большой риск, большой риск. И в том и в другом случае вряд ли она когда-нибудь сможет иметь детей. В том состоянии, в каком она находится, она совершенно очевидно не может решить сама за

себя, и мы не можем дожидаться её маюри. Так что решать должны вы, и вы должны прийти к какому-нибудь решению, пока я съезжу за всем необходимым. Я вернусь через час.

Решение? Какое решение? И нет времени, чтобы пригласить специалиста! Ни на что уже нет времени!

Шум колёс замер, но Сомс все ещё стоял, прислушиваясь; потом вдруг, заткнув уши обеими руками, он пошёл обратно к реке. Все это случилось так неожиданно, преждевременно, что не было возможности ни принять какие-нибудь меры, ни даже вовремя вызвать её мать. Это её мать должна была бы решать, а она не сможет приехать из Парижа раньше ночи! Если бы он хоть понимал этот докторский жаргон, все эти медицинские подробности так, что мог бы с уверенностью взвесить шансы; но это было для него китайской грамотой; все равно как для непосвящённого человека — юридическая проблема. И, однако, он должен решить! Он отнял руку ото лба, она была влажная от пота, хотя воздух был прохладный. Эти крики, которые доносились из её комнаты! Если он вернётся туда, ему будет только труднее решить. Он должен сохранить спокойствие, невозмутимость. В одном случае, почти наверняка — жизнь его молодой жены и верная смерть ребёнка; и больше детей не будет. В другом — может быть, смерть его жены и почти наверное жизнь ребёнка; и — больше детей не будет. Что же выбрать?.. Последние две недели стояла дождливая погода, река очень поднялась, и в воде вокруг его плавучего домика, стоявшего на канате у пристани, плавало много листьев, опавших во время заморозков. Листья опадают, уходят жизни! Смерть! Решать о смерти! И никого, кто мог бы ему как-нибудь помочь. Жизнь уйдёт и уж не вернётся. Не давайте уходить ничему, что можно удержать; потому что то, что уйдёт, уже невозможно вернуть. Останешься незащищённым, голым, как вот эти деревья, когда они теряют листья, с каждым днём будешь обнажаться все больше и больше, пока сам не зачахнешь и не погибнешь.

Мысль его сделала какой-то внезапный скачок, и он вдруг представил себе, что за этим окном, освещённым солнцем, лежит не Аннет, а Ирэн, в их спальне на Монпелье-сквер, как она могла бы лежать там шестнадцать лет назад. Стал бы он колебаться тогда? Ни секунды! Оперировать, оперировать! Только чтобы спасти её жизнь! Не решение, а просто инстинктивный крик о помощи, хотя он уже и тогда знал, что она его не любит. Но сейчас... А! В его чувстве к Аннет не было ничего всепоглощающего! Часто в эти последние месяцы, особенно с тех пор, как она начала бояться, он удивлялся на себя. Она была своенравна, эгоистична по-своему, как все француженки. Но такая хорошенькая! Как бы она решила сама, захотела бы рискнуть? «Я знаю, что она хочет ребёнка, — подумал он. — Если он родится мёртвый и она больше не сможет иметь детей, она будет страшно огорчена. Никогда больше! Все напрасно! Супружеская жизнь с ней из года в год и без детей! Ничего, что могло бы привязать её! Она слишком молода. Ничего впереди для неё, ничего для меня! Для меня!» Он ударил себя в грудь. Почему он не может думать, не ввязывая в это себя, — отрешиться от себя и подумать, как он должен поступить? Эта мысль сначала уколола его, потом вдруг притупилась, словно натолкнувшись на броню. Отрешиться от себя? Невозможно! Отрешиться, уйти в беззвучное, бесцветное, неосязаемое, незримое пространство! Даже мысль об этом была ужасна, бессмысленна. И, столкнувшись здесь с самой сутью действительности, с основой форсайтского духа. Сомс на минуту успокоился. Когда человек перестаёт существовать, все исчезает — может быть, оно и существует, но для него в этом уже ничего нет!

Он посмотрел на часы Через полчаса доктор вернётся.

Нужно решать. Если он не согласится на операцию и она умрёт, как он осмелится тогда смотреть в лицо её матери и доктору? Как он решится остаться с глазу на глаз со своей собственной совестью? Ведь это же его ребёнок. Если он выскажется за операцию, он приговорит их обоих к бездетному существованию. А для чего же он ещё женился на ней, как не для того, чтобы иметь законного наследника! И отец — на пороге смерти, ждёт известия!

«Это жестоко, — думал он. — Как это могло случиться, что мне приходится решать

такой вопрос? Это жестоко!» Он повернулся и пошёл к дому. Если бы был какой-нибудь простой, мудрый способ решить! Сомс вынул монету и снова положил её обратно. Как бы она ни легла, если бы он загадал на неё, он знал, что не остановится на том, что подскажет ему случай. Он прошёл в столовую, подальше от этой комнаты, откуда доносились стоны. Доктор сказал, что все же есть шанс, что она останется жива. Здесь этот шанс казался более вероятным; здесь не было ни реки с непрерывным течением, ни опадающих листьев; Горел камин. Сомс открыл стеклянную дверцу буфета. Обычно он почти не притрагивался к спиртным напиткам, но теперь налил себе виски и выпил не разбавляя, — ему хотелось разогнать кровь по жилам. «Этот Джолион, — подумал он, — у него есть дети, он завладел женщиной, которую я действительно любил, и вот теперь у него сын от неё. А от меня требуют, чтобы я убил своего единственного ребёнка. Аннет не может умереть; это невысказано. У неё здоровый, сильный организм!»

Он всё ещё стоял в мрачном раздумье у буфета, когда услышал шум подъезжавшего экипажа; тогда он пошёл навстречу доктору. Ему пришлось подождать, так как доктор сразу поднялся наверх, а потом уже сошёл к нему.

— Ну как, доктор?

— Да все в том же положении. Так что же вы, решили?

— Да, — сказал Сомс, — не будем оперировать.

— Не будем? Вы понимаете, это большой риск.

В неподвижном лице Сомса дрогнули только губы.

— Вы говорите, что всё-таки есть шанс?

— Есть, да, но очень небольшой.

— Вы говорите, что если сделать операцию, ребёнок непременно умрёт?

— Да.

— И вы думаете, что у неё ни в коем случае не может быть больше детей?

— Ручаться, конечно, трудно, но едва ли.

— У неё здоровый организм, — сказал Сомс, — рискнём.

Доктор посмотрел на него внимательно и серьёзно.

— Вы берете на себя тяжёлую ответственность, — сказал он. — Будь это моя жена, я бы не смог.

Подбородок Сомса дёрнулся кверху, точно его ударили.

— Я вам буду нужен наверху? — спросил он.

— Нет, вам лучше держаться подальше.

— Так я буду в картинной галерее, вы знаете, где это.

— Доктор кивнул и пошёл наверх.

Сомс продолжал стоять прислушиваясь. «Завтра в это время, — думал он, — я, может быть, буду виновником её смерти». Нет! Это несправедливо, это чудовищно думать так! И снова мрачно нахмурившись, он пошёл наверх в галерею. Он остановился у окна. Дул северный ветер; было холодно, ясно; ярко голубело небо, и по нему неслись тяжёлые белые рваные облака, река тоже голубела сквозь золотящуюся листву деревьев; лес пламенел всеми оттенками красок, огненно-рдяный, — ранняя осень. Если бы это решалась его жизнь, рискнул бы он? «Но она бы скорее рискнула потерять меня, чем отказаться от ребёнка, — подумал он. — Она ведь не любит меня». А мог ли он ожидать чего-нибудь другого — молоденькая девушка, француженка? Единственно, в чём был бы живой смысл для них обоих, для их семейной жизни, для их будущего, — это ребёнок. «Я столько вытерпел из-за этого, — думал Сомс. — Я буду держаться, буду. Есть шанс спасти обоих — есть шанс!» Нельзя отдавать своими руками, пока не отняли, это неестественно! Он начал ходить по галерее. Он недавно приобрёл одну картину, которая, он знал это, представляла собой целое состояние, он остановился перед ней: девушка с тускло-золотыми волосами, похожими на металлическую пряжу, разглядывающая маленького золотого уродца, которого она держит в руке. Даже теперь, в эту мучительную для него минуту. Он сознавал, какая это необыкновенная вещь, и любовался каждой деталью, столом, полом, стулом, фигурой

девушки, сосредоточенным выражением её лица, тускло-золотой пряжей волос, ярко-золотым уродцем. Покупать картины, богатеть, богатеть! Какой смысл, если... Он круто повернулся спиной к картине и отошёл к окну. Несколько голубей слетели со своих шестов у голубятни и, распутив крылья, носились по ветру. В ярком, резком солнечном свете их белизна почти сверкала. Они взлетели высоко, чертили иероглифы в небе. Аннет кормила голубей; он всегда любовался ею. Они брали корм у неё из рук; они чувствовали, что она деловита и спокойна. У него подступил клубок к горлу. Она не может, не должна умереть! Она слишком благоразумна для этого; и она крепкая, действительно крепкая, как и её мать, несмотря на всю свою изящную красоту!

Уже начало смеркаться, когда он наконец открыл дверь и стал прислушиваться. Ни звука! Молочно-белые сумерки уже окутали нижние ступеньки лестницы и площадку. Он повернул обратно в галерею, как вдруг до его слуха донёсся какой-то шум. Заглянув через перила, он увидел чёрную движущуюся фигуру, и сердце у него сжалось. Что это? Смерть? Призрак смерти, выходящий из её комнаты? Нет, это только горничная без передника и без чепчика. Она подошла к нижней ступеньке последнего пролёта и, задыхаясь, сказала:

— Доктор вас просит, сэр.

Он бегом бросился вниз. Она прижалась к стене, чтобы пропустить его, и сказала:

— Ох, сэр, всё кончилось!

— Кончилось? — чуть не с угрозой в голосе сказал Сомс. — Что вы хотите сказать?

— Ребёнок родился, сэр.

Он взбежал по четырём ступенькам в полутёмный коридор и столкнулся с доктором. Доктор стоял, вытирая лоб.

— Ну, — сказал Сомс, — говорите скорее!

— Живы оба. Я думаю, всё будет благополучно.

Сомс стоял неподвижно, закрыв глаза рукой.

— Поздравляю вас, — услышал он голос доктора, — она была на волоске.

Рука Сомса, закрывавшая лицо, опустилась.

— Благодарю вас, — сказал он, — благодарю очень, очень. А что же...

— Дочка, к счастью, мальчик её бы убил. Вы понимаете, головка.

Дочь!

— Крайняя осторожность, уход за обеими, — услышал он слова доктора, и всё будет благополучно. Когда приезжает мать?

— Сегодня между девятью и десятью, я надеюсь.

— Я побуду здесь до тех пор. Хотите повидать её?

— Нет, не сейчас, — сказал Сомс, — перед вашим уходом. Я сейчас пришлю вам обед наверх.

И он пошёл вниз.

Чувство невыразимого облегчения, но — дочь! Ему его казалось несправедливым. Пойти на такой риск, пережить все эти муки — и какие муки! ради дочери! Он стоял в холле перед камином с пылающими поленьями, подталкивая их кончиком ботинка, и старался успокоиться. «А отец?» — вдруг подумал он. Какое горькое разочарование, и ведь этого не скроешь! В этой жизни никогда не получаешь всего, чего хочешь! А другой ведь нет, а если даже она и есть, что в ней толку!

Пока он стоял там, ему подали телеграмму:

*"Приезжай немедленно, отец при смерти.
Мама".*

Он прочёл это, и рыдание сдавило ему горло. Можно было думать, что он уже не способен что-либо чувствовать после тех ужасных часов, но это он почувствовал. Половина седьмого, поезд из Рэдинга в девять, поезд, с которым приезжает мадам, если она поспела на него, в восемь сорок, он дождётся этого поезда и уедет. Он велел подать коляску, пообедал

машинально и поднялся наверх. Доктор вышел к нему.

— Они спят.

— Я не войду, — сказал Сомс, точно избавившись от какой-то тяжести. У меня умирает отец. Я уезжаю в город. Все благополучно?

На лице доктора изобразилось что-то вроде изумлённого восхищения. «Если бы они все были так хладнокровны!» — казалось, говорил он.

— Да, я думаю, вы можете спокойно уехать. Вы скоро вернётесь?

— Завтра, — сказал Сомс, — вот адрес.

Доктор, казалось, собирался выразить своё сочувствие.

— До свидания, — отрывисто сказал Сомс, повернулся и пошёл.

Он надел меховое пальто. Смерть! Леденящая штука! Сев в коляску, он закурил — редкий случай, когда он себе разрешал папиросу. Ночь была ветреная и неслась на чёрных крыльях; огни экипажа нащупывали дорогу. Отец! Старый, старый человек! Безотрадно умирать в такую ночь!

Лондонский поезд подошёл как раз, когда Сомс подъехал к станции, и мадам Ламот, плотная, вся в чёрном и очень жёлтая при свете фонарей, вышла на платформу с саквояжем в руке.

— Это все, что у вас с собой? — спросил Сомс.

— Да, больше ничего, ведь у меня не было времени. Ну, как моя крошка?

— Благополучно — обе. Девочка!

— Девочка? Какое счастье! Ужасный у меня был переезд по морю!

Фигура мадам, чёрная, внушительная, нимало не пострадавшая от ужасного переезда по морю, поместилась в коляску.

— А вы, mon cher?

— У меня отец умирает, — стиснув зубы, сказал Сомс. — Я еду в город. Кланяйтесь от меня Аннет.

— Tiens! — пробормотала мадам Ламот. — Quel malheur!⁸⁷

Сомс приподнял шляпу и направился к своему поезду. «Французы!» — подумал он.

ХIII. ДЖЕМСУ СКАЗАЛИ

Лёгкая простуда, которую он схватил в комнате с двойными рамами, в комнате, куда воздух и люди, приходившие навещать его, попадали как бы профильтрованными и откуда он не выходил с середины сентября, — и Джемсу уж было не выпутаться. Ничтожная простуда, одержавшая верх над его слабыми силами, быстро проникла в лёгкие. Ему нельзя простужаться, сказал доктор, а он взял и простудился. Когда он впервые почувствовал лёгкую боль в горле, он сказал сиделке, которую к нему приставили с некоторых пор: «Я знал, чем это кончится, это проветривание комнаты». Весь день он очень нервничал, аккуратно исполнял всяческие предписания и глотал лекарства; он старался дышать как можно осторожнее и каждый час заставлял мерить себе температуру. Эмили не очень беспокоилась.

Но на следующее утро, когда она вошла к нему, сиделка прошептала:

— Он не даёт мерить температуру.

Эмили подошла к кровати и сказала ласково:

— Как ты себя чувствуешь, Джемс? — и поднесла термометр к его губам.

Джемс посмотрел на неё.

— Какой толк от этого? — хрипло сказал он. — Я не желаю знать.

Тогда она забеспокоилась. Он дышал с трудом и выглядел ужасно слабым — бледный, с лёгкими лихорадочными пятнами. Ей много с ним было хлопот что говорить; но это был её

⁸⁷ Скажите, каое несчастье! (фр.)

Джемс, вот уж почти пятьдесят лет её Джемс; она не могла ни припомнить, ни представить себе жизни без Джемса — Джемса, который при всей своей придирчивости, пессимизме, под этой своей жёсткой скорлупой, был глубоко любящим, добрым и великодушным к ним ко всем!

Весь этот день и следующий день он не произносил почти ни слова, но по его глазам было видно, что он замечает все, что делается для него, и выражение его лица говорило ей, что он борется; и она не теряла надежды. Даже это его молчание и то, как он берег каждую крошку своей энергии, показывало, какое упорство проявляет он в этой борьбе. Все это её ужасно трогало, и хотя при нём она была спокойна и сдержанна, как только она выходила из его комнаты, слезы текли по её щекам.

На третий день она вошла к нему, только что переодевшись к чаю — она старалась сохранить свой обычный вид, чтобы не волновать его, так как он все замечал, — и сразу почувствовала перемену. «Не стоит больше, я устал», — ясно было написано на его бледном лице, и когда она подошла к нему, он прошептал:

— Пошли за Сомсом.

— Хорошо, Джемс, — спокойно ответила она, — пошлю сейчас же.

И она поцеловала его в лоб. На него капнула слеза, и, вытирая её, Эмили заметила его благодарный взгляд. В полном отчаянии и уже потеряв всякую надежду, она послала Сомсу телеграмму.

Когда он, оставив за собой чёрную ветреную ночь, вошёл в большой дом, в нём было тихо, как в могиле. Широкое лицо Уормсона казалось совсем узким; он с особенной предупредительностью снял с него меховое пальто и сказал:

— Не угодно ли стакан вина, сэр?

Сомс покачал головой и вопросительно поднял брови.

Губы Уормсона задрожали.

— Он спрашивал вас, сэр, — он начал сморкаться. — Уж сколько лет, сэр, сколько лет я у мистера Форсайта...

Сомс оставил пальто у него на руках и начал подниматься по лестнице. Этот дом, в котором он родился и вырос, никогда ещё не казался ему таким тёплым, богатым и уютным, как в это последнее его паломничество в спальню отца. Дом был не в его вкусе — чересчур громоздкий и пышный, но в каком-то своём стиле он, безусловно, был образцом комфорта и покоя. А ночь такая тёмная и ветреная, и в могиле так холодно и одиноко!

Он остановился у двери. Ни звука не доносилось оттуда. Он тихо нажал ручку и, прежде чем кто-нибудь успел заметить, уже был в комнате. Свет был загорожен экраном. Мать и Уинифрид сидели в ногах у Джемса по одну сторону кровати. С другой стороны кровати к нему двигалась сиделка. Тут же стоял пустой стул. «Для меня!» — подумал Сомс. Когда он сделал шаг от двери, мать и Уинифрид встали, но он махнул им рукой, и они снова сели. Он подошёл к стулу и остановился, глядя на отца. Дыхание у Джемса вырывалось с трудом; глаза его были закрыты. И Сомс, вглядываясь в отца, такого худого, бледного, измождённого, прислушиваясь к его тяжёлому дыханию, чувствовал, как в нём подымается неудержимое, страстное возмущение против Природы, жестокой, безжалостной Природы, которая, надавив коленом на грудь этого тщедушного человеческого тела, медленно выдавливает из него дыхание, выдавливает жизнь из этого существа, самого дорогого для него в мире. Его отец всегда вёл такой осмотрительный, умеренный, воздержанный образ жизни — и вот награда: медленно, мучительно из него выдавливают жизнь! И, не замечая, что говорит вслух. Сомс сказал:

— Это жестоко!

Он видел, как мать закрыла глаза рукой, а Уинифрид пригнулась к кровати. Женщины! Они переносят все гораздо легче, чем мужчины. Он подошёл ближе. Джемса уже три дня не брили, и его губы и подбородок обросли волосами, которые были разве чуть-чуть блее его лба. Они смягчали его лицо, придавая ему какой-то уже неземной вид. Глаза его открылись. Сомс подошёл вплотную к кровати и наклонился над ним. Губы зашевелились.

— Это я, отец.

— Мм... что... нового? Мне никогда ничего...

Голос замер. Лицо Сомса так исказилось от волнения, что он не мог говорить. Сказать ему? Да. Но что? Он сделал над собой громадное усилие, прикусил губы, чтобы они не дрожали, и сказал:

— Хорошие новости, дорогой, хорошие: у Аннет сын.

— А!

Это был удивительный звук: уродливый, довольный, жалобный, торжествующий, как крик младенца, когда он получает то, чего хотел. Глаза закрылись, и опять стало слышно только хриплое дыхание. Сомс отошёл к стулу и тяжело опустился на него. Ложь, которую он только что произнёс, подчинившись какой-то глубоко заложенной в нём инстинктивной уверенности, что после смерти Джемса не узнает правды, на минуту лишила его способности чувствовать. Рука его за что-то задела. Это была голая нога отца. В своей мучительной агонии он высунул её из-под одеяла. Сомс взял её в руку: холодная нога, лёгкая, тонкая, белая, очень холодная. Что толку прятать её обратно, укутывать то, что скоро станет ещё холоднее? Он машинально согревал её рукой, прислушиваясь к хриплому дыханию отца, и чувства медленно возвращались к нему. Тихое, сразу же оборвавшееся всхлипывание вырвалось у Уинифрида, но мать сидела неподвижно, устремив глаза на Джемса. Сомс поманил сиделку.

— Где доктор? — прошептал он.

— За ним послали.

— Можете вы что-нибудь сделать, чтобы он так не задыхался?

— Только впрыскивание, но он его не выносит. Доктор сказал, что, пока он борется...

— Он не борется, — прошептал Сомс. — Его медленно душит. Это ужасно.

Джемс беспокойно зашевелился, точно он знал, о чём они говорят. Сомс встал и наклонился над ним. Джемс чуть-чуть пошевелил руками. Сомс взял их обе в свои руки.

— Он хочет, чтобы его подняли повыше, — шепнула сиделка.

Сомс приподнял его. Ему казалось, что он делает это очень осторожно, но на лице Джемса появилось почти гневное выражение. Сиделка взбила подушки. Сомс отпустил руки отца и, нагнувшись, поцеловал его в лоб. Взгляд Джемса, устремлённый на него, казалось, исходил из самой глубины того, что ещё оставалось в нём. «Со мной кончено, мой мальчик, — казалось, говорил он, — заботься о них, заботься о себе; заботься — я все оставляю на тебя».

— Да, да, — шептал Сомс, — да.

Позади него сиделка что-то делала, он не знал, что, но отец сделал слабое нетерпеливое движение, точно протестуя против этого вмешательства, и потом вдруг сразу дыхание его стало легче, свободнее, он лежал совсем тихо. Напряжённое выражение исчезло с его лица, странный белый покой разлился по нему. Веки дрогнули, застыли. Все лицо разгладилось, смягчилось. Только по едва заметному вздрагиванию губ можно было сказать, что он дышит. Сомс опять опустился на стул и опять начал гладить его ногу. Он слышал, как сиделка тихо плакала в глубине комнаты у камина; странно, что только она одна из них, чужая, плачет! Он слышал, как мирно потрескивает и шипит огонь в камине. Ещё один старый Форсайт уходит на покой — удивительные люди! Удивительно, с каким упорством он держался! Мать и Уинифрида, наклонившись вперёд, не отрывая глаз следили за губами Джемса. Но Сомс, повернувшись боком, грел его ноги; он находил в этом какое-то утешение, хотя они и становились все холоднее и холоднее. Вдруг он вскочил: ужасный, страшный звук, какого он никогда в жизни не слышал, сорвался с губ отца, как будто возмущённое сердце разбилось с протяжным стоном. Что за крепкое сердце, если оно — могло исторгнуть такое прощание! Звук замер. Сомс заглянул в лицо. Оно было неподвижно; дыхания не было. Умер! Он поцеловал его лоб, повернулся и вышел из комнаты. Он бросился наверх, к себе в спальню, в свою старую спальню, которую и теперь держали наготове для него, упал ничком на кровать и зарыдал, уткнувшись лицом в подушки...

Немного погодя он вышел и спустился в комнату покойника. Джемс лежал один, удивительно спокойный, освободившийся от забот и волнений, и его измождённое лицо носило печать величия, которую накладывает только глубокая старость, — стёртое, прекрасное величие старинных монет.

Сомс долго смотрел на его лицо, на огонь в камине, на всю комнату с открытыми окнами, в которые глядела лондонская ночь.

— Прощай, — прошептал он и вышел.

XIV. ЕГО СОБСТВЕННОЕ

У него было много хлопот в эту ночь и весь следующий день. Утром за завтраком он получил телеграмму, которая успокоила его относительно Аннет, и в Рэдинг он отправился только с последним поездом, унося в памяти поцелуй Эмили и её слова:

— Не знаю, что бы я без тебя стала делать, мой мальчик.

Он приехал к себе в двенадцать часов ночи. Погода переменилась, стала мягче, точно, покончив со своим делом и заставив одного из Форсайтов свести счёты с жизнью, она давала себе отдых. Вторая телеграмма, которую он получил за обедом, подтверждала хорошее состояние Аннет, и Сомс, вместо того чтобы войти в дом, прошёл освещённым луной садом к своему плавающему домику. Он отлично может переночевать здесь. Очень усталый, он улёгся в меховом пальто на кушетку и сразу уснул. Он проснулся, едва только рассвело, и вышел на палубу. Он стоял у поручней и смотрел на запад, где река круто поворачивала, огибая лес. У Сомса ощущение красоты природы до странности напоминало отношение к этому его предков-фермеров, выражавшееся главным образом в чувстве недовольства, когда её не было; только у него, конечно, благодаря его эрудиции; в пейзажной живописи, оно было несколько рафинировано и обострено. Но рассвет способен потрясти самое заурядное воображение, и Сомс был взволнован. Знакомая река под этим далёким холодным светом казалась каким-то другим миром; это был мир, где ещё не ступала нога человека, призрачный, похожий на какой-то неведомый, открывшийся вдали берег. Его краски не были обычного условного цвета, вряд ли это можно было даже назвать цветом; его очертания были туманны и в то же время отчётливы; его тишина ошеломляла; в нём не было никаких запахов. Почему он так глубоко волнует его. Сомс не знал, может быть, только потому, что он чувствовал себя в нём таким одиноким, таким оторванным от всего, с чем был связан. В такой мир, может быть, ушёл его отец, до того этот мир не похож на тот, что он покинул. И Сомс, стремясь уйти из него, погрузился в размышления о том, какой художник мог бы передать его на полотне. Бело-серая вода была... была, как рыбе брюшко! Может ли быть, чтобы этот мир, который он перед собой видит, был весь частной собственностью, за исключением воды, да и ту заключили в трубы и провели в дома! Ни деревца, ни куста, ни одной травинки, ни птицы, ни зверя, ни рыбы, которые кому-нибудь не принадлежали бы. А когда-то здесь были дебри, и топи, и вода, и непостижимые существа бродили и охотились здесь, и не было человека, который мог бы дать им имена; дикие, погибающие в своём буйном росте, заросли простирались там, где теперь эти высокие, заботливо насаженные леса спускаются к реке, и окутанные туманом болот тростники покрывали все эти луга на том берегу. И вот все прибрали к рукам, наклеили ярлыки, распахали по нотариальным конторам. И хорошо сделали!

Но, случается, выходит вдруг, как вот сейчас, дух прошлого и, застигнув случайно проснувшегося человека, встаёт перед ним и неотступно и зловеще шепчет: «Из моего свободного одиночества вышли все вы, но наступит день — вы все снова в него вернётесь».

И Сомс, чувствуя холод и призрачность этого мира, неведомого ему и такого древнего, никому не принадлежащего мира, явившегося взглянуть на колыбель своего прошлого, спустился в каюту и поставил себе чай на спиртовку. Выпив его, он достал письменные принадлежности и написал два сообщения для газеты:

«20-го сего месяца в своём доме на Парк-Лейн скончался на девяносто первом году жизни Джемс Форсайт. Похороны 24-го числа в 12 часов дня в Хайгете. Просьба венков не возлагать».

«20-го сего месяца в Шелтере, близ Мейплдерхема, у Аннет, жены Сомса Форсайта, родилась дочь». А внизу, на промокательной бумаге, он написал слово «сын».

Было восемь часов утра в обыкновенном осеннем мире, когда он подходил к дому. Кусты по ту сторону реки выступали из молочного тумана, круглые, блестящие; дым из трубы подымался прямо, голубоватый, и голуби ворковали, оправляя крылышки на солнце.

Он тихонько прошёл к себе в туалетную комнату, принял ванну, побрился, надел свежее бельё и чёрный костюм.

Мадам Ламот только что села завтракать, когда он сошёл вниз.

Она посмотрела на его костюм, сказала:

— Можете не говорить мне, — и пожала его руку. — Аннет чувствует себя очень недурно. Но доктор сказал, что она больше не может иметь детей. Вы знали это? — Сомс кивнул. — Какая жалость. *Mais la petite est adorable. Du cafe?*⁸⁸

Сомс постарался как можно скорее уйти от неё. Она раздражала его внушительная, трезвая, быстрая, невозмутимая — француженка. Он не переносил её гласные, её картавые "р", его возмущало то, как она смотрела на него, как будто это была его вина, что Аннет никогда не сможет родить ему сына! Его вина! Сомса возмущало даже её ничего не говорящее восхищение его дочерью, которой он ещё не видел.

Удивительно, как он старался всячески оттянуть этот момент свидания со своей женой и дочерью!

Казалось, он должен был бы прежде всего броситься к ним наверх. А он, наоборот, испытывал чувство какого-то физического страха — этот разборчивый собственник! Он боялся того, что думает Аннет о нём, виновнике её мучений, боялся увидеть ребёнка, боялся обнаружить, как его разочаровало настоящее и — будущее.

Он целый час шагал взад и вперёд по гостиной, прежде чем собрался с духом, чтобы подняться к ним и постучать в дверь.

Ему открыла мадам Ламот.

— А, наконец-то! *Elle vous attend!*⁸⁹

Она прошла мимо него, и Сомс вошёл своей бесшумной походкой, стиснув зубы и глядя куда-то вбок.

Аннет лежала очень бледная и очень хорошенькая. Ребёнок был где-то там; его не было видно. Он подошёл к кровати и — с внезапным волнением нагнулся и поцеловал жену в лоб.

— Вот и ты, Сомс, — сказала она. — Я сейчас ничего себя чувствую. Но я так мучилась, ужасно, ужасно. Я рада, что у меня никогда больше не будет детей. Ах, как я мучилась!

Сомс стоял молча, поглаживая её руку; слова ласки, сочувствия просто не шли с языка «Англичанка никогда бы не сказала так», — мелькнуло у него, В эту минуту он понял ясно и твёрдо, что он никогда не будет близок ей ни умом, ни сердцем, так же как и она ему. Просто приобретение для коллекции, вот и все. И внезапно ему вспомнились слова Джолиона: «Я полагаю, вы должны быть рады высвободить шею из петли». Ну, вот он и высвободил! Не попал ли он в неё снова?

— Теперь тебе нужно как можно больше кушать, — сказал он, — и ты скоро совсем

⁸⁸ Но малютка очаровательная. Кофе? (фр.)

⁸⁹ Она ждёт вас! (фр.)

поправишься.

— Хочешь посмотреть бэби, Сомс? Она уснула.

— Конечно, — сказал Сомс, — очень хочу.

Он обошёл кровать и остановился, вглядываясь. В первую секунду то, что он увидел, было именно то, что он ожидал увидеть: ребёнок. Но, по мере того как он смотрел, а ребёнок дышал и крошечное личико морщилось во сне, ему казалось, что оно приобретает индивидуальные черты, становится словно картиной, чем-то, что он теперь всегда узнает; в нём не было ничего отталкивающего, оно как-то странно напоминало бутон и было очень трогательно. Волосики были тёмные. Сомс дотронулся до него пальцем, ему хотелось посмотреть глаза. Они открылись, они были тёмные синие или карие, он не мог разобрать — Ребёнок моргнул, и глаза уставились неподвижно, в них была какая-то сонная глубина. И вдруг Сомс почувствовал, что на сердце у него стало как-то странно тепло и отратно.

— *Ma petite fleur!*⁹⁰ — нежно сказала Аннет.

— Флёр, — повторил Сомс. — Флёр, мы так и назовём её.

Чувство торжества, радостное чувство обладания подымалось в нём.

Видит бог: это его — *его собственное!*

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Сага о Форсайтах»](#)

⁹⁰ Мой цветочек! (фр.)